Джозеф Хеллер

XX век
The BEST

Поправка за поправкой

[сборник]



Поправка за поправкой
Джозеф Хеллер

Аннотация
Джозеф Хеллер. ПОПРАВКА ЗА ПОПРАВКОЙ
Благодарности
Предисловие
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАССКАЗЫ
Я тебя больше не люблю
Ну, букмекер, берегись!
Жена Лота
Снежная крепость
Девушка из Гринвича
Человек по имени Флейта
Ничего не поделаешь
В мире полно прославленных городов
Бортовой журнал Макадама
С любовью, папа
Йоссариан выживает
Поправка-23: Йоссариан живет
1
2
3
4
День, когда ушел Буш

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАССКАЗЫ
Смеяться по утрам
День за городом
С утра и до вечера
Конец умирающего лебедя
Звуки астмы
ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ
Процесс Клевинджера
О «ПОПРАВКЕ-22»
Возвращение в «Поправку-22»
Джозеф Хеллер рассказывает об экранизации «Поправки-22»
«Поправка-22» начинается
«Я бомбардир!»
ВОСПОМИНАНИЯ
Кони-Айленд. Конец веселья

Аннотация

Эта книга, изданная уже после смерти великого писателя, — удачная и оригинальная попытка представить читателю многообразие Хеллера — не только романиста, но и автора «малых» форм.

В состав сборника вошли известные ранние рассказы писателя («Девушка из Гринвича», «Человек по имени Флейта», «В мире полно прославленных городов») и никогда ранее не публиковавшиеся литературные и философские эссе и «малые» произведения, сюжетно и тематически связанные с opus magnum Хеллера — «Поправкой-22» и впоследствии, в измененном виде, включенные в роман.

Джозеф Хеллер
ПОПРАВКА ЗА ПОПРАВКОЙ

Благодарности

Мы хотим поблагодарить: Сьюзен К. Пизински, сотрудницу библиотеки Университета Брандейса, предоставившую нам копии неопубликованных рассказов Джозефа Хеллера; Шайни Хсу из архивов Нью-Йоркского университета, терпеливо разыскивавшую и нашедшую номер журнала «Апрентис» с опубликованным в нем рассказом Хеллера; Патрика Скотта из Библиотеки Томаса Купера; персонал отдела межбиблиотечного обмена Библиотеки Томаса Купера, снабдившего нас необходимыми нам фотокопиями, и Чарлза Адамса из издательства «Саймон и Шустер», который поддерживал нас при составлении этой книги.

Предисловие

Между 1945 и 1990 годами Джозеф Хеллер опубликовал тринадцать рассказов — восемь из них предшествовали его первому роману «Поправка-22», который в 1961 году превратил Хеллера в прославленного писателя. Остальные пять: «Мир, полный огромных городов» (был написан в 1949-м, опубликован в 1955-м), два других — «С любовью, папа» и «Йоссариан выживает» — отпрыски «Поправки», а еще два — «Йоссариан живет» и «День, когда ушел Буш» — представляют собой подступы к роману «Лавочка закрывается». Пьеса «Процесс Клевинджера» — это переработанный для сцены эпизод из «Поправки-22».

В собрании рукописей Хеллера, переданном им Университету Брандейса, присутствует двадцать рассказов, никогда не публиковавшихся. Большая их часть написана, по-видимому, в сороковых и пятидесятых годах, когда Хеллер был студентом сначала Южнокалифорнийского, затем Нью-Йоркского и Колумбийского университетов, а позже преподавал литературную композицию в Пенн-Стейте. Здесь воскрешается пять из этих похороненных автором рассказов.

Завершается книга пятью документальными материалами, связанными с «Поправкой-22».

После того как успех «Поправки-22» позволил сосредоточиться на романах и пьесах, Джозеф Хеллер рассказы писать перестал, однако в пятидесятых он посвящал им много времени и сил. Все началось, как рассказывает Хеллер в автобиографии «Теперь и тогда» (1998), в 1945-м, когда он ожидал увольнения из военно-воздушных сил.

Темы рассказов, которыми я занялся теперь и занимался раньше, никакого отношения к личному моему опыту не имели. Да у меня и не было опыта, который казался мне достойным преобразования в литературу. Каждый поступок моих героев и обстановку, в которой они действовали, я заимствовал из сочинений других писателей, которые могли (тогда мне такая возможность в голову не приходила) и сами их позаимствовать. Опыт, которым я, автор, пользовался со знанием дела, был чужим и целиком литературным, накопленным мной в ходе странствий по страницам книг, и простирался он от колоритных фантазий Уильяма Сарояна до трезвой сексистской позиции — в особенности по отношению к женщинам и браку — Хемингуэя и Ирвина Шоу, которые были, помимо прочего, и воплощения-

ми не выставляемой ими напоказ, сдержанной оценки материализма, богатства, мещанства, и олицетворениями идеалов мужественности и мужской порядочности, каковые я по простодушию считал непревзойденно чистыми и отменяющими все прочие идеалы.

На несколько недель, проведенных мной, перед тем как получить назначение на Корсику, и другими летчиками, с которыми я прилетел из-за океана на маленьком «Б-25», в алжирском городе Константин, где находился огромный лагерь приема пополнений, главным источником вдохновения стал для меня как начинающего писателя Сароян. Он отвечал моим вкусам, казался легким для подражания и достойным копирования. (Рассказы, которые представлялись мне наиболее интересными, были короткими, содержали лишь несколько описательных пассажей, написанных на правильном литературном языке, и длинные, переданные на разговорном языке диалоги.) Один из его сборников содержал рассказ (называю его по памяти) «Вы когда-нибудь любили лилипутку весом тридцать восемь фунтов?». А в одном из рассказов моего алжирского периода (здесь я опять-таки опираюсь на память) молодой ньюйоркец влюблялся в девушку, кото-

рая ходила на руках. Названия не помню. (Теперь я полагаю, что мог тогда подумывать о названии «Вы когда-нибудь влюблялись в девушку, которая ходила на руках?».) Где она ходила на руках и чем закончился рассказ, я по милости Божией забыл.

К тому времени я уже был знаком с большинством произведений Хемингуэя, Ирвина Шоу и Джерома Вейдмана. Довоенный сборник Вейдмана, состоявший из рассказов, печатавшихся в «Нью-йоркере», назывался «Лошадь, которая умела насвистывать диксиленды» и был еще одним моим любимцем, как и два романа: «Это я могу получить по оптовой цене» и «А что я с этого буду иметь?». Я считал их великолепными, как и роман Бадда Шульберга «Почему сбежал Сэмми?». Еще одним моим и всех прочих изысканным фаворитом была трилогия Джеймса Т. Фаррелла о Стадсе Лонигане, главным образом по причине ее реалистического действия и реалистических выражений. «Улисс» Джеймса Джойса также ненадолго забрел в нашу кони-айлендскую квартиру: как я теперь понимаю, его привела туда громкая слова, которую этот роман приобрел, отбившись по суду от наложенного на него запрета. «Улисс» вскоре вернулся никем из нас не прочитанным в магазин Магрилла, однако я

и поныне помню дрожь изумления, охватившую меня, когда я насчитал два запретных слова на первых же страницах: одно из них, сколько я помню, описывало зеленый цвет моря, другое — серый подводный мир. Известен мне был и Джон О'Хара.

Среди издававшихся для армии книг я нашел сборник Стивена Крейна «Судно без палубы», а в нем, в рассказе о моряках, плывущих после кораблекрушения на спасательной шлюпке, слова, которые сидевший на веслах моряк повторял, точно вагнеровский лейтмотив (впрочем, о вагнеровских лейтмотивах я тогда никакого понятия не имел): «Подмени меня, Билли».

Именно этот звучный повторяющийся аккорд, над которым я размышлял в моей палатке, и, возможно, одноактная пьеса Сарояна «Эй, кто-нибудь», тогда мной, наверное, уже прочитанная, подкинули мне идею рассказа «Эй, Генуя, эй, Генуя», который должен был состоять из коротких радиопереговоров пилота бомбардировщика (или нескольких пилотов) с диспетчерской вышкой военной базы на Корсике. Мне и по сей день кажется, что идея была хорошей, а название привлекательным, хотя написать этот рассказ я так

и не попытался (или забыл об этой попытке).

Вместо него я за день или два сочинил рассказ «Я тебя больше не люблю». Состоял он из двух тысяч слов и, как все созданное мной в алжирский и корсиканский периоды, основывался на вещах, о которых я не знал ничего, кроме вычитанного в произведениях других писателей. Поэтому рассказ воспроизводил речь и выражал настроения множества озлобленных и напыщенных американских писателей-мужчин как того, так и нашего времени: женатый, многое переживший солдат, к которому мы, по замыслу автора, должны испытывать симпатию, вернувшись домой, проникается, хоть пожаловаться ему и не на что, ощущением, что супружеская жизнь ему не нужна и жену он больше не любит. (Что должно было означать последнее, я, по правде сказать, и ведать не ведал. Условность, не более того.)

Как и почему, не помню, но, едва демобилизовавшись и возвратившись в Штаты, я послал рукопись этого рассказа в «Стори» — периодическое издание, печатавшее только беллетристику и весьма высоко ценимое, и ее там приняли. Чистой воды удача: война в Европе подходила к концу, и случилось так, что журнал отвел целый номер под произведения мужчин и женщин,

вернувшихся из армии.

Рассказы, которые Джозеф Хеллер писал и рассылал по журналам в 1945–1946 гг., обучаясь в Южнокалифорнийском университете, отвергались ими, пока наконец «Эсквайр» не известил его письменно, что принимает один из них — «На какую лошадь ставить», переименованный в «Ну, букмекер, держись!», который и написан-то был как учебное студенческое сочинение.

Нам велели описать какую-либо методику или прием, и я придумал ряд безотказных систем (одна глупее другой), позволяющих неизменно выигрывать на бегах.

К письменному извещению прилагался чек на двести долларов!

И вот в двадцать два года я превратился в официально признанного автора художественной прозы, а с учетом «На какую лошадь ставить» — и нехудожественной тоже (этот ошеломляющий успех настиг меня в 1946-м, за два года до того, как на национальную сцену выступили, заставив меня почувствовать, какой я отсталый, старый, завистливый и отверженный бумагомаратель, Видал, Капоте и Мейлер).

Переведясь в Нью-Йоркский университет, Хел-

лер прослушал курс писательского мастерства, который вел Морис Боден.

Не проходило почти ни единого буднего дня без того, чтобы почтальон не приносил на угол Двадцатой Западной и Семьдесят шестой улиц несколько моих желтых конвертов с почтовыми штемпелями, с написанным мной самим обратным адресом и стандартным бланком отказа от рукописи. В то время «Нью-йоркер» использовал редакционную процедуру, столь же эффективную, сколь великолепным было содержание каждого номера этого журнала. Я говорил в шутку, особого преувеличения в ней не было, что рассказ, отправленный мною в «Нью-йоркер» утренней почтой, возвращается ко мне с лаконичным и презрительным бланком отказа вечерней почтой того же дня.

Во второй или третий семестр, проведенный мной с Боденом — после второго я зачет сдавать не пошел и остался на третий, поскольку хотел поработать с ним подольше, — он отобрал четыре моих рассказа и послал их на рассмотрение своему литературному агенту. Агент сообщил, что для публикации ни один из них не пригоден. Впоследствии три из четырех были приняты журналами, в которые я послал их на свой страх

и риск.

От Бодена я всегда получал одно замечание независимо от того, хвалил он очередной рассказ или критиковал: в начале я слишком долго развожу пары, затягивая вступление, словно мне неохота двигаться дальше — переходить к тому, что у меня на уме. Эта странность, возможно даже — психический изъян, сохранилась у меня и поныне. Я в строжайшей тайне размышлял о ней (то есть строжайшей тайной мои размышления были до настоящего времени) и пришел к выводу, что это мое свойство можно по всей справедливости назвать анальной прижимистостью.

На полях одного моего написанного в колледже рассказа, «Снежная крепость», Боден написал: «Почему бы вам не начать его прямо с первой строки четвертой страницы?» И велел именно так и поступить, когда я буду читать рассказ вслух перед нашей группой. Получилось, к моему смешанному с благодарностью удивлению, совсем неплохо, и, печатая на машинке чистовой экземпляр, я с этой самой четвертой страницы и начал.

Измененный таким образом рассказ я послал в отдел беллетристики журнала «Атлантик манс-

ли» и получил оттуда отказ, но с адресованным мне письмом от женщины-редактора, подписавшей его своим именем и, насколько я ее понял, намекавшей, что, если я произведу в рассказе кое-какие мелкие изменения и пришлю его еще раз, он, возможно, и будет принят. (Жаль, что она не предложила сделать еще одно изменение, поскольку выбор Чосера в любимые писатели восточноевропейского иммигранта, вынужденного распродавать свои книги, ныне коробит меня вопиющим неправдоподобием.) Я произвел переделки, кое-что исправил, кое-что восстановил (я любил советы текстового характера тогда и люблю их поныне), послал переправленную рукопись прямо той женщине, и «Атлантик мансли» принял рассказ для публикации в рубрике «Дебют в „Атлантик“». Кстати сказать, в том же номере журнала и в той же рубрике был напечатан рассказ столь же молодого Джеймса Джонса. (Ни мне, ни ему не улыбнулась еще одна удача — мы не получили присуждавшуюся каждые полгода премию за лучший дебют в этом журнале.) Зато я получил двести пятьдесят долларов. Обзаведясь, таким образом, связями в «Атлантик», я не сомневался, что рано или поздно мне удастся напечатать в нем еще что-нибудь. Так

оно и случилось. Этот второй рассказ принес мне всего двести долларов, поскольку он был короче первого и не так хорош (собственно говоря, хорош он и вовсе не был)[1].

Примерно такая же история произошла у меня с благожелательным редактором журнала «Эсквайр», в конце концов открывшим мне свое имя — Джордж Уисвелл, — до этого я знал его лишь по инициалам, которыми подписывались ободряющие карандашные записки, прилагавшиеся к формальным отказам. В конце концов он отверг один из моих рассказов с сожалением, посетовав на некий недочет не то в мотивации поступков героя рассказа, не то в описании его характера и почти пообещав порекомендовать рассказ для публикации, если я этот недостаток исправлю. Я предпринял такую попытку, рассказ напечатали, заплатив мне триста долларов[2]. Спустя какое-то время журнал взял у меня еще один рассказ, но заплатил меньше, поскольку этот, второй, был короче первого и не так хорош

---

[1] Примечания: 1
«Типчик по кличке Флейтист».

[2] Примечания: 2
«Девушка из Гринвича».

(собственно говоря, хорош он и вовсе не был)[3]. Учась в университете, я знакомился с требованиями издателей и приобретал умение относиться к себе с большей критичностью, а кроме того, еще до окончания учебы понял, что, не считая двух или трех рассказов, все остальные, написанные мной за это время, отличаются от написанных кем-то еще всего лишь тем, что сочинил их я. И мне захотелось стать другим, новым — таким, какими казались мне открытые в то время Набоков, Селин, Фолкнер и Во. Не обязательно ни на кого не похожим, но новым.

Среди студентов я уже приобрел определенную славу, приятным следствием коей стало решение, принятое мной, вопреки здравым доводам рассудка, отдать рассказ в только начавший тогда издаваться университетский литературный журнал, что я и сделал. Рассказ, если кому интересно, назывался «Жена Лота» и повествовал — ну виноват, что теперь поделаешь! — о женщине, проявившей ледяное безразличие к жертве автомобильной аварии, мужчине, в отличие от нее очень симпатичному.

Куда более интересным оказалось неприятное

---

[3] Примечания: 3
«Ничего не поделаешь».

следствие этого благотворительного акта, а именно — снисходительная рецензия на мой рассказ, напечатанная университетской газетой и написанная одним из моих лелеявших литературные амбиции однокашников, который, снизойдя до прочтения моего творения, нашел его слабым, полным огрехов и не имеющим ни единого достоинства, способного таковые огрехи искупить.

Эта рецензия должна была наделить меня на будущее иммунитетом к недоброй критике, однако его не дает ничто.

Впрочем, примерно в то же время я испытал экстатическое упоение, узнав, что один из моих рассказов, все та же «Снежная крепость», отобран Мартой Фоли для включения в ежегодно составлявшуюся ею антологию лучших рассказов.

Вот это было повышением в чине! Теперь я не сомневался, что не ошибся в выборе пути.

Путь оказался более долгим, чем он предполагал. Хеллер рассчитывал стать профессиональным писателем, а стал великим. Учась в университете и покупая в ближайшем к его дому киоске журналы, он выяснял, какого рода прозу принимают к публикации «Атлантик мансли», «Нью-йоркер» и «Эсквайр». И первые рассказы Хеллер писал в соответствии с требованиями,

которые предъявлялись тогда к реалистической литературе: они имитировали стиль, материал и приемы Шоу, Сарояна, Олгрена, О'Хары и Вейдмана. Учеником Хеллер был способным. В рассказах о букмекерах, наркоманах и распадающихся семьях он воспроизводил диалоги Шоу, пафос Сарояна и описывал бильярдные Олгрена. «Снежная крепость» представляет собой дань уважения Шоу. А получив в университете задание сочинить нечто в манере О'Хары, Хеллер написал «Девушку из Гринвича» и удостоился высшего балла.

Напечатавшись в «Эсквайр» и «Атлантик», Хеллер превратился в добившееся скромного успеха «растущее молодое дарование» конца сороковых. Однако статуса живущего литературным трудом сочинителя рассказов он добиться не смог. Порождение Бруклина времен Великой депрессии, Хеллер начинал как «пролетарский» писатель. Рассказам его был присущ городской натурализм, но не сатиричность, пародийность и сюрреалистичный юмор, которым отличаются его романы. Ученические рассказы писались Хеллером в стиле, получившем позже название «нью-йоркского»: то была якобы репортажная, насыщенная просторечием проза. Преодолеть стандартную и общепринятую журнальную манеру ему удалось

лишь в рассказе «Бортовой журнал Макадама» («Джентлменс-квотерли», 1959). Рассказ этот, написанный в период работы над «Поправкой-22» (1961), размывает границу, отделяющую вымысел от реальности, его герой Капитан Макадам живет в мире, наполовину выдуманном, сбегая от гнетущей семейной жизни в воображаемые трансатлантические путешествия.

В своих ранних рассказах Хеллер никаких правил не нарушает, они не экспериментируют с углами зрения, не бросают вызова ожиданиям читателя или редактора. Они надежны. В них нет грустной и разухабистой веселости, налета безумия, которые столь характерны для зрелых произведений Хеллера. Ранние его герои проходят через такие же испытания, какие выпадают героям «Поправки-22», но веселее от этого не становятся.

Эта книга не мусорная корзина Джозефа Хеллера. Над рассказами — теми, что были напечатаны в почтенных журналах до того, как он стал знаменитым романистом, — Хеллер работал помногу и подолгу. Его поклонников они и порадуют, и откроют им кое-что новое. А начинающих писателей смогут ободрить, показав пору ученичества Джозефа Хеллера — время, когда он учился писать, как Джозеф Хеллер.

Рассказы, которые ранее не публиковались, печатаются здесь в том виде, в каком они оставлены нам самим Хеллером; остальные — такими, какими они появились в печати. Мертвые писатели не одобряют редакторскую правку их сочинений. Поэтому мы ничего улучшать не стали — лишь исправили опечатки, орфографические ошибки и пунктуацию.

Мэттью Дж. Бракколи, Парк Бакер

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАССКАЗЫ
Я тебя больше не люблю [4]

Джозефу Хеллеру двадцать два года, он родился и получил образование в Бруклине, Нью-Йорк, и теперь, прослужив три года в военно-воздушных силах, собирается поступить в Южнокалифорнийский университет. О себе он говорит так: «Я нахожусь на Корсике вместе с эскадрильей Б-25, входящей в состав Двенадцатой воздушной армии, у меня шестьдесят боевых вылетов на бомбардировщике, авиационная медаль с семью „дубовыми листьями“ и „Благодарность президента“. В июне я был демобилизован и с того времени с большим удобством отдыхаю. В настоящее время занимаюсь тем, что пытаюсь добиться постановки пьесы».

Она стояла посреди комнаты, сложив на большой груди руки, и он почти видел, как в глубине ее глаз мерцают язычки гневного пламени. Она

---

[4] Примечания: 4

«Стори». № 27, сентябрь — октябрь 1945, с. 40–44; перепечатано с новым предисловием Хеллера в «Стори», весна 1992, с. 110–120.

изо всех сил старалась их пригасить.

— Знаешь, а ты не очень деликатен, — тихо сказала она.

— Знаю, — ответил он. — Мне очень жаль.

— Не верю я, что тебе жаль, — сказала она и стала ждать ответа. Однако не дождалась. — Ведь не жаль же?

— Нет, — сказал он. — Не жаль.

Она не сразу нашлась что сказать. Все складывалось как-то неправильно. Он провел дома уже три дня, и им обоим стало только хуже. В первый день они испытывали неудобство, были очень осторожны и деликатны, присматривались друг к другу, будто боксеры на ринге, нисколько сами на себя не походили и лишь надеялись, что им удастся снова связать ниточку счастья, разорвавшуюся год назад, когда он покинул дом. Второй день и мог бы оказаться лучше первого, но не оказался. Она все еще оставалась деликатной, слишком деликатной, а он почувствовал: что-то в исполняемом ими ритуале действует ему на нервы, озлобляет. И теперь они ссорились. То есть пока еще нет, однако он понимал: до ссоры уже рукой подать, — потому что и сам сознательно нарывался на нее. Он был намеренно жесток, хотя в общем-то и не хотел этого, но тем не менее

ощущал какое-то извращенное удовольствие от того, что она несчастна. Он думал о ней целых десять месяцев, думал, как хорошо все пойдет, когда он вернется, но вот вернулся, и ничего хорошего из этого не вышло.

Он машинально покручивал в руках китайскую головоломку — два металлических кольца — и, даже не сознавая того, не позволял себе разъединить их. И, ожидая новых ее слов, поглаживал кончиками пальцев кольца, наслаждаясь холодом и прочностью металла.

— Скоро придут Гарри и Эдит, — наконец сказала она.

— Это хорошо.

— Может, ты оденешься?

— Нет.

— Почему?

— Не хочу.

— А чего ты хочешь? — осведомилась она.

Обдумывая ответ, он вглядывался в нее. Он лежал на кушетке почти голый, в одних трусах; густые, коротко остриженные волосы остались непричесанными, пряди их торчали во все стороны. Он впитывал в себя эту картину — она стоит, скрестив на груди руки, — и пытался понять, как его угораздило жениться на ней. Все дело в фи-

гуре, решил он. Она была высока, выше среднего роста, и все в ней казалось крупным, однако ее облик был гармоничным, а все пропорции совершенными. В общем, внешне она была женщиной привлекательной.

— Я не хочу никого видеть, — сказал он. После возвращения он еще ни разу не выходил из квартиры. — Не хочу встречаться с твоей родней, с моей, со знакомыми. Не хочу сидеть в комнате, набитой людьми, которые улыбаются мне так, точно я какая-нибудь удивительная заводная игрушка, разыгрывать перед ними скромного героя. Не хочу никому рассказывать, как оно там все было, и застенчиво улыбаться, когда мне объясняют, какой я замечательный.

Руки ее беспомощно повисли. Она подошла ближе.

— Но чего же ты хочешь? — спросила она.

— Того, что делаю сейчас, — ответил он. — Хочу лежать здесь в покое и уюте и пить пиво. Ты не сбегаешь за бутылочкой?

— Нет, — сердито ответила она. — Я жена тебе, а не служанка. Зачем ты на мне женился? Дешевле было бы прислугу нанять.

— Знаю, — сказал он. — А женился я на тебе потому, что это было частью мечты.

— Мне ведь тоже жилось нелегко, — сказала она и спросила: — Какой мечты?

— Сладенькой, оклеенной блестками мечты о жизни, — ответил он, усмехнувшись. Усмехаться ему, вообще-то говоря, не хотелось, однако изменить выражение лица он не попытался. — Прекрасной панорамы прекрасной жизни, описанной в «Ридерз дайджест». Ты была хорошенькой девушкой, я — симпатичным молодым человеком, мы оба жаждали секса, ну и поженились. И правильно сделали, так?

— Я из кожи вон лезу, — жалобно произнесла она. — Если бы ты просто сказал мне, чего хочешь, может быть, я смогла бы тебе помочь. Я понимаю, ты разочарован, но не понимаю чем. Что ты рассчитывал здесь найти?

— Я хочу делать то, что хочу, — сказал он.

Она снова скрестила руки на груди.

— Это разумно, — с горечью согласилась она. — Очень даже разумно.

— Ты не понимаешь… — Он заговорил покровительственным тоном, продолжая поигрывать головоломкой. — Я хочу делать то, что хочу, и когда я этого хочу. Так понятнее?

— Нет, — ответила она.

— Ладно, попробую объяснить. Если чего-то не

поймешь, скажи, я повторю. В эту минуту мне хочется лежать здесь, что я и делаю. Часа через два я, может быть, захочу сходить в клуб «Аист». Не знаю. Пока я здесь, мне, возможно, захочется спеть, причем во весь голос, пока же я хочу лежать здесь раздетым и пить пиво.

— Ты ведь знаешь, как мне было трудно.

— Знаю. Прости.

Она отошла к стене, опустилась в кресло, не зная, что сказать. Ей не хотелось поддаваться гневу, она старалась подавить его, но чувствовала, как гнев нарастает, словно вырываясь в новые измерения ее сознания.

— Ты изменился, — тихо произнесла она.

— Я знаю, — ответил он. — Ты уже повторила это несколько раз, однако так оно и есть.

Он подождал ответа, но она сидела неподвижно, молча.

— Мне больше не нравится Джордж Гершвин, — сказал он, — но пусть тебя это не огорчает.

Теперь он проявлял намеренную жестокость и уже презирал себя за это. Однако он знал, что она сейчас скажет, и ощутил прилив гордости, когда она словно бы подчинилась его приказу.

— А Джордж Гершвин-то тут при чем? — спросила она.

— Я все время думал о его музыке. Как я по ней скучаю, как вернусь домой и просижу несколько часов, слушая ее. Ну вот, наконец вернулся, послушал и понял: она мне не нравится.

— Не понимаю, — сказала она.

Он повернулся на бок, чтобы взглянуть ей в лицо.

— То же самое и с тобой, Энни, — неторопливо произнес он. — Я тебя больше не люблю.

Она резко выпрямилась, так, точно его слова хлестнули ее по лицу.

— Это неправда, — сказала она.

— Не знаю, — сказал он. — Но я тебя не люблю. Так уж получилось, и пока это так, давай будем с этим мириться. Какой смысл тянуть волынку, если это обоим неприятно? Добрейший — нож берет: кто умер, в том муки больше нет[5].

Он вглядывался в ее лицо — не заплачет ли? — и понял, что нет, не заплачет. Понял с разочарованием. И вдруг заметил кольца в своих руках, заметил, что, ожидая, когда она заговорит, перебирает их.

— Мило, — сказала она. — Очень мило.

— Так получилось.

---

[5] Примечания: 5

Уайльд, Оскар. «Баллада Редингской тюрьмы». Пер. К. Бальмонта.

— Ты хочешь развестись? — спросила она.

— Нет, — ответил он. — Разводиться я не хочу. Я слишком долго полагался на твою поддержку. Психологически я и сейчас от тебя завишу.

— О Господи! — отчаянно вскрикнула она. — Так чего же ты хочешь?

Губы его раздвинулись в злой улыбке.

— Бутылку пива, — сказал он.

Она вскочила, вышла из комнаты. Он повернулся на спину, уставился в потолок, ему было грустно, он ждал чего-то, но не знал, чего именно. Услышав, как она возвращается, не шелохнулся.

— Будь добр, оденься, — попросила она. — Поговорим в другой раз.

— Нет, — сказал он.

— Вот-вот появятся Гарри и Эдит. Не могу же я принимать их в коридоре.

— Приведи их сюда. — Он повернулся на бок, взглянул на нее. — Повидаемся.

— Так оденься тогда. Ты же голый.

— Гарри и Эдит женаты пять лет. Если она все еще не знакома с анатомией мужчины — значит, многое упустила, и я просто обязан, как друг, просветить ее.

— Может, ты хотя бы халат накинешь? — спросила она. Говорила негромко, тщательно подби-

рая слова, и он понял — приближается буря.

— Нет, — ответил он, снова ложась на спину и глядя на головоломку, однако краешком глаза внимательно наблюдал за женой. Несколько секунд она простояла неподвижно, глядя на него. Затем вздохнула протяжно и громко, и губы ее решительно сжались. Она повернулась и направилась к платяному шкафу.

— Куда собралась? — спросил он. Тон его утратил надменность, в голосе проступила тревожная дрожь. Она не ответила. Достала из шкафа плащ, надела. Потом открыла сумочку, покопалась, вытащила сберегательную книжку.

— Вот твои деньги, — сказала она.

— Куда ты?

Она опустила книжку на стол и покинула квартиру.

— Черт! — рявкнул он и, услышав тихий щелчок, взглянул на свои руки. Кольца головоломки разъединились. Он сел. — Проклятие, да что же со мной творится?

Он поднялся с кушетки, быстро прошел в спальню. Сел на край кровати, натянул носки, надел ботинки. Потом направился в ванную комнату, умылся и причесался. В бритье он не нуждался. Вернувшись в спальню, он оделся окончательно,

сильным рывком затянув на гимнастерке ремень. А затем пошел к телефону и позвонил ее матери.

— Я думаю, Энни едет к вам, — сказал он. — Вы не попросите ее, как только она появится, позвонить мне?

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего. Мне нужно поговорить с ней. Скажите ей, пусть сразу позвонит.

— Вы поссорились?

— Нет. Просто я хочу поговорить с ней как можно быстрее. Прежде чем она займется чем-то еще. Попросите? Это очень важно.

— Хорошо.

— Не забудьте, пожалуйста. Как только она приедет.

— Ладно-ладно. Я ей скажу.

— Спасибо.

Едва он положил трубку, заверещал дверной звонок. Пришли Гарри и Эдит, набросившиеся на него, как только он открыл дверь. Гарри пожал ему руку, хлопнул по спине, Эдит обняла и поцеловала, оба принялись засыпать его вопросами, не давая времени на ответы, и он понял вдруг, что рад их видеть. Все перешли в гостиную. Гости, еще не присев, снова начали задавать вопросы, вполне ожидаемые, и он отвечал им и ощущал

радость. Прошло несколько минут, прежде чем приятели сообразили, что Энни здесь нет.

— А Энни где? — спросила Эдит.

Он замялся на миг.

— Поехала к матери.

— Слушай, — сказал Гарри, — мы сегодня в бридж собирались играть, но тут позвонила Энни, и мы все отменили. Теперь думаем отправиться на вечеринку и тебя с собой прихватить.

— Меня? — глупо переспросил он.

Они удивленно уставились на него.

— Тебя и Энни.

Он встал.

— Энни нет, — сказал он. — Мы немного повздорили, она ушла.

Они попытались что-то сказать, однако он им не позволил.

— Не думаю, что она вернется.

Некоторое время друзья ошеломленно молчали.

— Ну, наверное, это можно как-то уладить, так? — спросил Гарри.

Он увидел, что Эдит глядит на него как-то странно.

— Не знаю, — ответил он. — Не думаю. Боюсь, что нет. Вы поезжайте на вашу вечеринку. Я по-

стараюсь во всем разобраться. А завтра позвоню тебе, Гарри.

— Ладно, — согласился Гарри, явно утративший праздничное настроение. — Слушай, ты только не дури. Я понимаю, это не мое дело, но ты все же подумай, прежде чем что-то решать.

— Я подумаю, Гарри, — пообещал он. — Спасибо. Простите, что все испортил. Хозяин дома из меня всегда был никудышный.

— Да ничего. Главное, чтобы вы помирились. Я вас обоих люблю.

— Я постараюсь, — сказал он, и друзья встали, собираясь уйти.

Все медленно направились к выходу. Но не успели дойти, как щелкнул замок и дверь отворилась. Энни вошла в прихожую пятясь, и потому увидела их не сразу. А когда повернулась к ним, оказалось, что лицо у нее гневное, раскрасневшееся. Мгновение она смотрела на Гарри с Эдит удивленно, потом лицо ее смягчилось, она перевела взгляд на мужа, стоявшего рядом с ними, такого молодцеватого в его ладной форме, причесанного, с печальной, извиняющейся улыбкой на чистом лице. Увидев в ее руке бутылку пива, он ухмыльнулся, точно напроказивший школьник, и Энни робко улыбнулась в ответ.

Ну, букмекер, берегись! [6]

4 января 1946 года представляет собой памятную дату в истории беспощадной битвы человечества с букмекерами. В этот день родилось искусство выбора лошади средствами чистой науки. Создателем его стал не по летам развитой двадцатилетний студент Калифорнийского университета Марвин Б. Уинклер. А театром его научных действий оказался помпезный, но красивый ипподром «Санта-Анита», место кончины многих голливудских банкротов.

В названный, обошедшийся без кончин день Марвин Б. Уинклер появился на «Санта-Аните» с большой картонной коробкой в руках и занял место на главной трибуне. Произошло это, согласно показаниям заслуживающих доверия свидетелей, примерно за полчаса до начала первого заезда. Едва усевшись, он извлек из коробки комплект разного рода научных приборов и расставил их перед собой, а затем, водрузив на нос толстые очки в роговой оправе, приступил к наладке этого оборудования.

---

[6] Примечания: 6
«Эсквайр», № 27, май 1947, с. 98.

Поскольку на каждого, кто появляется на бегах, все успевшие появиться там несколько раньше взирают с подозрением, как на возможного носителя «надежных сведений», странное поведение мистера Уинклера взволновало немалое число завсегдатаев ипподрома. И очень скоро вокруг него собралась большая толпа. Затем весть о происходящем дошла до администрации ипподрома, незамедлительно пославшей на главную трибуну двух детективов из агентства «Пинкертон» и позвонившей эксперту по атомной энергии, дабы удостовериться, что деятельность молодого студента никакой угрозы для ипподрома не представляет. Ничего из этих принятых администрацией мер не вышло, поскольку все разбиравшиеся в атомной энергии ученые страны находились в то время в Вашингтоне и давали показания разным комитетам конгресса.

Между тем студент продолжал свои труды. Глядя поверх голов окруживших его людей, он нацелил на солнце секстант, а затем ввел полученные им посредством этих измерений данные в оригинальный компьютер. Завороженная собственной любознательностью толпа завсегдатаев подступила поближе к студенту, и вскоре сквозь нее пробился к молодому человеку ипподромный

«жучок», известный в кругах игроков как Гарри Запах Изо Рта.

— Слышь, друг, — произнес, согласно показаниям стоявших поблизости от студента надежных свидетелей, Гарри Запах Изо Рта, — чего это ты делаешь?

Молодой человек на миг оторвал взгляд от барометрического сейсмографа.

— Определяю победителя первого заезда, — согласно показаниям компетентных свидетелей, ответил он.

— Это как же? — спросил Гарри Запах Изо Рта, поведя над мудреными инструментами рукой и едва не свалив при этом сосуд с эмульсией, состоявшей из азотнокислого серебра, суспендированного в фенолроте.

— Научно, — ответил мистер Уинклер.

— Научно, да? — усмехнулся Гарри Запах Изо Рта. — Ну так я и сам по науке работаю, а вот такой херни раньше не видел.

— Я говорю о чистой науке, — сказал мистер Уинклер, вычисляя между тем плотность ультрафиолетовых лучей. — Я определил точку росы, барометрическое давление, сопротивление воздуха и направление ветра, кубический вес насыщающей воздух влаги и поверхностное

натяжение травы. Затем, просмотрев список участников первого заезда, я установил, что лишь одному из них довелось до этого времени выступить при всех названных условиях сразу и показать достойный результат. Отсюда я сделал вывод, что именно он и победит, обогнав ближайшего соперника на две и три шестнадцатых головы.

— Ну и кто же это? — спросил Гарри Запах Изо Рта, а все великоразумные свидетели вытянули шеи, чтобы не упустить ответ.

Студент с сомнением огляделся вокруг.

— Мне не хотелось бы распространять данную информацию, поскольку это может уменьшить мой выигрыш, однако в интересах науки я раскрою секрет. Речь идет о кобыле по кличке Овсяная Прорва. И проиграть она не может.

Каждый, кто услышал его, загоготал, ибо все хорошо знали, что Овсяная Прорва — безнадежная неудачница и шансы ее на победу составляют что-то около одного к двумстам. Однако молодого студента такая реакция не обескуражила.

— Присмотрите, пожалуйста, пока я буду делать ставку, за моим эндлокосмикнейтрофилом, — попросил он сидевшего рядом с ним джентльмена и начал протискиваться к кассовым окошкам.

Новость об изобретении студента быстро распространилась по ипподрому, и все, кто ее услышал, сочли молодого человека чудиком и обалдуем. Когда она достигла паддока, жокей Овсяной Прорвы, поставивший, по слухам, порядочные деньги на другого участника заезда, умер от смеха и ему пришлось подыскивать замену. Владелец Прорвы, загоготал и сказал себе, что надо как можно скорее забрать сына из университета. Даже сама Прорва, как сообщают заслуживающие доверия авторитеты, с трудом подавила смешок.

Как только заезд начался, о студенте практически забыли. А как только заезд завершился и Овсяная Прорва победила именно с тем результатом, какой предсказал молодой человек, к нему с надеждой сбежались зрители, и в глазах каждого из них читалась как бы мольба прокаженного. Вот таким образом в многовековой войне человечества с букмекерами появилось новое оружие — чисто научный подход. И пусть они теперь подыскивают адекватный ответ.

Жена Лота [7]

Ночь, перекосившись, висела над ними — лишенная глубины, тихая, холодная и становившаяся с каждой новой минутой все более тихой и холодной. Тишину нарушал лишь стрекот сверчков в полях по сторонам от шоссе, однако звук этот, если о нем не думать, сливается с безмолвием и растворяется в темноте. Единственным, что в ней светилось, были фары машины Сидни Купера. Луиза так и сидела за рулем, наружу не вышла, и сейчас он, взглянув на жену, увидел, что она курит. Свет фар понемногу тускнел, становился желтоватым, оставляя асфальт черным, выхватывая из мрака лишь Купера и мужчину, который лежал перед ним на дороге, глядя в черную ночь. На лице мужчины застыло деревянное, непроницаемое выражение, автомобиль его словно обвил покореженный бетонный столб дорожного указателя.

— Сколько времени? — спросил мужчина.

Купер поддернул рукав, повернул часы к свету и ответил:

---

[7] Примечания: 7
«Апрентис», № 11, январь 1948, с. 3–4.

— Он уехал минут пятнадцать назад.

— А сколько, сказал он, отсюда до города?

— Около восьми миль, — ответил Купер. — Они скоро приедут.

Мужчина замолк. До сих пор он вел себя замечательно, и Купер испытывал к нему искреннюю жалость.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Прекрасно, — беззлобно ответил мужчина. — Здоров как бык.

— Простите, — сказал Купер. — Глупый вопрос.

Мужчина чуть повернул к нему голову, улыбнулся.

— Это всего лишь невинный сарказм, — сказал он. — Меня всегда переполняет невинный сарказм.

— Хотите сигарету? — спросил Купер.

— Нет. Курить мне, пожалуй, не стоит. А вы курите, не стесняйтесь.

— Да ничего. Я, вообще-то говоря, и не хочу.

— Как ваша жена?

Купер оглянулся на нее. Луиза неподвижно сидела за рулем, отвернувшись от них и глядя в боковое окно.

— Все в порядке, — медленно произнес он. — Немного испугана, я думаю. Первая ее авария.

— И моя тоже, — сказал мужчина.

— Вам очень больно?

— Уже нет. Нога онемела, я почти ничего не чувствую. Какую-то мышцу время от времени сводит, вот тогда становится больно, но не так уж и сильно. На что похожа моя нога?

— Не знаю, — ответил Купер. — Вообще-то я к ней не приглядывался.

— Она сломана?

— Да, — подтвердил Купер. — Сломана.

Ему всегда хотелось узнать, как выглядит сломанная нога, и теперь он получил такую возможность — хватило бы и одного взгляда. Мужчина примолк, и Купер снова услышал, как на них волной накатывается гомон сверчков, а с ним и какое-то карканье, издаваемое, решил он, лягушкой-быком. Гомон этот был, вообще-то говоря, оглушающим, если в него вслушиваться, да и холодало здесь ночью очень сильно, даром что дни стояли жаркие. Воздух студил кожу Купера, хотя внутри у него все горело. Холод беспокоил его. Купер знал, что раненого человека полагается держать в тепле, иначе он может погибнуть от шока, и сделал все, чтобы мужчине было тепло. По счастью, в машине имелось одеяло, и Купер подложил его под мужчину, а сверху накрыл

своим плащом. Он хотел и плащ Луизы использовать, однако мужчина остановил его, сказав, что и так будет хорошо.

— Вам не холодно? — спросил теперь Купер.

— Нормально, — ответил мужчина. — Вы-то как? Озябли, наверное.

— Нет, — сказал Купер. — Все в порядке.

Лет мужчине было, насколько мог судить Купер, примерно столько же, сколько ему. Лицо зрелого умного человека. Куперу не раз случалось встречать людей с такими лицами, они всегда ему нравились. Лоб мужчины был рассечен, однако кровь из ссадины идти уже перестала; губы с одной стороны припухли, словно покрывшись крупными волдырями.

— Как это произошло? — спросил мужчина. — Знаете, я ведь так ничего и не понял.

Купер и сам не знал, как это произошло. Он спал, машину вела Луиза. Его вдруг здорово тряхнуло, он услышал крик Луизы, а следом — короткий глухой удар, скрежет металла и звон осыпавшихся на асфальт осколков стекла.

— Я и сам не знаю, — ответил он. — Машину вела жена.

— Я как-то видел в одном журнале карикатуру — пустыня с единственным большим деревом

посередине и врезавшаяся в него машина. Тогда мне это показалось смешным.

— Да, — согласился Купер. — Действительно смешно.

— Окажите мне услугу. Попросите ее подойти сюда на минутку. Мне хочется поговорить с ней. Выяснить, как все случилось.

Купер, мгновение поколебавшись, поднялся на ноги.

— Ладно, — сказал он. — Ничего, что я оставлю вас ненадолго?

— Ничего, — ответил мужчина. — Вы не волнуйтесь, далеко я не убегу.

Купер направился к своей машине. Мужчина повернул голову, чтобы видеть его. Но оказалось, что лежать так ему трудно, и он снова уставился в ночь. Купер наклонился к окну, что-то негромко сказал Луизе, потом открыл дверцу автомобиля и сел рядом с ней. А несколько минут спустя возвратился к мужчине и опустился около него на корточки.

— Она начала обгонять вас. Тут машину тряхнуло, Луиза решила, что у нее лопнула шина. Она ударила по тормозу и вывернула руль.

— И все? — спросил мужчина.

— Да, — ответил Купер. — И все.

— Она хорошо себя чувствует?

— Да. С ней все в порядке.

— А почему она не вышла?

Этого-то вопроса Купер и опасался, потому что не знал, как на него ответить.

— Наверное, вид у меня тот еще.

— Нет, вид у вас нормальный. Немного крови, но она уже высохла.

— Вы ей сказали об этом?

— Да. — Купер повернулся, взглянул на Луизу, та сидела в машине, неотрывно глядя в темное поле. — Она во всем такая. Не выносит ничего страшного.

— Страшного! — воскликнул мужчина. — Выходит, выгляжу я все-таки страшно?

— Так уж она устроена. Во всем. Она и в кино ходит только на комедии да на любовные истории. Такой человек.

Мужчина промолчал. Куперу было неловко, стыдно. В эту минуту он злился на Луизу и презирал себя, потому что она его жена, близкий ему человек. Он медленно встал, взглянул вдоль дороги.

— Видите что-нибудь?

— Нет, — ответил Купер. — Пока ничего.

— Черт, скорее бы уж они приехали. Мне что-то

холодно становится.

— Да? — встревожился Купер. — Может, перенести вас в машину?

— Нет. Не стоит.

— А я думаю, лучше перенести. Я осторожненько, а она против не будет, уверен.

Мужчина повернулся к Куперу. Похоже, последние слова его удивили.

— Не в том дело, — сказал он. — Просто я думаю, что меня лучше не тормошить. По-моему, у меня внутреннее кровотечение. Возможно, ребро во что-то воткнулось.

— Кровь во рту чувствуете?

— Вроде бы нет. Только сглатываю все время. Это что-нибудь значит?

— Не знаю, — сказал Купер. — Но что-то значит наверняка. Повернитесь, сплюньте, я посмотрю.

Мужчина повернул голову, сплюнул на землю. Купер пригнулся посмотреть. Было слишком темно. Он поднес ладонь к губам мужчины.

— Плюньте еще.

Мужчина сплюнул ему в ладонь. Купер поднес ее к свету и с облегчением увидел, что кровь на ладони отсутствует.

— Крови нет, — сказал он и вытер ладонь о свои брюки.

— Ну и хорошо, — сказал мужчина. Несколько секунд он молчал, а потом со спокойным отвращением произнес: — Жена Лота! Вот кого она мне напоминает.

— Мне правда страшно жаль, — сказал извиняющимся тоном Купер. — Просто такой она человек. Это бывает.

— Знаю, — отозвался мужчина. — Я, собственно, не в обиде. Вот теперь я выкурил бы сигаретку.

— Думаете, вам можно?

— Думаю, да. Хуже не станет.

Купер достал из кармана пачку, раскурил две сигареты, протянул одну мужчине. Тот глубоко затянулся, подержал дым в легких, выдохнул.

— Когда вернетесь домой, не забудьте руки помыть, — сказал он, глядя в небо.

— Ладно, — пообещал Купер. — А вы это к чему?

— И лучше бы лизолом, — добавил мужчина.

— О чем вы?

— Слюна — страшная штука, — сказал мужчина. — Страшнее некуда. Я однажды увидел плевавшегося человека, так меня потом несколько дней мутило. Есть и то не мог. Вот до чего она страшная. Даже когда мама умерла, мне так худо не было.

Купер не ответил. Они курили и ждали. Молча, пока не приехала «скорая».

Снежная крепость [8]

1

Мой дядя Давид был человеком рассудительным, трезвым, а тетя Сара — женщиной простой и практичной, жившей с ним, ни на что не жалуясь, в совершенном, казалось, согласии. Когда он читал или размышлял, она копошилась по хозяйству. Но временами он уставал от своих занятий, и тетя, похоже, умела предвидеть эти нечастые случаи. Когда дядя отрывал глаза от книги и снимал очки, она неизменно оказывалась свободной от работы, готовая дать ему отдых, в котором он нуждался.

— Ты все читаешь, читаешь, — жалостно произносила она. — Как можно тратить столько времени на книги?

— Это не трата времени, — отвечал, словно оправдываясь, дядя Давид. — Книги хранят знание, а знание — великая вещь.

---

[8] Примечания: 8
«Атлантик монсли», № 171, март 1948, с. 52–55.

— И чего же в нем великого? — спрашивала тетя Сара. — Детям-то ты его оставить все равно не сможешь. С собой возьмешь, когда уходить придется.

— То же относится и ко всем великим вещам, — отвечал дядя. — Их приходится уносить с собой в могилу. Бросить и уйти без них невозможно.

— Если бы ты сложил все до одной книги в чемодан, — усмехалась тетя, — для тебя тут больше места осталось бы.

— Дело не в книгах, — пытался объяснить ей мой дядя. — Книги лишь помогают создавать великие вещи. Вот здесь.

И он медленно постукивал себя пальцем по лбу.

— И здесь, — добавлял он чуть громче, на сей раз постукивая пальцем по груди там, где сердце.

Великой трагедией всей дядиной жизни было разочарование в русской революции. Он родился в маленькой деревне неподалеку от города, который называется теперь Ленинградом. В юности был активным социалистом — таким активным, что ему пришлось бежать из России, спасаясь от властей. Дядя умел хорошо управляться с цифрами и, оказавшись в нашей стране, получил место бухгалтера в производственной фирме и работал

там, пока Великая депрессия не привела фирму к банкротству.

Он внимательно следил за ходом революции в его родной стране и очень обрадовался свержению царского правительства. В то время он верил, что России предстоит стать высшим олицетворением всех прекрасных человеческих качеств. Когда же осуществление изначальных целей революции было отвергнуто ради решения задач более прозаических, вера моего дяди пошатнулась. В последующие годы он увидел, как предаются одна за другой его надежды, и когда закрывать глаза на реальность творившегося в России стало уже невозможно, погрузился в молчание и принялся искать утешение в книгах.

Первый свой удар Депрессия нанесла именно по нашим кварталам, мгновенно обратив в безработных многих наших знакомых и соседей. Я тогда учился в начальной школе и, конечно, не способен был понять ни неумолимых законов экономики, ни суровых тягот бедности.

Как-то утром дядя Давид отправился со мной в город, чтобы купить мне зимнее пальто. Осень подходила к концу, пальто, которое я носил в прошлые годы, было отдано моему младшему двоюродному брату. Домой мы возвращались

в холодные послеполуденные часы и, подходя по улице к нашему дому, увидели мебель, сваленную одинокой грудой на тротуаре. Мы остановились, чтобы понаблюдать за происходящим; дядя негромко и горестно отвечал на мои вопросы, объясняя, какая здесь разворачивается драма. Так я впервые узнал, что такое выселение, и столь резкая перемена в жизни наших соседей меня испугала и ошеломила.

— Но ведь это ужасно! — воскликнул я.

— Да, — согласился мой дядя, — это ужасно.

Он положил мне на плечо ладонь, и мы пошли дальше.

— Ужасно, когда людей выбрасывают на улицу. И ужасно, страшно даже, что ты не можешь им помочь.

2

На следующей неделе дядя лишился работы. Среди дня я вернулся домой, чтобы поесть, и увидел его сидевшим с книгой у окна. Когда я вошел, он коротко взглянул на меня и, не сказав ни слова, опять углубился в чтение. Тетя приложила к губам палец — молчи, а когда я уселся за стол, сказала, что фирма дяди закрылась и работы у него больше нет.

Должно быть, у них были отложены какие-то деньги, потому что безработным дядя оставался почти три месяца, однако жили мы по-прежнему. Тетя Сара была рачительной хозяйкой и прекрасной стряпухой, если она и экономила на продуктах, мы этого не заметили.

Дядя что ни день отправлялся на поиски работы. Когда я просыпался утром, его уже не было, а возвращался он под вечер, иногда спустя долгое время после ужина. Он устало входил в дом, садился, горестно вздохнув, за стол и сообщал о новой неудаче. Тетя ставила перед ним тарелку, он молча ел, мрачно глядя в какую-то точку на кухонной стене, а поев, еще некоторое время оставался за столом. Потом вставал, подходил к чемодану, доставал книгу и, устроившись в гостиной, читал до поздней ночи.

Тетя очень за него волновалась и временами принималась умолять оставить книгу и лечь спать. Дядя всегда отвечал ей отказом, а если она настаивала, раздражался и переходил на кухню, и там она даже покрикивала на него, рискуя разбудить детей. В конце концов тетя сдавалась и оставляла его в покое, но при этом страшно тревожилась за его здоровье.

Потратив три месяца на поиски, работу дядя

все же нашел. Временную, на строительстве, которое, на наше счастье, растянулось на семь месяцев. Уже через несколько недель после его завершения нам пришлось продать кое-что из мебели. Мой двоюродный брат перебрался ко мне в комнату, а его кровать, несколько кресел, ламп и всякого рода домашнюю утварь мы продали. О продаже договорился дядя, все предназначенные для нее вещи мы перенесли в прихожую нашей квартиры.

Покупатель появился после полудня. В дом он вошел с самым почтительным видом и на протяжении всей сделки проявлял в обращении с нами показную чуткость. Он тщательно осматривал каждую вещь, что-то шептал сам себе, производя вычисления, и наконец ушел с тетей на кухню, торговаться. Они проспорили там долгое время — негромко, невнятно. Тетя Сара вернулась очень недовольной и заявила, что ничего продавать не станет.

— Сколько он тебе дает? — спросил дядя и, услышав ее ответ, сокрушенно улыбнулся.

— Продай все, Сара, — сказал он. — Времена наступили скверные. Больше этих денег ты ни от кого не получишь.

— Не продам, — решительно возразила тетя. —

Я лучше работать пойду. Вот завтра утром пойду и найду работу.

— Где? — спросил дядя Давид. Улыбался он грустно, говорил негромко, жалостливо. — Где ты ее найдешь?

— Я же работала раньше, вот и теперь стану. Не так давно это уж и было, а здоровье у меня пока крепкое. Устроюсь официанткой или буду в ресторане напитки продавать. Это мне все еще по силам.

— Нет, Сара, — сказал дядя и медленно покачал головой.

— Почему? — не сдавалась тетя. — Почему нет?

— Ты уже не юная девушка.

— Но я могу работать. Я сильная — для женщины.

— Они тебя не возьмут. Там нужны молодые девицы с огоньком в глазах, с крепкими бедрами, которые покачиваются на ходу. А ты уже не такая.

Тетя Сара пыталась найти какой-то ответ, и смотреть на нее было жалко. Мы видели: она того и гляди расплачется, — и наивное горе ее опечалило всех нас. Дядя положил ей на плечи ладони и улыбнулся, глядя прямо в глаза.

— Но когда ты была помоложе! — воскликнул

он. — Тогда была совсем другая история. Ты могла зайти в любое заведение, и все были бы только рады принять тебя.

Тетю его слова утешили мало. Так или иначе, мебель мы продали, а в следующие недели из дома начали уходить, маленькими компаниями, крадучись, и другие вещи. Одежда латалась и перелатывалась, пока не становилась негодной для носки, школьные уроки мне приходилось делать еще до вечера, чтобы не зажигать, по возможности, свет при наступлении темноты.

Потом настал день, когда тетя Сара вышла из дома, чтобы обойти окрестные прачечные, и получила работу: починка рубашек, штопка протертых на ткани дыр, обметка замахрившихся воротничков и манжет. Она приносила рубашки домой и, переделав все хозяйственные дела, усаживалась с шитьем на кухне. Дядя ворчал на нее за это — с юмором, конечно, но с юмором сокрушенным, полным жалости к себе, — она же отвечала на его поддразнивания негодующим упорством. Впрочем, как ни посмеивался над нею дядя, уговорить ее отказаться от шитья он ни разу не попытался.

Несчастья наши длились и длились, одно порождало другое непостижимым для маль-

чишеского ума образом. Все это походило на резинку, которую растягивают, растягивают, и она становится все тоньше, а напряжение все растет, не обещая никаких передышек, и я понимал, что приближается миг, когда все должно лопнуть, обрушиться. Или откуда-то придет облегчение, или произойдет разрыв и мы полетим, кувыркаясь, в хаос, в сумятицу, в трагедию. И в один прекрасный день дядя, не предупредив нас ни словом, привел в дом незнакомца, чтобы продать ему книги.

Помню, как дядя стоял на коленях у платяного шкафа перед раскрытым чемоданом. Он брал книги по одной, каждую обеими руками, спокойно прочитывал название и отдавал ее незнакомцу, который, повертев книгу, добавлял ее к выраставшей рядом с ним стопке. Тетя, оглушенная этой новой бедой, стояла неподвижно, с великой скорбью наблюдая за происходящим.

Судя по тому, как вел себя дядя, он поначалу намеревался продать их все, но потом решимость его пошатнулась. Половина книг уже перебралась в стопку, когда дядя заколебался и опустил одну из них на пол рядом с собой.

А под самый конец и еще одну. После того как все книги оказались принесенными в жертву,

он поднял две отложенные, задумался, глядя на них, затем с явной неохотой протянул одну покупателю и встал. Интересно, что в этот миг величайшей, быть может, его трагедии он отдал предпочтение насмешливости Чосера перед утешительными обещаниями Библии.

Деньги за книги он получил ничтожные — доллара четыре или шесть, — однако принял их без жалоб и предложил покупателю взять вместе с книгами и чемодан, бесплатно. Когда покупатель ушел, дядя повернулся к тете и протянул ей деньги. Бедная женщина смущена была так, что и слов никаких найти не сумела. Ей хотелось, наверное, укорить дядю, однако она понимала, я думаю, что жертва его была неизбежной.

3

На следующей неделе дядя нашел работу. Он влетел в дом страшно обрадованный, слишком взволнованный, чтобы оставаться на одном месте или говорить связно, да и мы, услыхав столь хорошую новость, возликовали. Когда же все поуспокоились, он рассказал нам подробности. Большая пекарня наняла дядю, чтобы он руководил погрузкой ее продукции в машины и определял их маршруты. Плата была хорошая,

всего на десять долларов меньше, чем в производственной фирме, а поскольку, поспешил добавить дядя, цены упали, то получать он будет на самом деле гораздо больше. Выйти на работу ему предстояло уже завтра. В тот день сразу после полудня повалил снег, и мы сочли это добрым предзнаменованием.

На следующее утро мы с ним вышли из дома вместе, и он проводил меня до станции подземки. Снег все еще падал, он уже покрыл землю глубоким слоем и не таял. Бодро шагавший дядя подбрасывал его ногами с неукротимой мальчишеской живостью и говорил со мной быстро и весело, не желая скрывать свой энтузиазм, да это у него, наверное, и не получилось бы. Он расспрашивал меня об учебе, о том, кем я хочу стать, и прочил мне профессию адвоката или доктора. Говорил он и о том, что сможет теперь откладывать деньги, чтобы купить в будущем маленький домик. У станции мы расстались; я направился к школе, и на душе у меня впервые почти за целый год было спокойно.

Во время одного из утренних уроков снегопад прекратился. В три часа занятия закончились. Я сразу пошел домой, поскольку спешил — не помню уже, по какой причине.

Свернув на нашу улицу, я увидел, что перед табачным магазином собралась небольшая толпа, наблюдавшая за компанией мальчишек, которые сновали вокруг большого сугроба. Я попытался разглядеть, чем они занимаются, но до них было слишком далеко. Когда же я подошел поближе, то замер от изумления, поскольку увидел среди мальчишек сидевшего на снегу и болтавшего с ними, как с ровней, дядю Давида.

Мальчики строили крепость — одна их команда лепила из снега большие кирпичи и передавала другой, складывавшей стену. Руководил строительством один из них, тот, что постарше. Он громко и воинственно отдавал приказы, которые дядя Давид выполнял с радостным самозабвением. Трудясь вместе с мальчиками, он смеялся, смуглое лицо его казалось помолодевшим, а уж такого довольства я на нем и не видел никогда. Дядя был в одном лишь костюме, аккуратно свернутое пальто его лежало на тротуаре. Вдруг увидел меня.

— Бобби! — весело воскликнул он и помахал мне рукой. — Как ты вовремя! Положи учебники, поиграй с нами. Снег хороший, чистый.

Я побагровел от стыда, жуткий испуг охватил меня. Пробормотав нечто невразумительное, я

помчался к нашему дому, взлетел по лестнице и ворвался в квартиру с криком, перепугавшим тетю Сару.

— Дядя Давид! — закричал я. — С дядей Давидом что-то случилось!

Ладонь тети Сары взлетела ко рту.

— Что? Где он? Где?

Слов для ответа у меня не нашлось, я просто отчаянно ткнул пальцем в сторону окна гостиной. Тетя метнулась к окну, распахнула его. Я медленно последовал за ней и, затаив дыхание, встал за ее спиной. Когда она отвернулась от окна, я увидел, что страха на ее лице больше нет — он сменился гневом. Тетя подошла к платяному шкафу, надела, не сняв передника, пальто и направилась к двери, жестом велев мне идти за нею. Мы спустились по лестнице, вышли на улицу и зашагали к игравшим в снегу мальчишкам. Зевак вокруг них успело прибавиться, и тете Саре пришлось проталкиваться сквозь толпу, пока она не оказалась стоящей прямо перед дядей. Он возился со снегом и нас не заметил.

— Давид, — сказала тетя. — Пойдем домой.

Тут дядя увидел нас, и лицо его расплылось в добродушной улыбке.

— Сара! — радостно воскликнул он. — А я как

раз думал, не подняться ли мне в квартиру, не позвать ли сюда и тебя. Поиграй с нами, Сара.

— Пойдем домой, — твердо повторила тетя.

Дядя явно удивился. Мальчишки, поняв, что назревает конфликт, прервали игру и начали медленно отступать от дяди. В мире вдруг стало удивительно тихо, и теперь все взгляды были прикованы к нам.

Дядя смотрел на жену, машинально вертя в руках снежок.

— Забудь ты на время о домашних делах, Сара, поиграй с нами. Помнишь, как мы играли в снегу много лет назад?

— Давид, — негромко и решительно потребовала она, — иди домой.

— Помнишь, мы отправились гулять и нашли заброшенную избу? Шел снег, с нами была еще одна девушка, Соня, и Петя Грузов. И я построил для тебя снежную крепость. Тебе было тогда пятнадцать лет. Я построил хорошую крепость, ты помогала мне. Потом мы все пошли в лес искать зайцев, а когда вернулись, дело уже шло к ночи, крепость заледенела, и мы решили, что она простоит веки вечные. Возвращаться домой было поздно, мы заночевали в избе, а утром вышли из нее: солнце светит, тепло, крепость, которую

я построил для тебя, тает, ее даже узнать уже трудно. Помнишь, Сара? Постарайся вспомнить.

— Иди домой.

— А когда мы вернулись назад, ты все рассказала отцу, и он погнался за мной с палкой, а я спрятался в нашем погребе, и твой отец попытался затеять драку с моим. Постарайся вспомнить, Сара, прошу тебя.

— Иди домой, Давид.

Выражение покоя сошло с дядиного лица, усталость и тревога снова поселились на нем.

— Ладно, — сказал он. — Я пойду домой. Только скажи сначала, помнишь ли ты? Попробуй, Сара, вспомни. Вспоминаешь?

Он смотрел на жену с отчаянием и надеждой. Но когда он услышал следующие ее слова, лицо дяди вытянулось окончательно.

— Иди домой, — повторила она.

Казалось, дядю накрыла какая-то огромная тень: он весь обмяк от разочарования. Вяло поднявшись на ноги, он подобрал с тротуара пальто и пошел к дому. Тетя шагала впереди. Он не пытался нагнать ее, просто смиренно плелся за ней следом, а я, недоумевающий и испуганный, семенил в нескольких ярдах позади него.

Когда мы поднялись в квартиру, дядя опустился

на стул у кухонного стола. Тетя повесила пальто в шкаф, вошла в кухню и уставилась на дядю строгим, требующим объяснений взглядом. Оробевший дядя старался в глаза ей не смотреть.

— Что с твоей работой? — наконец спросила она.

— Там забастовка. Потому меня и наняли. Хотели, чтобы я стал штрейкбрехером.

— И ты отказался?

— Когда я пришел, там были пикеты. Люди с плакатами ходили перед пекарней по холоду, взад и вперед.

Тетя молчала. Губы ее начали горестно подрагивать.

— Я не мог пройти мимо них, Сара. Они такие же, как я. Разве мог я войти внутрь и забрать себе их работу?

— Меня не работа твоя заботит, — сказала тетя быстро, словно боясь, что голос ее того и гляди сорвется.

— А что же?

— На улице! — выпалила она. — Как идиот! В снегу с детьми, как идиот!

Дядя ошеломленно покачал головой, прижал кулаки к глазам.

— Я шел домой, — тихо и печально сказал он. —

Новости у меня для вас были только плохие. А проходя мимо игравших в снегу детей, вспомнил, как любил такие игры, когда был мальчишкой. Мне захотелось поиграть с ними. Ну я снял пальто и поиграл.

Тетя отвернулась к плите, заглянула в кастрюлю с закипавшей водой, а потом принялась месить тесто на деревянной разделочной доске. Лицо ее так и осталось неумолимым, гневным. Дядя встал и ушел в гостиную, униженный и безмолвный.

До конца того дня он сидел дома, усердно стараясь не попадаться тете под ноги и время от времени робко поглядывая на нее. Она возилась на кухне и в его сторону не смотрела. Она была сердита, уязвлена, но прежде всего озадачена, поскольку не могла понять, как это взрослый человек может вести себя точно ребенок.

Девушка из Гринвича [9]

Дюк стоял посреди гостиной в ожидании, не сводя глаз с девушки из Гринвича. Она была хорошенькая, Дюку нравилась ее свежая, юная

---

[9] Примечания: 9
«Эсквайр», № 29, июнь 1948, с. 40–41, 142–143.

красота, однако сильнее всего его занимала легкая, загадочная улыбка девушки.

Вокруг нее стояли, разговаривая, Сидни Купер и еще несколько человек. Кто-то из них пошутил — удачно, поскольку все они засмеялись. Все, кроме девушки из Гринвича, отстраненная улыбка которой говорила лишь об удовольствии, еще не успевшем принять сколько-нибудь определенные очертания. Наконец люди, окружавшие ее, разбрелись, она осталась одна, и Дюк пересек гостиную, тихо приблизился к девушке сзади, положил ладони на спинку ее кресла. Миг спустя она ощутила его присутствие и неторопливо обернулась.

— Принести вам выпить? — спросил он.

— Мы с вами знакомы?

В интонации ее прозвучало легкое любопытство, не более того.

— Все честь по чести, уверяю вас, — ответил Дюк. — Нас с вами представили друг другу.

— О, простите.

Девушка медленно обвела взглядом гомонящую толпу гостей, которые фланировали по квартире Купера.

— Как здесь интересно, правда? — с воодушевлением произнесла она.

— Что именно? — спросил Дюк.

— Все это. — Она быстро повела рукой, охватив этим жестом всех гостей сразу.

— А! — сухо отозвался Дюк.

— Чудесный прием, верно?

— Да, — согласился он. — Давайте сбежим с него.

Девушка подняла к Дюку лицо, взглянула на него с новым интересом.

— Боюсь, я забыла ваше имя, — сказала она.

— Артур Кларк, — сообщил Дюк. — Забыть его вы не могли. Скорее всего просто ни разу не слышали.

— Вы хотите сказать, что нас друг другу не представили?

— Ну, это не сложно устроить, если наши теперешние отношения кажутся вам оскорбительными.

— Да нет, не нужно, — ответила она и коротко усмехнулась. — Скажите, вы тоже пишете?

— Опубликовал несколько книг. Большого успеха они не имели. А вы?

— Я только что закончила мой первый роман. Он выйдет весной.

— Ну что же, поздравляю. Надеюсь, у вас все сложится удачно.

— Я в этом уверена, — радостно сообщила она. — Один книжный клуб его уже выбрал.

Девушка примолкла, ожидая его реакции на это сообщение.

— Замечательно, — сказал он. — Просто замечательно. Так это что же, ваш прием?

— Нет, — ответила она. Лицо ее посветлело. — А я должна устроить прием?

— Таков обычай, — пояснил он и с интересом понаблюдал за тем, как она молча усваивает полученную от него информацию. А потом снова спросил: — Так принести вам выпить?

— Ладно, — немного подумав, согласилась она. — Мартини.

Дюк отыскал глазами официантку с подносом, снял с него мартини для девушки и скотч для себя и вернулся к ней. Девушка, приняв бокал, задумалась, разглядывая его. Дюк стоял рядом с ней, смотрел на плавную округлость ее щеки, на полные губы, изгибавшиеся в задумчивой улыбке, и вдруг понял, что она очень юна, очень счастлива и почему-то очень испугана.

— Ну что же, за удачу, — сказал он и одним махом проглотил свою выпивку.

Девушка продолжала безмятежно вглядываться в свою.

— Мартини, — негромко произнесла она, заметив изучающий взгляд Дюка. — Кто бы мог подумать? Никогда еще не пила мартини.

— Он вам нравится?

— Не уверена, — призналась она. — Его как пьют, глоточками или залпом?

— Кто как хочет.

— Тогда я еще немного полюбуюсь им.

— Только не долго, — сказал Дюк. — По-моему, наша хозяйка собирается увести вас куда-то.

Луиза Купер огибала, поглядывая на них, группки гостей и улыбалась всякий раз, как встречалась с кем-нибудь взглядом.

Подойдя, она сказала:

— Там один человек хочет поговорить с вами, дорогая.

— Кто? — быстро спросила девушка.

— Мужчина, — ответила Луиза. — Я не смогла решить, стоит его приводить сюда или не стоит. Он ждет в вестибюле.

Девушка помрачнела, посмотрела на дверь.

— Как он выглядит?

— Довольно молодой, светловолосый, в шинели.

На лице уже смотревшей в сторону вестибюля девушки обозначилось узнавание.

— Да, я знаю, кто это. — Она просительно улыбнулась Луизе. — Вы не могли бы сказать ему, что я занята и разговаривать с ним не могу?

— Боюсь, с этим мы уже запоздали, — ответила с сожалением, но твердо Луиза. — Думаю, вам лучше поговорить с ним.

Девушка, кивнув, неохотно встала, смущенно улыбнулась и направилась к двери. Дюк, почесывая медленно и задумчиво подбородок, смотрел ей вслед, пока она не покинула гостиную. Потом повернулся к Луизе, перекинулся с ней несколькими пустыми фразами, а когда кто-то позвал ее, начал кружить по гостиной — поговорил с коллегой-критиком, выпил еще виски — и все оглядывался на дверь, ожидая возвращения девушки. Однако она не возвращалась.

Гомон шедших вокруг разговоров нагнетал неприятное чувство праздного одиночества. Он поискал глазами Купера, увидел его, разговаривавшего с кем-то в углу гостиной, подошел к нему сзади, тронул за руку. Купер, обернувшись, улыбнулся, узнав его, отступил на шаг от своих собеседников и сказал:

— Привет, Дюк. Все хорошо?

— Нет, Сид. Все плохо. Скажи, зачем ты устраиваешь эти приемы?

— Они полезны для бизнеса, — ответил Купер и усмехнулся. — Что ты тут поделывал?

— Беседовал с твоей новой авторшей. Красивая такая, рыжеволосая.

— Ну да, Арлен Эдвардс. Как она тебе?

— Она хороша?

— За три месяца разойдется тиражом в сто тысяч.

— Я не об этом, — сказал Дюк. — Хороша она?

— Нет, — спокойно сообщил Купер. — Продаваться будет, но ничего особенного.

— А кстати, в чью честь устроен прием?

— Макса Уинклера, — ответил Купер.

— Этого борзописца!

— Ты написал на его книгу одобрительную рецензию, — заметил Купер. — Может, поздравишь его?

— Пошел он к черту.

— Поздравь. Вон он стоит, прямо за твоей спиной.

Уинклер, степенный мужчина средних лет, ухитрился перетащить Скарлетт О'Хара и Ретта Батлера в Аляску времен золотой лихорадки и заработал на этом целое состояние. Сейчас он был страшно доволен собой и горд и очень старался этого не показать. Дюк подошел к нему, они об-

менялись рукопожатиями.

— Спасибо за добрую рецензию, — сказал Уинклер.

— Я писал ее с удовольствием, — ответил Дюк. — Мне очень понравилась ваша книга.

Удовольствие состояло в том, что он доставлял удовольствие Куперу, а Купер был и его издателем.

— Пишете что-нибудь новое? — спросил он.

— В общем, да, — ответил Уинклер и, старательно подбирая слова, поведал: — Я сейчас обдумываю мою следующую книгу. Серьезную. Более глубокую, чем предыдущая. Более значительную.

Кто-то окликнул его, и Дюк воспользовался этим, чтобы смыться. Он снова начал бесцельно бродить по гостиной, старательно уклоняясь от встреч с любыми знакомыми, то и дело поглядывая в сторону вестибюля. Все они нынче норовят написать что-нибудь серьезное, цинично думал он.

Девушки так и не было видно. Внезапно Дюк вспомнил, что разговаривать с пришедшим к ней мужчиной она не хотела, и подумал: вдруг с ней случилось что-то неладное. Он обнаружил их в соседней комнате. Судя по их виду, они о чем-то

яростно спорили. Девушка обернулась, встретилась с Дюком глазами, и он, увидев в ее взгляде страдание, решительно направился к ним.

— Это зашло уже слишком далеко, — говорил, пока Дюк подходил поближе, мужчина. — Слишком.

— Ты просто верь мне, потерпи еще немного и постарайся понять, — отвечала девушка.

— Я и так понимаю, — говорил мужчина. — Понимаю, что все вышло из-под моего контроля и сделать я ничего не могу. Мне интересно, понимаешь ли ты.

— Во всяком случае, здесь неподходящее для таких разговоров место, — сказала девушка.

— Это я вижу, — ответил мужчина.

Дюк уже остановился рядом с ними.

Мужчина сердито взглянул на Дюка, тонкое усталое лицо его выражало враждебность. Одет он был в немного великоватую серую армейскую шинель, лицо у него резкое и ушлое — Дюк нередко встречал такие в бильярдных и на боксерских матчах. Он ласково улыбнулся мужчине и сказал девушке:

— Простите, что прерываю, но вас зовут к телефону.

— Вот видишь, — торжествующе произнесла

она. — Мне нужно идти.

— Я подожду здесь.

— Пожалуйста, не надо. Я позвоню, как только смогу.

— У меня нет времени. Мне необходимо знать все сейчас.

— Я позвоню завтра, обещаю.

Мужчина гневно взглянул на Дюка, открыл, собираясь сказать что-то, рот, но передумал и, широко шагая, покинул квартиру. Когда за ним захлопнулась дверь, девушка облегченно улыбнулась.

— Какой симпатичный джентльмен, — произнес Дюк. — Где вы такого откопали?

— Мне нечем его оправдать, — сказала девушка и доверительно сжала локоть Дюка. — И пожалуйста, пообещайте не задавать никаких вопросов.

— Обещаю, — ответил Дюк. — Тем более что это не мое дело.

Они неторопливо направились к гостиной.

— Нам обязательно туда возвращаться? — спросил Дюк.

— Конечно, а что?

— Давайте не будем. На этих приемах никогда ничего интересного не происходит. Одна и та же

унылая скука от начала и до конца.

— Какой вы циник, — усмехнулась девушка. — А вот мне приемы нравятся, и этот — в особенности. По-моему, он великолепен.

Дюк ушам своим не поверил.

— Что же великолепного в вечере, проведенном в толпе болтунов, которым и болтать-то не о чем?

— А вот и неправда, — возразила она. — Они очень интересные люди, и я страшно рада, что попала в Нью-Йорк, в общество таких знаменитостей, ну и все такое.

— Вы что же, раньше в Нью-Йорке не бывали?

— Да нет, бывала, конечно. Но никогда подолгу здесь не жила. Мистер Купер снял для меня в отеле роскошный номер, а когда книга выйдет и у меня появятся деньги, я перееду сюда, стану каждый день ходить на приемы и буду самой счастливой женщиной на свете!

В этой бесхитростной тираде присутствовала чистая, неиспорченная красота, согревшая душу Дюка.

— Вы хорошая девушка, — совершенно искренне сказал он. — Надеюсь, вы получите все, чего хотите, и это «все» окажется таким, каким вы его себе представляли.

Девушка благодарно взглянула на Дюка, затем обвела глазами толпу гостей, и на лицо ее вернулась неопределенная улыбка, тихая, блаженная, чарующая. Дюк взял девушку за локоть и повернул к себе лицом.

— А нет ли другого места, куда вам хотелось бы заглянуть? Ночной клуб, что-нибудь в этом роде, а?

— Хорошо. Ночной клуб. Мы можем пойти в «Аист»?

— Конечно.

— Только не в бар, хорошо? В ресторан.

— Разумеется. Пойдемте.

Она заколебалась.

— А ничего, что мы так рано уходим с приема?

— На большую их часть и приходить-то не стоит.

— Ну хорошо, — сказала, снова улыбнувшись, она. — Давайте попрощаемся со всеми.

— Это ни к чему. Берите плащ — и вперед.

— Вы уверены? Мистер Купер не рассердится?

— Только благодарен будет. Встретимся у двери квартиры.

Когда он подошел к двери со своим плащом, девушка уже ждала его, совершенно очаровательная в отделанном мехом жакете и крошечной

шляпке, чуть сдвинутой набок. Дюк похвалил шляпку, и они, смеясь, вошли в лифт. Тут он вдруг вспомнил о мужчине в шинели и, когда они пересекали вестибюль, спросил, кто это. Девушка немедля напомнила ему о данном слове, Дюк извинился, а она спросила, много ли денег принесет ее книга.

— Заранее ничего не скажешь, — ответил он. — Купер совершенно уверен в успехе, а продажа книжным клубам может дать очень немало.

— Чудесно! — радостно воскликнула она. — Я понимаю, вам, наверное, кажется, что я только о себе и думаю, но дело в том, что у меня никогда ничего не было, а теперь есть все.

Она провела в Нью-Йорке всего три дня. Купер пригласил ее сюда и принял по-царски, предоставив роскошный номер в отеле и выдав изрядный аванс в счет будущей выручки от продаж книги. Все ее мечты внезапно осуществились, и теперь она пребывала в восторженном состоянии.

Серый день уже сменялся сумерками, но воздух оставался по-прежнему свежим, и они решили пройтись пешком. Когда они остановились на светофоре, Дюк вытащил из пачки сигарету. Чтобы прикурить, он обернулся назад и, прикрывая ладонью спичку, увидел мужчину в шинели,

стоявшего в середине квартала у боковой стены одного из домов. Стоял он неподвижно и смотрел на Дюка с девушкой. Тут вспыхнул зеленый свет, и они двинулись дальше.

— Значит, теперь у вас все хорошо? — спросил, переходя улицу, Дюк, вглядываясь в лицо девушки.

— Все чудесно! — воскликнула она. — Просто чудесно!

— Это радует, — сказал он.

На следующем углу он обернулся снова. Мужчина шел за ними, так же неторопливо, как они, не сокращая разделявшего их расстояния. Переходя следующую улицу, Дюк взял девушку под руку.

— Но что же все-таки не так? — спросил он.

— Не так? — Она удивленно прищурилась. — О чем вы?

— О неприятностях. У вас ведь какие-то неприятности?

— Нет. Конечно, нет. А что?

— Как насчет того мужчины в шинели?

— Вы же обещали не спрашивать.

— Да, но если у вас неприятности, — сказал он, — я хотел бы помочь.

— Ну так у меня их нет.

— Ладно, — сказал Дюк. Некоторое время они

шли молча. Потом Дюк взглянул на девушку и понял по ее лицу, что она ждет объяснений. — Он преследует нас.

— Кто?

— Тот мужчина. Не оборачивайтесь, — быстро предостерег он девушку. — Во всяком случае, пока не решите, как собираетесь поступить.

Она молчала.

— На углу стоит такси, — сказал Дюк. — Свободное. Если вам хочется ускользнуть, мы можем сесть в него.

— Нет, — медленно ответила она. — Ускользать я не хочу.

— Хорошо, — согласился Дюк. — Тогда просто пойдем дальше.

В конце концов любопытство взяло верх, она оглянулась и сразу же сжала пальцами его руку.

— Он увидел меня, — встревоженно сообщила девушка. — Увидел и нагоняет нас.

— Что собираетесь делать?

— Не знаю. — Она ускорила шаг. — Идти, только побыстрее.

На следующем углу они свернули в боковую улочку. Затем Дюк услышал приближавшиеся сзади шаги, а через миг мужчина в шинели оторвал его от девушки и встал между ними — лицом

к ней, спиной к Дюку.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказал он.

— Уходи, — ответила девушка. Лицо у нее было испуганное, и она на шаг отступила от мужчины. — Пожалуйста, уходи.

— Нет, пока мы не поговорим. Пусть уйдет он.

Дюк, понемногу закипая от гнева, окинул его оценивающим взглядом. Мужчина протянул руку к девушке. Дюк перехватил его запястье и, шагнув вперед, оказался между ним и девушкой.

— Она же сказала, что не хочет разговаривать с вами, — негромко произнес он.

— Убирайтесь, — резко потребовал мужчина. — Это не ваше дело. Почему вы не уходите?

— Она не хочет разговаривать с вами, и я тоже, — сказал Дюк. — Так что валите отсюда.

Мужчина врезал Дюку по скуле, прежде чем тот успел поднять перед собой руки. Дюк замахнулся, целя ему в голову, но промазал. Нога его заскользила по асфальту, он упал на одно колено. Постоял так, ожидая, когда с глаз спадет пелена гнева и можно будет ясно увидеть мужчину, который теперь отступал от него, по-женски подняв перед собой руки, заслоняясь от неминуемого возмездия.

— Не заводитесь! — вскрикивал он. — Ради

Бога, не заводитесь! Я не хочу драться.

Лицо Дюка онемело от боли. Он помнил, что девушка из Гринвича стоит где-то рядом, пусть и вне поля его зрения. Он медленно встал, гнев его сменился острой, яростной жаждой мести. По-боксерски подняв перед собой кулаки, поводя плечами, он с беспощадной, методичной решимостью наступал на противника, ощущая ненависть к нему, но ненависть осмотрительную, не безрассудную. Сделав левой обманный выпад, он ударил мужчину правой по корпусу. Кулак словно завяз в свободных складках шинели, не принеся мужчине никакого вреда, но за этим последовал удар левой в голову, пришедшийся по твердой кости, а за ним еще удар и еще.

С каждым ударом Дюк ощущал, что становится только сильнее, а противник его слабеет, и когда в глазах у него прояснилось окончательно, он увидел перед собой покрытое кровью и ссадинами лицо мужчины, голову, мотавшуюся под ударами, от которых тот и не пытался уклониться, и понял вдруг, что мужчина плачет. Слезы текли по его щекам, он громко всхлипывал и, казалось, даже не замечал месивших его лицо кулаков.

Дюк опустил руки, увиденное привело его в ужас, чистое ликование схватки мгновенно ис-

парилось, и он в который раз понял: ничто не разочаровывает нас так сильно, как победа.

Тут он заметил, что их успели обступить множество зевак, сквозь кольцо которых уже пробивался здоровенный разгневанный полисмен, — какая-то возмущенная женщина бросилась к нему, визгливо крича, что она все видела. Дюк, сделав несколько шагов, оказался между ней и полисменом.

— Ничего страшного, офицер, — сказал он. — Может, забудем об этом?

— Нет, — отрывисто ответил полисмен. — Не может. В чем дело?

— Обычная размолвка, не более того. И все уже закончилось.

— Драка на Пятой авеню — это вам не обычная размолвка.

— Пожалуйста, офицер. — Арлен отделилась от толпы и, чарующе улыбаясь, объяснила полисмену, что все было следствием недоразумения.

В конце концов полисмен смилостивился и велел всем разойтись. Уже пришедший в себя Дюк поправил одежду, пригладил волосы. Взглянув в конец улочки, он увидел, что мужчина в шинели уже успел проскользнуть сквозь людское кольцо и теперь сворачивает за угол. Времени

вся эта неприятная, показавшаяся Дюку и девушке страшно долгой история заняла не так уж и много, и скоро они опять шагали по улочке.

— У вас все в порядке? — спросила Арлен, когда они отошли подальше от провожавших их любопытными взглядами зевак.

— Да, — ответил он. — Все.

— Ничего не болит?

— Ничего. Ударился немного об асфальт, это не страшно.

— Ну и хорошо. — Она восторженно улыбнулась, взяла его под руку и сообщила: — Вы были великолепны. Честное слово.

— Приятно слышать. А теперь я был бы не прочь узнать, что все это значит.

— Ладно. Думаю, вы имеете на это право.

— Я тоже так думаю. Во-первых, мне интересно, как вам удалось всего за три дня связаться с таким типом.

— Совсем и не за три, — возразила она. — Я давно его знаю. Он живет в Гринвиче.

— Я слушаю.

— И он совсем не такой, как вы о нем, наверное, думаете. Почтенный торговец обувью.

— Только не говорите мне, что он прикатил сюда, чтобы получить с вас деньги по векселю.

— Да ну, глупости. — Она засмеялась, сжала его руку. — Он мой муж.

Дюк замер на месте, ошеломленно глядя на нее.

— Он хочет, чтобы я вернулась к нему, — продолжала Арлен. — И жила с ним в Гринвиче. Представляете?

Сказано это было так просто, что Дюк не сразу понял ее. А когда понял, его аж замутило, как от прямого удара по корпусу, и он отшатнулся от девушки. Все кусочки мозаики сложились в отвратительную картину, в центре которой он увидел дергающееся от ударов бледное лицо мужчины и слезы, текущие по его щекам.

Дюк гневно, с отвращением отвернулся от девушки и пошел к стоявшему на углу такси. Удивленная Арлен нагнала его, схватила за руку.

— Куда вы?

— У меня назначена встреча, — ответил он и, вырвав руку, открыл дверцу такси. — Только что вспомнил.

— А как же я? — недоуменно спросила она.

— А вы возвращайтесь на прием, — сказал, усевшись в машину и захлопнув дверцу, Дюк. — Возвращайтесь и выпейте еще мартини.

Человек по имени Флейта [10]

1

Двое полицейских, один из них сержант, вошли в магазин канцтоваров и грузно протопали в заднюю комнатку, где вел свой бизнес Дэйв Мердок. Мердок был букмекером. Пришел он сюда совсем недавно, и теперь составлял с двумя работавшими на него людьми таблицу результатов вчерашнего дня. Увидев полицейских, он удивился, никакой приязни взгляд его темных глаз не выразил. Наоборот, на тяжелом лице Мердока появилась сердитая гримаса.

— Чего вам? — спросил он.

Полицейские остановились, не дойдя до него нескольких шагов.

— У нас для тебя плохая новость, Дэйв, — сказал сержант. — Нам придется на время посадить тебя.

Пару секунд Мердок молча смотрел на него, потом откинулся на спинку кресла.

— Не лезьте ко мне с ерундой, — сказал он. — Я

---

[10] Примечания: 10
«Атлантик монсли», № 172, август 1948, с. 66–70.

занят.

— Я не шучу, Дэйв, — сказал сержант. — У тебя есть примерно четыре часа.

Мердок, угрожающе приподняв тяжелые плечи, склонился над столом и смерил сержанта откровенно вызывающим взглядом.

— Какого черта? — спросил он.

— Нам приказано малость почистить этот район, Дэйв. Ты же понимаешь.

— Понимаю, — ответил Мердок. — Но почему я?

— Не только ты, Дэйв. Мы закрываем все здешние конторы, и тебе придется найти кого-нибудь, кто сядет вместо тебя в кутузку. Идет?

Мердок уже понял, что сделать он ничего не может, и препираться с ними не стал. Собрал бумаги, которые могли ему понадобиться, и оставил двух своих помощников заниматься необходимыми приготовлениями — в том числе и поисками того, кто сядет за него в тюрьму. Всю вторую половину дня он посещал своих клиентов, постаравшись обойти столько, сколько можно, — давал лучшим из них свой домашний номер и принимал ставки. А ближе к вечеру позвонил Нату Бейкеру, чтобы поехать с ним домой.

Нат тоже был букмекером. Добравшись до

своего квартала, они остановились у маленькой закусочной, бармен которой принимал от имени Ната ставки. Оба взяли кофе, и когда начало темнеть, Мердок решил, что подождет Ната, шептавшегося в углу со своим помощником. Едва переступив порог закусочной, он почуял сильный, густой, травянистый какой-то запах. В темном проходе, который вел к двери хозяйственного магазина, переминалась стайка мальчишек, все они курили, и лица у всех были странно вороватые, виноватые. Мердок с интересом втянул носом воздух и удивился, узнав запах. Похоже, мальчишки курили марихуану. Он замер на месте. Их опасливые повадки мгновенно подтвердили его подозрения. Когда из закусочной вышел Нат, Мердок так и стоял, краем глаза поглядывая на курильщиков. Нат тоже уловил запах сразу. Он коротко взглянул поверх плеча Мердока и направился к машине.

— Это то, что я думаю? — спросил он.

— Похоже, — ответил, кивнув, Мердок. — Травка, так?

— Ну да, — подтвердил Нат. — Ее в наших местах все больше становится.

Мердок, глядя на мальчишек с интересом, к которому примешивалась жалость, медленно

уселся в машину. Нат включил двигатель, и машина тронулась с места. Мердок обернулся, чтобы бросить на курильщиков последний сострадательный взгляд, и вдруг замер, увидев среди них своего сына, Дика. Тот стоял в глубине прохода, там, где тени сгущались сильнее всего, но это, несомненно, был Дик, шестнадцатилетний парнишка крепкого сложения. Мердок изумленно ахнул, потянулся к Нату и с силой сжал его руку.

— Кто продает им эту дрянь, Нат?

— А что? — немного озадаченно спросил тот.

Нат еще раз пригляделся к курильщикам и, похоже, все понял.

— Могу выяснить, — предложил он. — Хочешь?

— Да, — мрачно ответил Мердок. — Иди выясни.

Нат вылез из машины, вернулся в закусочную. Мердок сидел не шевелясь, время от времени посматривая на сына и ощущая медленно закипавший гнев. Человек вспыльчивый, крутой, он старался сдержать свой нрав, потому что Дик был хорошим мальчиком, и, чтобы все уладить, ему хватило бы серьезного разговора. Мердок увидел, как его сын поднял руку к лицу, глубоко затянулся. Кончик сигареты разгорелся ярче, и

Мердок отвернулся. Больше в ту сторону не смотрел, пока не возвратился Нат и снова не тронул машину с места.

— Они получают травку от малого по кличке Флейта, — сообщил Нат. — Он в бильярдной ошивается.

Мердок благодарно кивнул, но ничего не сказал. Когда Нат высадил его, он несколько минут простоял перед своим домом, стараясь успокоиться. Клэр удивилась, увидев его так рано.

— Они опять контору прикрыли, — ответил он на ее вопрос. Несколько секунд Мердок вглядывался в лицо жены, стараясь понять, о чем она думает. Клэр молча смотрела на него, лицо ее было печальным.

— Тебя что-то расстраивает, Клэр? — спросил он, чувствуя себя немного виноватым.

— Нет, ничего, — медленно ответила она. — Просто мне хочется, чтобы ты занялся чем-нибудь поприличнее.

— Нас закрыли всего на пару дней, — сказал Мердок. — Пустяки.

— Я не об этом говорю, — сказала Клэр.

Мердок понимал, о чем она говорит. Он состоял в букмекерах почти шестнадцать лет, и все это время Клэр занятия его не одобряла. Она и сейчас

с почти пуританским упрямством отказывалась верить в то, что ее муж зарабатывает на жизнь честным трудом.

— Послушай, Клэр, — сказал он. — Хватит уже валить на меня вину за то, что в мире полно игроков. Город кишит букмекерами. Если я перестану принимать у моих клиентов ставки, этим займется кто-то другой. Ты что, не понимаешь?

— Понимаю, — ответила Клэр. — Но мне не хочется, чтобы этим занимался ты.

Мердок перешел из кухни в спальню, разделся по пояс. Мужчиной он был крупным, лет сорока с небольшим, его большое, тяжелое тело все еще создавало яркое впечатление настоящей мужской силы. Он направился в ванную, неторопливо умылся, причесался. Потом надел свежую рубашку, оставив воротник незастегнутым, и вернулся на кухню к Клэр, заглядывавшей в кастрюлю, над которой поднимался парок.

— Где Дик? — небрежно поинтересовался он.

— Ушел.

— Куда?

Клэр повернулась к нему от плиты.

— Не знаю, — сказала она. — А что?

— Что у него с учебой? — спросил Мердок.

— Четверть только началась. С учебой он всегда

справляется хорошо. В чем дело?

— А когда он уроки готовит?

— Ты знаешь когда. После школы и вечером. Будь добр, скажи: что-то не так?

— Все путем, — ответил Мердок. — Но мне не нравится, что мой сын болтается по улицам, наживая неприятности.

Клэр испуганно шагнула к нему.

— Какие неприятности? Что он натворил?

Мердок улыбнулся, похлопал ее по руке, неловко пытаясь успокоить.

— Все в порядке, — сказал он. — Это мне полицейские настроение испортили.

Он снова улыбнулся.

— У меня одно дело есть, — сообщил он и вышел из кухни, не пытаясь понять, поверила ли ему Клэр.

2

В спальне он сел и стал ждать. Дик хороший мальчик, повторял он себе, все будет путем. Они всегда дружили, им было весело друг с другом. Он знал, что Дик время от времени поигрывает, часто заглядывает в бильярдную, что одна идиотка по собственному почину избавила его от невинности, что он скорее всего продолжает

курить, хоть и обещал целый год воздерживаться от сигарет. Все это они обговорили с приятной обоим прямотой, Мердок всегда гордился своими открытыми отношениями с сыном. И сегодняшняя новость привела его в ярость, потому что она грозила дурными последствиями и потому что у сына завелись тайны от него. И пока он сидел, ожидая Дика, в нем понемногу росло бешеное негодование.

Он услышал, как мальчик вернулся, подождал, пока тот устроится в гостиной. Потом встал и направился туда. Дик сидел в кресле у окна, держа в руках только что раскрытый журнал. Это был крепко сбитый мальчик с чистыми пытливыми глазами на красивом лице, которое выглядело года на два старше его обладателя. Клэр тоже вышла из кухни и замерла в двери, глядя на сына с боязнью, словно предчувствуя недоброе.

— Привет, пап, — сказал, увидев Мердока, Дик.

Вообще-то Мердок собирался поговорить с ним после обеда, но стоило ему услышать сына, как на него навалилось негодование, ничего от этого намерения не оставившее.

— Где тебя черти носили? — спросил он.

Мальчик удивленно уставился на отца.

— Гулял, — ответил он. — А что?

— Вопросы буду задавать я, — сообщил Мердок. — А ты будешь отвечать.

— Меня всего-то пару часов и не было, — сказал Дик. — Спроси у мамы.

— Я ни у кого ничего спрашивать не обязан, — заявил Мердок. — И я отправлю тебя в школу.

Дик изумился окончательно.

— Как это? — спросил он.

— Я сказал, что отправлю тебя в школу. У тебя что? Уши заложило?

— О чем ты говоришь? — спросила Клэр.

— Я знаю о чем, — ответил Мердок.

— Что-то не похоже, — сказала Клэр.

— В какую школу? — спросил Дик.

— В военную.

— В военную школу? Господи, пап, что на тебя нашло?

— Сейчас ты узнаешь, что на меня нашло, — сказал Мердок. — Встань!

Дик, с изумлением глядя на отца, начал подниматься из кресла. Мердок подскочил к нему, рывком поднял на ноги. Мальчик еще и понять ничего не успел, а Мердок уже принялся обшаривать его карманы, собирая их содержимое в свои большие ладони. Опустошив карманы, он грубо толкнул сына назад в кресло.

— Жди здесь, — приказал он и покинул гостиную.

Он зашел в комнату сына, перебрал все, что принес в ладонях, быстро осматривая каждую вещь и бросая ее на кровать. Ничего нужного ему Мердок не обнаружил и потому занялся курткой сына. В нагрудном кармане он нашел маленький бумажный пакетик, содержавший две тонкие помятые сигаретки. Он вскрыл одну ногтем и, увидев измельченные соцветия, удовлетворенно хмыкнул. Теперь, когда все выяснилось, он стал на удивление спокойным. Он сжал сигареты в ладони и вернулся в гостиную. Ни Клэр, ни мальчик со своих мест не сдвинулись.

— Пойдем, Дик, — сказал он. — Нужно поговорить.

Мальчик прошел за ним в свою комнату. Мердок закрыл дверь, запер замок. И, помолчав несколько секунд, спросил:

— Дик, ты не делаешь ничего такого, что хотел бы скрыть от меня?

Мальчик помялся, с опаской глядя на отца, потом покачал головой.

— Или такого, против чего я по-настоящему возражал бы?

Ответ последовал неопределенный:

— Что-то не помню.

Мердок, чувствуя, как в нем снова бушует гнев, на шаг подступил к сыну.

— Ты уверен?

Мальчик кивнул, и Мердок сделал еще шаг вперед. Не сводя глаз с лица Дика, он поднял руку и, показав одну из сигареток, спросил:

— Что это?

Виноватое выражение, появившееся на лице сына, окончательно убедило Мердока в его правоте. На миг испуганные глаза Дика встретились с глазами отца, однако мальчик сразу же потупился.

— Сигарета, — ответил он.

— Что за сигарета?

— Обычная сигарета, — сказал мальчик. — Просто свернул ее я сам.

Мердок наотмашь ударил его ладонью по лицу. Дик покачнулся, упал на колени, но тут же вскочил и торопливо отступил от отца на несколько шагов. Мердок надвигался на него, окончательно взбешенный. Он никогда еще не бил сына, и теперь его охватил великий стыд, а виноват в этом был, разумеется, Дик.

— Что за сигарета? — повторил Мердок.

— С травкой, — тихо ответил Дик.

Мердок, тяжело дыша, остановился, испытывая облегчение от того, что ему удалось отыграть еще одно очко.

— Кто их тебе продает?

Мальчик молча смотрел в пол. В углу рта появилась тонкая струйка крови.

— Можешь не отвечать, — сказал Мердок. — Я и сам знаю.

— Кто? — спросил Дик.

— Типчик по прозвищу Флейта, — ответил Мердок. — Так?

Дик медленно кивнул.

— В бильярдной я его сейчас застану? — спросил Мердок.

Мальчик снова кивнул. Несколько секунд Мердок молча смотрел на него.

— У тебя кровь идет, — негромко сказал он.

Дик коснулся пальцем губ, поднес его к глазам. Лицо мальчика никаких чувств не выражало.

— Пустяки, — сказал он.

— Я пойду прогуляюсь, — сказал Мердок. — Жди меня здесь, пока я не вернусь. Матери лучше ничего не знать. Если спросит, скажи, что ты прогуливал школу. Хорошо?

Дик кивнул, Мердок вышел из комнаты. В прихожей дорогу ему преградила Клэр.

— С ним все в порядке, — сказал Мердок. — Пусть посидит у себя до моего возвращения.

— А ты куда?

— Подышать воздухом, — ответил Мердок.

3

Ходу до бильярдной было шесть кварталов. Войдя, он остановился у двери и окинул взглядом длинный, наполненный людьми зал. Все столы были заняты, у каждого теснились, болтая, зеваки, а у дальней стены вокруг передававшего результаты спортивных состязаний телеграфного аппарата сгрудилась небольшая толпа. Мердок поискал глазами хозяина этого заведения, Марти Белла, но тот уже приближался к нему, приветливо улыбаясь.

— Здравствуй, Дэйв, — сказал Марти. — Ты как здесь?

— Хочу тебя кое о чем спросить, — ответил Мердок. — Есть тут тип по прозвищу Флейта?

Марти оглянулся на зал, кивнул.

— Вон видишь, за четвертым столом, — указал он пальцем. — Зачем он тебе?

— Мозги ему вышибить хочу, — ответил Мердок и шагнул в сторону четвертого стола.

Явно занервничавший Марти схватил его за

рукав. Лицо у Марти было доброе, глуповатое, вечно сложенное в скорбную гримасу, каковая и обеспечила ему прозвище Похоронщик.

— Поаккуратнее, Дэйв, — сказал Марти. — Он парень крутой.

Мердок нетерпеливо отбросил его руку и направился к четвертому столу, не отрывая взгляда от Флейты — такого же крупного, как он, с широкими прямыми плечами и толстыми предплечьями. Когда Мердок приблизился к нему, Флейта склонялся над столом, собираясь ударить по шару. Мердок резко стукнул его по плечу.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказал он.

Флейта неторопливо выпрямился, с равнодушным интересом оглядел его. На сильном лице Флейты появилась легкая насмешливая улыбка.

— О чем?

— Давай отойдем в сторонку, скажу, — ответил Мердок.

Флейта с секунду поразмыслил, потом кивнул, положил кий и пошел следом за Мердоком к боковой двери. Отойдя подальше от света, Мердок остановился и обернулся.

— Ты толкал марихуану моему мальчишке, — сказал он.

Лицо Флейты нисколько не изменилось.

— Твой мальчишка это кто? — спросил он. — Я много кому паль продаю.

— Не важно, — ответил Мердок. — Нужно быть последним подонком, чтобы продавать ее кому угодно.

— Ага, — сказал Флейта. — Приятно слышать.

В сумраке за его спиной обозначились четверо мужчин, по двое с каждой стороны. Они неторопливо обступили Мердока, а тот, едва увидев их, попытался ударить Флейту по зубам. Однако Флейта поймал в воздухе его запястье, ухватил — Мердок и опомниться не успел — другую руку, и миг спустя он оказался прижатым к стене, неспособным даже пошевелиться. Он попытался ударить Флейту коленом в пах — подлый вообще-то удар, — но попал в ляжку. А Флейта совсем притиснул его к стене, не оставив никакой возможности нанести удар. Четверо мужчин стояли неподвижно, наблюдая за происходящим. Флейта держал Мердока за руки, давил на него плечом, но не бил, даже и не пробовал. Мердок дергался, пытаясь освободиться, напрягал до предела силы. Все было без толку, и через пару минут он обмяк изнемогая. Гнева он больше не чувствовал, одну лишь апатию побежденного.

— Порядок? — спросил Флейта.

Мердок вяло кивнул. Флейта отпустил его руки, отступил на шаг. Мердок, глядя в пол, отлепился от стены.

— Все же от твоего мальчишки зависит, — сказал Флейта. — Давай так: он приходит ко мне, говорит, как его зовут, и я ничего ему не продаю.

Мердок молчал и медленно растирал руки, стараясь умерить боль. Флейта неотрывно смотрел на него, ожидая ответа.

— Ладно, — в конце концов сказал он и пожал плечами. — Не хочешь — не говори. Только не лезь ко мне. Идет?

Мердок по-прежнему молчал, лишь поглядывал каждые несколько секунд на прямоугольное лицо Флейты. Он все еще ловил ртом воздух, все еще вздрагивал от унижения, однако лицо его выражало теперь упрямую решимость, явно внушавшую Флейте тревогу. Какое-то время Флейта вглядывался в него, потом снова пожал плечами и отступил еще на шаг. Мердок, протиснувшись между двумя его дружками, пошел к двери. Шел он быстро, однако на улице, едва свернув за угол, замедлил шаг. Такой усталой походкой он и доплелся до дома. А там остановился, чтобы причесаться и поправить одежду. Клэр ждала его у самой двери.

— Где ты был? — испуганно спросила она.

— Воздухом дышал, — ответил Мердок.

Клэр озадаченно вгляделась в его лицо.

— Ты дрался?

— А что, похоже? — спросил Мердок.

Клэр медленно покачала головой, и ему пришлось улыбнуться.

— Накрывай на стол, — сказал он. — Мы сейчас подойдем.

4

Он на миг задержался перед дверью Дика, но пошел все же в свою комнату. Закрыл дверь, сел на кровать. Впервые в жизни он почувствовал, что уже немолод. Флейта справился с ним как с младенцем, и, вспоминая об этом, Мердок ощущал унижение и стыд. Какое-то время он просидел неподвижно, тупо глядя на свои руки, тупо вслушиваясь в собственное сопение. Дверного звонка он не услышал и потому удивился, когда в комнату вошла Клэр.

— К тебе Марти пришел, — сказала она.

Мердок молча и вопросительно смотрел на нее.

— Марти Белл, — пояснила она.

— Что ему нужно? — спросил, отводя взгляд в

сторону, Мердок.

— Поговорить с тобой хочет.

— Ладно, — сказал Мердок.

Клэр вышла и несколько мгновений спустя вернулась с Марти. Марти вошел в комнату Мердока с опаской, скорбное лицо его было встревоженным, мрачным. Он бросил на Клэр многозначительный взгляд, и та, испуганно посмотрев на Мердока, вышла. Марти закрыл за ней дверь и, не говоря ни слова, повернулся к Мердоку.

— Чего тебе, Марти? — спросил Мердок.

— Я разговаривал с Флейтой, — ответил Марти. — Он попросил меня повидаться с тобой.

И Марти с надеждой на лице отошел от двери.

— Сделай мне одолжение, Дэйв. Не трогай его, ладно?

— Почему? — резко спросил Мердок. — Почему мне его не трогать?

— Потому что он хороший парень, Дэйв. Ты его не знаешь, Дэйв, он хороший.

— Ну да, — презрительно усмехнулся Мердок. — Очень хороший. «Дурь» моему мальчишке толкает.

Марти поежился, ему было здорово не по себе.

— Флейта просто пытается сшибить немного

деньжат, — объяснил он. — Ты же знаешь, как это бывает, Дэйв. Тебе и самому туго приходилось, и не раз.

— Я «дурью» сроду не торговал, — сказал Мердок.

— Так это ж ничего не значит, — сказал Марти и снова с умоляющим видом пожал плечами. Он подошел поближе к Мердоку, вытянул вперед шею, задушевно улыбнулся. — Ему ж нужно как-то сводить концы с концами, Дэйв. А у нас в округе найдется десяток парней, которые продадут твоему мальчишке паль, только попроси. Если Флейта не будет делать этого, значит, будет кто-то другой. Все как в твоем бизнесе.

У Мердока даже челюсть отвисла. Марти примолк, изумленно глядя на него. И осторожно отступил назад.

— Вали отсюда, Марти, — сказал Мердок.

— Конечно, Дэйв, — торопливо ответил Марти. — Но ты подумай как следует, ладно?

— Катись, Марти, — сказал Мердок. — Я его не трону.

Марти благодарно улыбнулся и выскочил за дверь. Несколько минут просидев в одиночестве, Мердок тяжело, как очень уставший человек, поднялся на ноги и потащился к двери Дика.

Когда он вошел, Дик коротко взглянул на него и сразу уставился в пол. Мердок какое-то время молча смотрел на свои руки, дыша тяжело и медленно. Смотреть на сына ему было стыдно. Но в конце концов поднял взгляд на мальчика.

— Прости, что ударил тебя, Дик, — сказал он. Секунду Дик изумленно таращился на отца, а затем лицо его расплылось в широкой робкой улыбке.

— Да ничего, пап, — счастливым голосом сказал он.

— Держи, — сказал Мердок. Он вынул из кармана пакетик с двумя сигаретами, протянул его сыну. — Давай об этом завтра поговорим. Идет?

— Конечно, пап, — ответил Дик и, немного помявшись, положил пакетик на стол. — Как скажешь.

Мердок улыбнулся ему, и оба пошли обедать. Садясь за стол, он думал о том, что Клэр ничего узнать не должна. Еда была вкусной, однако ел он медленно, без аппетита, и за все время обеда ни разу не встретился с Клэр взглядом.

Ничего не поделаешь [11]

---

[11] Примечания: 11
«Эсквайр» № 30, август 1948, с. 73, 129–130.

Карл вошел в комнату, повесил плащ на спинку кресла и начал раздеваться. Человеком он был низкорослым, полным, лет без малого пятидесяти, волосы на покрывавших его грудь тестообразных складках седели и выглядели весьма отталкивающе. Оголившись по пояс, он сел на край кровати и развязал шнурки на туфлях. Кровать стояла у окна, он просидел несколько минут, глядя на улицу. Полдень еще не наступил, однако воздух уже посерел, от надвигающегося дождя потемнело. Устало крякнув, Карл закинул ноги на кровать, лег на спину. Так он и лежал долгое время, не шевелясь, глядя в потолок, и наконец заснул.

Очень скоро его разбудил звук шагов на лестнице. Кто-то остановился у двери и легонько постучал.

— Войдите, — сказал он.

Дверь отворилась, вошел Гек, молодой человек лет двадцати, работавший внизу, в бильярдной Карла, служившей ему также и букмекерской конторой. Гек пришел за ключами. Довольно красивый, с крепким грубоватым лицом и могучим телом, до отказа заполнявшим кожаную куртку.

— Привет, Карл, — сказал он.

— Привет, Гек.

Карл смотрел, как он переходит комнату и садится на стул, лицом к кровати. Какое-то время Карл молчал, а Гек терпеливо ждал подбоченившись.

— Дождь собирается, — скорбно сообщил Карл, повернув голову, чтобы взглянуть в окно. — Черт знает какой ливень.

Гек не ответил. Достал пачку сигарет. Карл покачал головой, Гек закурил.

— Ты почему в кровати лежишь? — спросил он. — Плохо себя чувствуешь?

— Нормально я себя чувствую, — ответил Карл. Несколько секунд он молчал, наблюдая за дымком, который поднимался от сигареты Гека и голубел, попадая в лившийся из окна свет.

— Открываться все равно без толку, — сказал он. — День сегодня будет плохой.

Гек безучастно пожал плечами.

— Ты вчера днем до какого времени там пробыл? — спросил Карл.

— До двух-трех, по-моему, — ответил Гек. — Потоптался немного после прихода Ната.

— Ставки какие-нибудь принимал?

— Да так, по мелочи. А что?

— Сам насчет них звонил?

— Нет, — сказал Гек. — Я их Нату сдал. Да в чем

дело-то?

— Ставка одна потерялась, — сказал Карл.

Гек посерьезнел:

— И кто ее потерял?

— Нат, — ответил Карл. Он помолчал. — Сотня баксов. А выплата по ним — двенадцать сотен.

Гек резко выпрямился, губы его безмолвно и изумленно повторили эту сумму.

— Нат ставку прикарманить не мог, — сказал он. — Ты сам знаешь.

— Знаю, — сказал Карл. — Да только Нику Лондону оно до лампочки. Это были его деньги.

— Ты уверен, что их поставил Лондон?

— Уверен. Нат помнит, как принимал от него ставку. Сотня баксов в белом конверте. Но только Нат не помнит, звонил он насчет денег, не звонил, а мне он конверт не отдавал.

— И что теперь будет? — спросил Гек.

Карл взглянул в окно — на дом по другую сторону улицы, на маленький клочок неба, который он мог видеть не вставая.

— Дождь будет, — сказал он. — Черт знает какой ливень.

— Так что, открываться мне или не стоит? — спросил Гек.

— Можно, конечно, попробовать. — Карл сунул

руку в карман, протянул Геку связку ключей. — Но бизнеса сегодня все равно никакого не будет.

Гек направился к двери, легко позвякивая лежавшими на его ладони ключами. И уже на пороге обернулся, взглянул, явно о чем-то думая, на Карла.

— Нат красть не стал бы, — сказал он.

— Я знаю, — отозвался Карл. — Но теперь это все равно.

— Что собираешься делать?

— А что я могу сделать? — ответил Карл. — Двенадцати сотен долларов у меня нет. Имей я такие деньги, так покрывал бы ставки сам, а не просто собирал их для синдиката.

— Может, это кто-то из тамошних, — предположил Гек. — Может, в синдикате кто-то мухлюет.

— Нет, — сказал Карл. — Нат туда не звонил.

— Кому придется ущерб возмещать?

— Нату, — ответил Карл. — Я этой ставки и в глаза не видел.

— Лондон уже все знает?

Карл кивнул:

— Он заходил ночью за выигрышем.

Гек грустно кивнул и вышел, медленно закрыв за собой дверь. Какое-то время Карл пролежал без движения, переводя взгляд с потолка на окно и

обратно на потолок. В конце концов он сел. Сидя на кровати, он мог дотянуться до ящиков бюро. Он выдвинул верхний, достал из него пинтовую бутылку. Виски было дешевеньким. Глотнув его, Карл покривился. Затем он встал, вздохнул, прошлепал в ванную комнату и там долго пил воду из крана. Вода оказалась тепловатой, и Карл покривился снова. Глядя на себя в зеркало, он провел ладонью по темной щетине на подбородке. Пустил горячую воду, побрился. Потом снова улегся в кровать. И только-только задремал, как вернулся Гек, приведший с собой Ната.

— Привет, Нат, — сказал Карл.

Нат был юношей высоким, выше Гека, но намного худощавее. По утрам он учился в колледже, а после полудня работал у Карла. Карл наблюдал за ним, пересекавшим комнату, и думал о том, как было бы хорошо, если бы он, Карл, мог что-то сделать. Но он не мог. Он размышлял над этим всю ночь и понял — ничего он сделать не может.

— Как мне теперь быть, Карл? — спросил Нат.

— Не знаю, — ответил Карл. — Может, тебе лучше убраться куда-нибудь на время.

Нат покачал головой. Выглядел он усталым — темные крути под глазами, в которых застыло выражение горестного недоумения.

— Ты уверен, что принял ту ставку? — спросил Ник.

— Я ее принял, — ответил Нат. — Он отдал мне деньги в белом конверте. Это я помню, а вот что я с ними сделал, не помню.

Он снова недоумевающе покачал головой и взглянул на Карла.

— Карл, я тебе их точно не отдавал? — с надеждой спросил он.

— Нет, — ответил Карл. — Те, что ты мне отдал, я помню все до единой. Его ставки среди них не было. Ты же не думаешь, что я ее в карман положил, а?

— Я не это имел в виду, — сказал Нат и сокрушенно примолк. — Хоть бы я вспомнил, как все было. Тогда в контору вдруг народ повалил, и я что-то сделал с этим конвертом, не помню что. Может, потерял или по ошибке отдал кому-то.

— Карл, — сказал Ник, — позвони в синдикат. Спорить готов, деньги где-то там.

— Нет, — сказал Нат. — Я им об этой ставке не сообщал.

— Все равно позвони, — стоял на своем Гек.

— Ладно, — согласился Карл.

— И позвони насчет меня Лондону, — попросил Нат. — Попробуй все ему объяснить.

— От этого проку не будет, — сказал Карл.

— Ну ты все равно позвони, хорошо?

— Хорошо, — сказал Карл.

Они ушли. Карл поднялся с кровати, оделся. Застегнув рубашку, он закатал рукава и покинул комнату. Длинный зал внизу был пуст. Гек сидел в углу на одном из столов, разговаривая с Натом, горбившимся, словно стараясь стать неприметным, на тянувшейся вдоль стены скамье.

— Пойду позвоню, — сказал Карл.

— Спасибо, Карл, — сказал Нат. — И замолви за меня словечко перед Лондоном.

Карл кивнул и направился к двери.

— Не сиди на столе, — сказал он, поравнявшись с Геком.

Выйдя на улицу, Карл приостановился, чтобы взглянуть на небо. По какой-то причине — он и сам не понимал по какой — ему хотелось, чтобы пошел дождь. С бильярдной соседствовала маленькая закусочная. Карл, проходя по ней к телефонной будке, кивнул бармену. Аккуратно закрыв дверь будки, он некоторое время смотрел сквозь нее на закусочную, потом перевел взгляд на телефон. И, простояв так немного, покинул будку.

Когда он вернулся в бильярдную, двое под-

ростков гоняли шары по первому столу. Карл, не сводя с них глаз, прошел к дальней стене зала, у которой его ждали Гек и Нат.

— Я позвонил в синдикат, — сказал он. — Ставку там не получали.

— А Лондон? — спросил Нат. — С ним ты поговорил?

— Не дозвонился, — ответил Карл.

Он поочередно взглянул им в глаза.

— Думаю, Лондон едет сюда, — медленно произнес он. — С дружками.

Нат молчал, тишину нарушал лишь становившийся, казалось, все более громким стук телеграфного аппарата, уже не первый раз отбивавший результаты вчерашних соревнований. Карл обернулся, чтобы взглянуть на ребят за первым столом. И спросил у Гека:

— Школьники?

— Не знаю, — ответил Гек.

— Ты бы выставил их, — сказал Карл. — Сюда полицейские могут нагрянуть.

Гек неторопливо направился к столу. Карл подождал, пока он отойдет достаточно далеко, и повернулся к Нату.

— Тебе лучше смыться, Нат, — сказал он.

Нат покачал головой:

— Нет. Я не хочу убегать.

— Они бывают очень жесткими, — сказал Карл.

— Я поговорю с ними, — ответил Нат. — Постараюсь все объяснить.

— Да они и слушать не станут, — сказал Карл.

Нат молча смотрел в пол. Даже не шелохнулся. Карл недолгое время вглядывался в него.

— У моего брата ферма в Джерси, — наконец сказал он. — Можешь поехать к нему. Он будет хорошо с тобой обходиться.

Нат так и стоял неподвижно.

— Нат, — произнес Карл более резко. — Тебе лучше уйти. Я видел их за работой. Они могут убить тебя, им это раз плюнуть. Я и такое тоже видел.

Лицо Ната побелело, теперь он нервно переступал с ноги на ногу.

— Однажды они изловили какого-то малого прямо у нашей двери, — сказал Карл. — И избили в кровь. На моих глазах, Нат.

Нат коротко взглянул на него. На миг Карлу показалось, что он все же согласится бежать. Но Нат с силой потряс головой.

— Ладно, Нат, — удрученно сказал Карл. Он сжал плечо юноши и поднялся в свою комнату. А

там снял рубашку, туфли и лег снова.

Прошло долгое время, прежде чем с лестницы донесся звук торопливых шагов и в комнату влетел Гек.

— Они снаружи, — сказал он. — Только что подъехали.

Карл не шелохнулся.

— Где Нат? — неторопливо спросил он.

— Внизу. — Гек смотрел на лежавшего Карла. — Ты не хочешь спуститься?

— Я ничего сделать не смогу.

— Но они же его изобьют.

— Сядь, Гек, — сказал Карл.

Гек сел. Глаза его не отрывались от Карла.

— Расслабься, — сказал Карл. — Закури и расслабься.

Наступила тишина, долгая, напряженная. Потом они услышали, как внизу закрылась дверь. Потом едва слышные шаги. Затем шаги остановились, и несколько минут из бильярдной доносилось лишь постукиванье телеграфного аппарата. А потом внезапно раздался крик, за которым сразу же последовал беспорядочный громкий топот, постепенно замедлявшийся и стихавший. И теперь тишина наступила уже полная. Даже телеграф умолк.

Гек обливался потом. Струйки стекали по лицу молодого человека, на воротнике его рубашки появилось темное, понемногу расползавшееся пятно.

— Я ничего не слышу, — хриплым шепотом сообщил он Карлу.

— Зато я слышу, — ответил Карл. — Как ты потеешь.

Гек провел ладонью по лбу, удивленно взглянул на нее.

Затем вытащил носовой платок, старательно протер лицо и шею. А покончив с этим, зажал скомканный платок между ладонями.

Проходили минуты. Дверь внизу еще раз открылась и закрылась. Гек вскочил на ноги, подобрался к окну, сбоку. Хлопнула дверца автомобиля, пару секунд спустя заработал мотор, автомобиль отъехал. Гек отвернулся от окна.

— Уехали, — хрипло прошептал он.

— Вот и хорошо, — сказал Карл. Он сел, протянул руку к рубашке. — Теперь пойдем вниз.

Гек медленно, едва дыша, пересек комнату, вышел. Карл встал, подошел к двери. Постоял у нее, прислушиваясь к шагам осторожно спускавшегося по лестнице Гека. Потом закрыл дверь и повернул ручку замка. Наклонился, сунул руку

под ковер и вытащил из-под него маленький белый конверт.

Прошлой ночью Карл нашел его в своем кармане. Непонятно, как пакет отделился от других переданных ему Натом ставок, а когда Карл его обнаружил, было уже слишком поздно. Он думал об этом всю ночь, все утро, стараясь придумать, что можно сделать, и понимая — ничего нельзя. С него причиталось двенадцать сотен долларов, и кто-то должен был заплатить за ошибку. Происшедшее только что было самым лучшим исходом, повторял и повторял себе Карл, потому что он человек слабый, пожилой, а Нат молод, и здоровье у него крепкое. Жалко его, конечно, все-таки Нат был хорошим, честным пареньком, Карлу он очень нравился.

Стоя у двери, Карл открыл конверт, заглянул внутрь. Сотня долларов — секунду он смотрел на них, собираясь с духом. Потом медленно потащился в ванную и там изорвал конверт вместе с деньгами. Посмотрел, как обрывки падают в унитаз, спустил воду, однако, вернувшись в комнату, чувствовал себя нисколько не лучше. Он отпер дверь и пошел вниз.

В мире полно прославленных городов [12]

Доставив последнюю телеграмму в приемную адвоката, юноша дошел до стоявшего на Бакмэн-плейс многоквартирного дома, поднялся на лифте на шестой этаж, отыскал нужную ему квартиру, нажал на кнопку звонка и замер в ожидании. Через несколько секунд дверь отворила женщина, блондинка. Увидев юношу, она распахнула дверь пошире, но осталась стоять на пороге, холодно оглядывая его с головы до ног. Женщина была очень красива, и юноша, почувствовав, что краснеет, потупился, ожидая, когда она заговорит.

— Где ты оставил велосипед? — в конце концов спросила она.

— У нас нет велосипедов, — ответил юноша. — Мы пешком ходим.

— Поэтому ты так быстро до нас и добрался?

— Я старался прийти поскорее, — сказал юноша. — Хотя до вас мне пришлось зайти еще в

---

[12] Примечания: 12

В сборнике «Великие истории горожан» под ред. Алекса Остина (Нью-Йорк: «Лайон лайбрари эдишнс», 1955).

четыре места.

— Я спросила без всякой иронии. Ты пришел раньше, чем мы ожидали. Можешь подождать несколько минут? Муж сейчас занят.

— Могу, — ответил юноша.

— Тогда входи.

Женщина отступила от порога, и он прошел следом за ней в гостиную. И, войдя, сразу увидел, как роскошно она обставлена, и почувствовал витавший в воздухе легкий, словно долетающий издалека, но острый и сладкий запах. Он оглядывался вокруг, уважительно дивясь размерам гостиной, богатству мебели, попадавшейся ему на глаза, куда бы он ни повернулся. Здесь было и несколько фотографий, а взглянув поверх плеча женщины, он увидел дымившуюся в серебряной пепельнице сигарету.

— Ну и как тебе здесь — нравится? — саркастически осведомилась женщина.

— Извините, — сказал он. — Я просто осматривался.

— Извиняться не за что. Осматривайся сколько хочешь. Это привилегия, которую мы предоставляем пролетариату.

Она пересекла гостиную, взяла дымившуюся сигарету, раздавила ее в пепельнице. И неторо-

ливо повернулась к юноше.

— Готова поспорить, ты живешь точно в такой же квартире.

Юноша промолчал. Он стоял посреди гостиной, ему было жарко, неловко, он медленно покручивал в руках свою шапочку.

— Ведь так? — спросила женщина.

— Нет, — негромко ответил он.

— Почему? Твоя красивее?

Юноша не ответил.

— Твоя красивее?

— У нас дома не так красиво, — сказал юноша.

Женщина отвернулась, взяла из белой, слоновой кости, шкатулки сигарету. На столе стояли среди стаканов две бутылки — виски и содовая. Женщина раскурила сигарету и, снова повернувшись к юноше, выпустила из уголка рта дым.

— Хорошая у нас квартира, верно? — спросила она.

— Да, — ответил юноша. — Очень хорошая.

— Ты, наверное, думаешь, что в такой всякий был бы счастлив. — Поскольку он молчал, женщина спросила снова: — Ведь так?

— Не знаю.

Теперь он смотрел в пол.

— Не виляй. Тебе отлично известно, что имен-

но так ты и думаешь. Разве ты не знаешь, какой силой обладают деньги?

Юноша оторвал взгляд от пола, встретился с ней глазами.

— Почему вы надо мной насмехаетесь? — спросил он. — Я же вам ничего плохого не сделал.

Женщина подняла руку, провела ладонью по щеке, оставив на ней бледный, мгновенно исчезнувший след, сжала губы, отчего на лице ее появилась гримаска нервного сожаления.

— Извини. Я не хотела над тобой насмехаться. Просто мне немного не по себе. Я должна разговаривать с тобой, пока не подойдет муж, а что сказать — не знаю.

Юноша улыбнулся, поняв — ее что-то гнетет. Женщина была очень красива, и он почувствовал жалость к ней.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Сидней.

Из соседней комнаты донесся мужской голос:

— Кто там?

— Посыльный, — ответила женщина.

— Каков собой?

Женщина окинула юношу взглядом. Тот стоял неподвижно, медленно вертя в руках шапочку и гадая, зачем он им понадобился.

— Красивый, — сказала женщина. — Но очень юный.

Несколько шагов по плиточному полу — и в гостиную вступил худощавый, средних лет мужчина в темно-синем халате, с полотенцем вокруг шеи и бритвой в руке. Он холодно кивнул юноше, оглядел его с головы до пят. Женщина присела на стоявшую в углу комнаты софу, сбросила туфельки и подобрала под себя ноги.

Мужчина нахмурился.

— Он похож на девушку.

— Уж такое мое везение, — с горечью отозвалась женщина.

— Я отошлю его. — Мужчина подошел к юноше поближе, улыбнулся. — Послушай, возвращайся в свою контору и скажи там, чтобы прислали кого-нибудь постарше. У нас особое поручение, для него требуется человек не такой молоденький. Ты понял?

Юноша кивнул, повернулся к двери.

— Пусть остается, — сказала женщина. — Думаю, с ним получится даже лучше.

— Ты вправду так думаешь?

Женщина кивнула.

— Ладно.

Он снова повернулся к юноше.

— Я через несколько минут вернусь. Дай ему выпить, Скелли, — сказал он женщине и покинул гостиную.

— Присядь, Сидней. — Юноша пересек гостиную и опустился в кресло, лицом к женщине. — И чувствуй себя как дома. Никто тебя здесь не обидит.

Он положил шапочку на столик у кресла, с любопытством огляделся по сторонам. Он чувствовал себя неловко оттого, что женщина наблюдала за ним. На глаза ему попалась фотография красивого паренька в форме футболиста, и он подумал: не ее ли это сын? Нет, женщина выглядела слишком молодо, чтобы быть его матерью. Стоявший в гостиной сладковатый запах слабел, юноша машинально втянул его носом.

— Что такое? — спросила женщина.

— Ничего, — ответил он.

— Да не бойся ты меня. К чему ты принюхиваешься?

— Тут пахнет чем-то сладким, — сказал юноша. — На духи похоже.

— Благовония. Я жгла их перед твоим приходом. Выпить хочешь?

Он покачал головой.

— Я так и думала. Для спиртного ты слишком

юн.

— Вообще-то я иногда выпиваю, — сказал юноша.

— Виски?

— Время от времени, — соврал он. — Но мне больше нравится пиво.

— У меня есть на кухне. Принести тебе бутылку?

— Нет, спасибо. Нам во время работы выпивать запрещено.

— Ты куришь?

— И курить тоже запрещено.

— А ты возьми да и покури, — сказала женщина. — Я тебя не выдам. Вам хорошо платят?

— Прилично.

— Сколько ты получаешь в неделю?

— Не очень много, — ответил юноша. — Я выхожу на работу только после школы. А те, кто весь день работает, получают очень немало.

— Сегодня и ты получишь очень немало, — сообщила женщина, вставая с софы, чтобы раздавить в пепельнице сигарету. Она налила в стакан немного виски, добавила содовой и, равнодушно посмотрев на стакан, быстро крутанула его. Потом подняла к губам и в один глоток осушила. Юноша не отрывал глаз от ее лица.

Выражение его лица нисколько не изменилось.

— Сидней, — произнесла женщина, опуская стакан на стол, — ты очень милый мальчик. Уверена, все девочки в школе от тебя без ума.

Юноша, покраснев от смущения, отвел взгляд в сторону.

— Ты встречаешься с девушками?

Он кивнул.

— И, я уверена, со многими.

— С несколькими, — ответил юноша. Ему нравилось, что она так о нем думает.

— И многого ты от них добиваешься?

Юноша, решив, что неправильно ее понял, снова обратил взгляд, теперь уже вопросительный, к ней.

— Ну ты же понимаешь, о чем я. Или ты все еще девственник?

Лицо его вспыхнуло от смущения, он уставился на участок ковра между ножками круглого столика, который стоял у большого окна.

— Если тебе не хочется, можешь не отвечать.

— Мне не хочется.

— Ладно, не отвечай. Но если ты девственник, то виноват в этом только ты сам. Девушки в твоей школе по тебе с ума сходят.

— Ничего они не сходят, — неловко улыбнув-

шись, возразил он.

— Сходят-сходят. Приглядись к ним получше, сам увидишь. Ты очень милый мальчик, Сидней. Мне хотелось бы посмотреть на тебя в холодный день. Готова поспорить, на холоде твои щеки и губы становятся алыми.

Сидней виновато улыбнулся. Он и сам знал, какими алыми становятся в холодные дни его губы и щеки, какой он миловидный и чистенький — в сравнении с его одногодками. Пока отец был жив, его, Сиднея, далеко от дома не отпускали, и потому свободу, позволявшую ему приглядываться к миру, он получил лишь недавно. Мир начал неторопливо раскрываться перед ним огромной, загадочной панорамой, и каждое новое открытие доставляло юноше наслаждение.

Он указал на фотографию паренька в футбольной форме, спросил:

— Это ваш сын?

— Нет, — ответила женщина. — Это сын мистера Ингэлла. — И, увидев недоумевающее лицо юноши, добавила: — Я его вторая жена.

— А…

— Обычно он проводил с нами каждые полгода, но сейчас учится в колледже. И не был здесь почти шесть лет.

Она протянула руку к шкатулке, достала новую сигарету, нервно пристукнула ею по тыльной стороне ладони. Потом сняла со стола зажигалку и повернулась к юноше, явно колеблясь, отчего лицо ее впервые за время их разговора стало по-настоящему мягким.

— Ты милый мальчик, Сидней, — медленно произнесла она. — Страшно нравишься девочкам. Я знаю, я ведь тоже когда-то училась в школе. Бери их столько, сколько сможешь, пока не станет слишком поздно. Они для того и созданы. Бери, пока можешь, и ты никогда не пожалеешь об этом.

Тут она увидела, как он поеживается, и спросила:

— Что с тобой?

— Не знаю, — промямлил он.

— Тебя пугают разговоры о девушках?

— Нет, — ответил он.

— Тогда почему ты смущаешься? Ты никогда не обсуждал такие вещи с друзьями?

— Да нет. У нас и совсем неприличные разговоры бывают.

— Так в чем же дело? В том, что я женщина?

— Я не знаю.

— В том, что я старше тебя, или в том, что я

красива?

— Наверное, в этом.

— Не увиливай. В чем? В возрасте или во внешности?

— Я думаю, и в том и в другом.

Она закурила, откинулась на спинку софы.

— Значит, по-твоему, я красива?

Он кивнул покраснев.

— Прекрасна?

Он снова кивнул. И взглянул в сторону коридора, гадая, когда вернется тот мужчина.

— И что же тебе во мне нравится?

— Наверное, все. Вы очень красивая женщина.

— Но должно же что-то нравиться тебе в особенности. Так что это — лицо, грудь, форма бедер, которую ты можешь только представлять?

Юноша, чувствуя, что обливается потом, уставился на столик в углу гостиной, уставился с пристальным вниманием, которое, надеялся он, позволит ему пригасить разгоравшиеся в нем стыд и смущение. Там стояло что-то странное — стеклянный сосуд с резиновой трубкой. Интересно, что это такое?

— Ну так что же?

— Мне не хочется, чтобы вы об этом спрашивали.

— Хорошо, — согласилась женщина. — Не буду. А хотел бы ты лечь со мной в постель?

Он резко повернулся к ней, ощущая теперь уже изумление и гнев, а не испуг. Муж ее находился в соседней комнате. Наверное, тут какой-то розыгрыш?

— Мне пора идти, — сказал он и встал. — Я должен вернуться в контору.

— Да ладно, Сидней, — сказала женщина. — Сядь. Я не буду к тебе приставать.

Он медленно сел в кресло, глядя на нее с подозрением и опаской.

— Что с тобой? — спросила она. — Я не кажусь тебе привлекательной?

— Не в таком смысле, — негромко ответил юноша.

— Почему же? Если бы ты увидел меня на улице, я ведь показалась бы тебе желанной, верно?

Юноша отвернулся. Она была самой красивой женщиной, с какой он когда-либо разговаривал, и Сидней понимал: увидев ее на улице, он остановился бы и смотрел ей вслед, пока она не исчезла бы из виду.

— Похоже, я тебе просто неинтересна, — устало произнесла женщина. — А скажи, что так заинтересовало тебя на том столике?

— Вон та вещь, — ответил он, указав пальцем. — Это что? Трубка?

Женщина вставила ступни в туфельки и направилась к столику, рукой поманив юношу за собой. Он пошел следом и остановился за ее спиной, стараясь смотреть не на изгибы ее тела, а на стеклянный сосуд.

— Это трубка, — сказала женщина, взяв сосуд со столика и повернувшись к юноше.

— А вода зачем?

— Чтобы охлаждать дым. Мы курим крепкий табак. Гашиш. Знаешь, что такое «гашиш»?

— Наркотик, правильно?

— Да, — ответила она. — Наркотик. Не желаешь попробовать?

Он торопливо отступил от женщины, потряс головой. Вошедший в гостиную мужчина приблизился к столу.

— Чем вы тут занимаетесь? — спросил он.

— Да вот предлагаю молодому человеку покурить нашего табачку. Если кто знает в этом толк, то гашиша в нем два к одному.

Мужчина отобрал у жены трубку, положил ее на стол и негромко спросил:

— Ты спятила? Он же несовершеннолетний.

— И все еще будет несовершеннолетним, когда

мы приспособим его к делу, — сказала женщина.

— Ладно, Скелли. Замолчи, пожалуйста. Иди к себе. И поторопись. Не держать же его тут целый день.

Она отдала ему сигарету и вышла из гостиной. Мужчина повернулся к Сиднею, улыбнулся. Лет ему было около пятидесяти: глубоко посаженные серьезные глаза, чисто выбритое лицо с крошечной капелькой крови под нижней челюстью и глубокими складками, спускающимися от ноздрей к краям рта. Мягкий ровный голос, спокойные серьезные интонации. Он отвел Сиднея в центр гостиной, там они сели лицом друг к другу.

— Тебя не ругают на работе, когда ты задерживаешься надолго? — спросил мужчина.

— Слишком долго задерживаться я не могу, — ответил Сидней.

— Но если мы задержим тебя, ты сможешь с ними договориться?

— Не знаю, — сказал Сидней.

Мужчина достал из кармана две банкноты, протянул одну Сиднею. Тот, смущенно улыбнувшись, принял ее, сложил, увидев при этом, что получил десять долларов, и сунул в свой карман.

— Это тебе за ожидание, — сказал мужчина. — Вторую половину получишь, когда сделаешь то,

что нам нужно.

— А что именно? — подозрительно поинтересовался юноша.

— Разве Скелли тебе не сказала?

— Нет.

— Ладно, на этот счет не тревожься. Ничего особенного. — Он налил себе виски. — Выпить не хочешь?

— Нет, спасибо, — ответил юноша. — Так чего вы от меня хотите?

— Подожди до ее возвращения. — Мужчина проглотил виски, поморщился, поставил стакан на стол. — Что ты о ней думаешь?

— Она привлекательная, — ответил юноша.

— Прекрасная, — сказал мужчина. — Она тебе нравится?

Юноша осторожно кивнул:

— Она очень красивая.

— Прекрасная, — повторил мужчина.

Он казался измученным, очень усталым. Взялся за бутылку, чтобы налить себе еще, передумал, опустил бутылку на стол.

— Она актриса, — сказал он.

Юношу эта новость обрадовала. Он еще ни разу не разговаривал с актрисой и, естественно, разволновался.

— А вы тоже актер?

— Я работаю на радио, — ответил мужчина. Несколько секунд он молча смотрел перед собой, потом сказал, медленно поднимая взгляд на юношу: — Она очень несчастна. Мы оба очень несчастны.

Юноша с нетерпением ожидал продолжения.

— Потому мы тебя и выбрали. Это эксперимент. Ты согласишься помочь нам?

— Я с радостью, если смогу, — сказал юноша.

— Хорошо. Думаю, сможешь. Сколько тебе лет?

— Недавно исполнилось семнадцать.

— Совсем еще ребенок. Счастливый беспечный ребенок. Ты красивый мальчик. И наверняка легко ладишь с девушками.

Юноша не ответил.

— Со мной ты об этом разговаривать можешь, — сказал мужчина. — Я же не женщина. Много у тебя было девушек?

— Я часто хожу на свидания, — признался юноша.

— И они податливы?

— Некоторые да, — ответил Сидней. — Некоторые нет.

— Тебе больше нравятся податливые?

Юноша застенчиво хмыкнул:

— А как вы думаете?

— Хорошенькие?

— Кое-кто. Большинство не очень.

— Ну, с этим ты будешь сталкиваться всю жизнь. А есть среди них хотя бы одна такая же хорошенькая, как Скелли?

— Нет, — ответил юноша. — Таких красивых нет.

Мужчина наклонился вперед.

— Она настоящая красавица, верно? — спросил он, вглядываясь в лицо юноши.

— Да, — ответил тот. — Настоящая.

— И тебе хочется лечь с ней, верно? — спросил мужчина.

Юноша быстро отвел глаза. Во всем поведении мужчины сквозил какой-то надрыв, отчаяние, ощущавшееся и в поведении женщины. Нечто странное, угрожающее, пугавшее юношу, который никогда ни с чем подобным не сталкивался и не понимал, что оно означает. Мужчина ждал ответа, не сводя глаз с его лица.

— Я хотел бы встречаться с девушкой, такой же красивой, как она, — признался юноша, негромко и неуверенно.

Некоторое время мужчина молча смотрел на него. Потом откинулся на спинку кресла, нето-

ропливо побарабанил пальцами по колену.

— Тебе случалось заблудиться во время работы? — спросил он.

— В первые дни случалось, — ответил Сидней. — Да это и сейчас бывает, когда меня посылают в центр города.

— Жуткое ощущение, да?

— Ну не такое уж и жуткое. Сначала я немного пугался, но теперь просто спрашиваю у кого-нибудь дорогу. Город-то большой.

— Затеряться в огромном городе ужасно, — медленно произнес мужчина. — А мир полон огромных городов.

Голос его был глубок и торжественен. Он говорил, глядя прямо перед собой, произнося слова точно загипнотизированный.

— Сознание человека — это огромный город, в котором он вечно теряется. И проводит целую жизнь, пробираясь по нему на ощупь, пытаясь найти себя.

Юноша слушал его благоговейно, слишком пораженный, чтобы сказать что-нибудь в ответ.

— И, умирая, мы так и остаемся чужими самим себе, — продолжал мужчина. — Затерянными в огромном городе.

Мужчина встал, медленно подошел к окну и

замер, вглядываясь в потерянный им день. Юноше показалось, что о его присутствии мужчина забыл, но тут он негромко сказал:

— Когда думаешь так, картина получается страшная. Голая рука нащупывает в мозгу каждого человека путь через огромный темный город. Способен ты представить себе мир, заполненный голыми шарящими руками?

Он отвернулся от окна, взглянул на юношу. Теперь ладонь мужчины лежала на лбу, пальцы медленно поглаживали висок.

— Я ощущаю эту руку в моей голове. Меня часто мучает головная боль. Я чувствую, как ее пальцы копаются в моем мозгу. — На юношу он смотрел удивленно, как будто только что увидел его. — Ты понимаешь, о чем я?

— Думаю, что понимаю, — ответил юноша.

— Нет, не понимаешь. Ты слишком молод. И это хорошо. — Он вышел в коридор. — Черт побери, Скелли! Поторопись. Мальчик не может ждать весь день.

Мужчина вернулся в гостиную, сел в кресло перед софой. Плеснул в стакан немного виски, подержал его между коленями, глядя в пол. И через несколько секунд появилась женщина. Увидев ее, юноша от удивления вытянулся в струнку.

Женщина переоделась в голубой халат, на ногах ее были теперь домашние шлепанцы, и пока она пересекала гостиную и опускалась на софу, он различал под тонкой тканью халата плавные, округлые очертания ее тела.

— Ну? — спросила она, глядя на мужчину.

— Скажи ему, — ответил тот. — Это же твоя идея.

— Я думала, скажешь ты.

— Ты *этого* хочешь?

Женщина кивнула. Мужчина поднял стакан к губам, осушил его. Юноша смотрел, как лицо его кривится от отвращения, и ждал продолжения, ощущая себя центром странной, быстро меняющейся головоломки. Мужчина поставил стакан на стол, повернулся к женщине.

— Давай сама, — сказал он.

— Ладно, — согласилась женщина и взглянула на Сиднея. — Ты когда-нибудь видел голую женщину?

Юноша отвел взгляд в сторону. Он чувствовал, как наступившее в гостиной безмолвие разрастается, как что-то покалывает его кожу, как у него начинает звенеть в ушах.

— Да не жеманничай ты, ради Христа. Видел или не видел?

— Нет, — еле слышно ответил юноша.

— А хочешь увидеть?

Краем глаза он следил за складками ее халата и испытывал ужас, не понимая, что она задумала. В душе его нарастала паника, а секунды ползли и ползли, обещая недоброе.

— Ладно, Скелли, — сказал мужчина. — Я сам скажу. Ты лишена такта.

Он повернулся к юноше.

— Вот что нам от тебя нужно. Попробуй притвориться, что Скелли одна из твоих подружек.

У юноши перехватило дыхание.

— Как это?

— Ты знаешь как. Пересядь к ней, обними ее.

Юноша вскочил. Лицо его покраснело, покрылось потом, тело дрожало от страха.

— Нет! — выпалил он. — Я не буду. Вот.

Он пошарил в кармане:

— Возьмите ваши деньги!

— Забудь о деньгах, — сказал мужчина. — Они твои. Почему ты отказываешься?

— Потому что это неправильно, вот почему!

Мужчина неторопливо покачал головой, улыбнулся.

— Ты не понял. Мы ни о чем дурном не просим. — Он указал на фотографию паренька в

футбольной форме и спросил: — Видишь того мальчика?

Сидней кивнул.

— Это наш сын. Мой и Скелли. Он умер. Скелли его очень не хватает. Ты же знаешь, каковы они, матери. Мы всего лишь хотим, чтобы ты поцеловал ее вместо него.

Юноша помнил, что сказала ему об этом мальчике женщина, и понял: мужчина врет, — однако страх постепенно покидал его. Помнил он и то, как мужчина повернулся от окна, прижимая ко лбу ладонь.

— Вы хотите, чтобы я поцеловал ее как мою мать? — спросил он.

— Нет. Мы хотим, чтобы ты повел себя так, точно она одна из твоих девушек, самая лучшая. Только и всего.

Сидней взглянул на женщину. Она смотрела на него напряженно, с надеждой. И с такой же надеждой смотрел, ожидая его решения, мужчина.

— Хорошо, — согласился юноша. — Я ее поцелую, но пусть она сначала скажет, что это правильно.

Женщина слабо улыбнулась, кивнула:

— Это правильно.

Мужчина встал, отошел к столу с напитками.

Женщина тоже встала, поманила к себе юношу, и он медленно приблизился к ней. Он слышал, как за его спиной льется в стакан виски. Остановился перед ней. Она была на дюйм-другой выше его, он смотрел на нее снизу вверх, дрожа от страха и неуверенности. Женщина раскрыла ему объятия.

Мужчина неподвижно стоял в стороне, он словно застыл.

— Ну давай, — сказала женщина, когда юноша оглянулся на него. — Все правильно.

Юноша нервно сглотнул, потянулся к женщине, поцеловал ее в губы. Она обняла его. Юноша осторожно поднял ладони к ее плечам. И, едва коснувшись их кончиками пальцев, отпрянул от женщины.

— В чем дело? — сердито спросил мужчина.

— Он боится, — ответила женщина.

— Неудивительно. У тебя такой вид, точно ты глаза ему выцарапать собираешься. Улыбнись бедняге.

Женщина улыбнулась. Лицо ее стало ласковым, призывным и ужасно грустным. Юноша почувствовал прилив нежности к ней и неуверенно улыбнулся в ответ. Он снова подступил к ней. Она взяла его руки, обвила ими свое тело. Притя-

нула лицо юноши к своему, крепко обняла его. И начала целовать в губы. Однако юноша был так напуган, что даже пошевелиться не мог.

— Он ничего не делает! — крикнула женщина и уткнулась лицом в его шею.

Плечи ее затряслись, и юноша понял: она плачет. Он чувствовал, как рыдания сотрясают все ее тело.

Мужчина подскочил к нему сзади, хлопнул ладонями по спине и закричал:

— Целуй ее! Чтоб тебя! Целуй!

Он толкнул юношу с такой силой, что тот упал вместе с женщиной на софу. Рыдания сотрясали воздух, он открыл глаза. Лицо женщины было смято отчаянием. Внезапно она уперлась ладонями в плечи юноши и резко оттолкнула его. Он слетел с софы, ударился коленями об пол, но тут же вскочил и метнулся через всю комнату — подальше от мужчины, гневно смотревшего сверху вниз на женщину с безумным, исступленным лицом.

— Все впустую! — крикнула она. — Он слишком молод!

Мужчина стремительно повернулся к юноше.

— Иди в контору! — рявкнул он. — Скажи там, чтобы прислали юнца постарше. Ты понял? По-

старше. Нам нужен кто-то постарше.

Юноша кивнул. Он подскочил к столу, схватил свою шапку, мельком глянул на женщину, чей громкий, истерический плач отдавался в нем волнами боли. Но едва он устремился к двери, мужчина перехватил его.

— Минуту. Никому ни слова. Забудь о случившемся. Понял?

— Нет, расскажи им! — закричала женщина. — Расскажи всем.

— Заткнись, Скелли. Ради Бога, заткнись!

Женщина спрыгнула с софы, бросилась к юноше, и лицо ее вдруг показалось ему изможденным.

— Расскажи всем, Сидней, — прорыдала она. — Всему проклятому миру!

Рыдания мешали ей выговаривать слова, и она завизжала.

— Замолчи, Скелли, — взмолился, схватив ее за плечи, мужчина. — Замолчи, прошу тебя.

Юноша смотрел на нее, не в силах сдвинуться с места. Лицо женщины было белым как мел, она дергалась и гримасничала, пытаясь вырваться из рук мужчины.

Мужчина хлестнул ее ладонью по лицу. Она изумленно смолкла, мужчина отвел ее, поддер-

живая, к креслу и позволил ей упасть в него. Мгновение он печально смотрел на нее, потом вернулся к юноше и повел его к двери.

— Никому ни слова, — сказал он и сунул в ладонь юноши вторую бумажку. — Забудь обо всем. Ты понял?

Юноша все еще слышал тихие рыдания женщины, а оглянувшись, увидел за спиной мужчины ее подрагивавшие плечи.

— Запомни. Никому ни слова. Хорошо?

Юноша кивнул.

Мужчина открыл дверь.

— И ты обо всем забудешь, так?

Юноша кивнул снова, вышел в коридор.

Дверь за ним захлопнулась.

Бортовой журнал Макадама [13]

Первое путешествие Капитана, положившее начало его долгой и блестящей карьере мореплавателя, состоялось в тот теперь уж далекий год, когда сестра его, единственная еще живая представительница его родни, принадлежавшей к одному с ним поколению, уплыла назад, в Шот-

---

[13] Примечания: 13

«Джентльменс куортерли», № 29, декабрь 1959, с. 112; 166–176, 178.

ландию, чтобы там умереть. Разумеется, она не сообщила, что цель ее именно в этом и состоит, но с глупым упорством твердила о какой-то подруге детства, одинокой и больной. Однако Капитан, на редкость ясно помнивший нескончаемые, влачившие нога за ногу десятилетия, которые он успел оставить позади, отчетливо помнил и то, что ему было всего девять лет, когда его отец, дюжий корабельный плотник, чей звонкий смех и ныне нередко звучал в голове Капитана, одним могучим рывком сдернул с насиженного места свою мать, жену и семерых чад — мощи этого рывка хватило, чтобы стремглав перенести их из Глазго в Портленд, штат Мэн, — и что сестра в то время едва-едва вышла из поры младенчества и, стало быть, ни завести, ни разорвать сколько-нибудь крепкие связи не могла.

Капитан, опечаленный ее сединой и худобой, никаких возражений подобного рода выдвигать не стал. Он вглядывался в сестру с наидобрейшим выражением лица, вопросы задавал самые невинные и втайне старался — тщетно, впрочем — понять ее. К тому дню они не виделись уже два десятилетия, а последними письмами обменялись пять лет назад — по случаю наступившей вследствие сердечного приступа смерти их брата,

который жил в Тукумкари, штат Нью-Мексико. Замуж сестра вышла рано и, обосновавшись с мужем в Ричфилде, штат Миннесота, посвятила все свои плодовитые годы производству крепеньких, здоровых детей, породив на свет общим счетом шестерых сыновей и трех дочерей, из которых никто, судя по всему, не смог выкроить время или настоять на своем с силой, достаточной для того, чтобы получить возможность проводить ее до Нью-Йорка.

Именно в день ее отплытия Капитан и испытал впервые великий прилив вдохновения, которое в конечном счете привело его в морские просторы. На борт корабля он не поднимался с того богатого событиями времени почти пятидесятилетней давности, и теперь от вида просторного, массивного судна со всей его избыточной роскошью оснащения, которая, куда ни взгляни, уходила, поблескивая, в бесконечность, от окутавшего корабль возвышенного ореола, горделивой, сосредоточенной силы у Капитана перехватило дыхание. Когда же он наконец спустился с Нэйлом и Цинтией на пирс, то понял, что уходить отсюда ему не хочется.

— Не думаю, что она выйдет к поручням, — сказал, многозначительно посмотрев на часы, Нэйл.

— Нет, — с сожалением пробормотал Капитан, понимая, что они, его дочь и зять, люди занятые. — Полагаю, не выйдет.

И все-таки он медлил.

— Вы идите, — наконец сказал он. — Мне все равно нужно в городе задержаться.

Он терпеливо ждал, пока Цинтия целовала его в щеку и поправляла, неодобрительно хмурясь, его галстук. А затем, когда они ушли, вернулся туда, где взволнованно толпились у деревянного барьера прочие провожающие. Бесшабашный настрой овладел им, и Капитан принялся ласково махать рукой незнакомой женщине, выбранной им на самой верхней палубе. Разумеется, ответа он не получил. А получив, испугался бы. Так он и простоял там, ощущая безмятежное довольство и благожелательно улыбаясь своей неведомой, не подозревавшей о его существовании подруге, пока судно не отчалило.

Окружавшие Капитана люди в скором времени разошлись, но сам он покинул пирс лишь после того, как судно скрылось из виду. За рекой, местами поблескивавшей грязными пятнами масла, виднелся обрывистый берег Джерси, спокойный и чистый в мягком свете дня. Над ним дремала безмолвная стая облаков, похожих на уснувших

лебедей. Все это понемногу растаяло в воздухе, и Капитан увидел открытый океанский простор, бескрайнюю роскошную синеву, которая мирно покачивалась, уходя в бесконечную даль и глубину, и когда он наконец повернулся к ней спиной, чтобы отправиться восвояси, яркое видение осталось с ним.

После этого уход Капитана в море стал всего лишь вопросом времени.

В пригородном доме, который он делил с Нэйлом, Цинтией и двумя внуками, заняться ему было, в сущности, нечем. Положение пенсионера Капитан переносил стойко — не без сожалений, правда, но покорно, не протестуя. Тридцать семь лет усердной работы в торговле скобяными изделиями наделили Капитана потребностью в целенаправленной деятельности, и отставка, вызванная болезнью и накопившейся усталостью, настигла его не обзаведшимся привычкой к праздности. Он не находил себе места, томился скукой, его расстраивали вещи, замечать которые у него прежде не было времени, и потому с готовностью ухватился за мысль о смене жизненного курса, возможность которой подразумевал отъезд сестры.

Даже внуки и те на его время особо не посягали.

Когда они нуждались в нем, пусть даже как в жертве неприятных порою проказ, Капитан неизменно оказывался рядом, однако присутствия своего им никогда не навязывал и возмутился бы, предположи кто-нибудь, что он требует от них любви или привязанности. Внуки — Невил, названный так в честь отца Нэйла, и маленькая Нэн — были детьми избалованными, склонными к частым перепадам настроения и крикливым капризам. Нэн, которую уже начали донимать ночные кошмары, раз за разом сотрясала дом мучительными воплями. И когда они раздавались, именно Капитан вставал и шел в комнату внучки, чтобы разбудить ее, ласково подергав за плечо, успокоить и утешить. Она боялась темноты и на самом-то деле хотела, чтобы кто-нибудь спал рядом с ней в ее комнате, однако Невил принадлежал к другому полу, и Нэйл с Цинтией решительно воспротивились предложению Капитана поселить детей вместе.

Капитан всего один раз встал между родителем и ребенком, и воспоминание об этом все еще наполняло его страхом. Играя с Нэн, Невил ненароком ушиб ее, и Нэйл, выскочив в гневе из своей комнаты, начал избивать мальчика, выкрикивая ругательства и не замечая в припадке

злобы ни направления, ни силы своих ударов. Капитан сдерживался сколько мог, но затем схватил Нэйла за плечи, чтобы остановить. Нэйл круто развернулся, лицо его искажала животная ненависть, и на миг Капитан испугался за собственную жизнь.

— Ты искалечишь мальчика! — слабо воскликнул он.

Нэйл его словно и не услышал. В любую секунду могло произойти нечто ужасное, однако мальчик, по счастью, спас положение, лишившись сознания в руках отца.

Когда приехал доктор Беренсен, ему сказали, что Невил свалился с лестницы в подвал. Доктор пробыл у мальчика долгое время и вернулся, сердито хмурясь. Следовавший за ним Нэйл застрял в проеме двери, робко переминаясь с ноги на ногу, однако доктор Беренсен, не обращая на это внимания, отрывисто спросил у Капитана:

— Что тут произошло, Эндрю?

— Он поправится?

— Этого я не знаю. Увечья, если ты их имеешь в виду, несерьезные. Так что с ним случилось, Эндрю?

— Он упал с лестницы.

— Хотел бы я посмотреть на эту лестницу. И

почему ты вызвал меня, Энди? Я уже семь лет как не практикую.

— Цинтия попросила. Ты единственный врач, какого она знает.

— Ну так скажи ей, пусть познакомится с другим, — резко произнес доктор Беренсен. — Я в таких случаях, как этот, не разбираюсь.

Он сердито расхаживал по комнате, но вдруг остановился и спросил тоном, уже более мирным:

— Ты-то как, Эндрю? Желудок не беспокоит?

И все же, перед тем как покинуть дом, повторил еще раз:

— Я говорил серьезно, Эндрю. Если снова случится нечто подобное, ко мне не обращайся.

Именно доктор Беренсен помог Цинтии появиться на свет, и именно доктору Беренсену пришлось беспомощно наблюдать, как кровотечение, открывшееся после неудачной попытки кесарева сечения, безжалостно уничтожает первое и главное сокровище, каким обладал в своей жизни Капитан. Он так больше и не женился. Собственно, Цинтия и не допустила бы этого. Почти с самого начала в ней обнаружился ревнивый инстинкт собственницы: она стерегла Капитана с жадной хозяйской дотошностью, удерживая

рядом с собой и заставляя отчитываться в каждом мгновении, которое он проводил вне дома. У Капитана имелись небольшие средства, он мог, да и предпочел бы, поселиться где-то еще, однако в его положении оставалось лишь смиряться — ссориться с дочерью он не хотел.

Вкус настоящего одиночества он узнал, когда Цинтия уехала учиться в колледж. Прежде они были близки друг другу, однако в один прекрасный день дочь вернулась к нему совершенно чужой, нервной при разговоре и исполненной несгибаемой решимости распорядиться своей жизнью самостоятельно. К тому времени она уже познакомилась с Нэйлом и вскоре поделилась с отцом планами раннего замужества.

— Мы предпочли бы скромную свадьбу, но Нэйл — единственный сын, и миссис Стивенс всегда хотелось устроить для него что-то особенное. Она говорит, что возьмет расходы на себя, лишь бы ты позволил ей все сделать самой.

— Будь добра, скажи ей, — ответил Капитан, — что для меня не важно, кому придется платить. Однако я считаю, что тебе и Нэйлу следует самим решить, какая у вас будет свадьба.

В итоге заправляла всем миссис Стивенс. Свадьба получилась поистине впечатляющей, вы-

звавшей у каждого гостя благоговейный трепет, а счета за нее по прошествии должного времени легли на стол Капитана.

Ну так вот, будущее Капитана, по сути дела, определилось через неделю после отплытия сестры.

В один прекрасный день его вызвали в город, дабы он в качестве душеприказчика скончавшегося друга председательствовал на встрече перессорившихся наследников покойного, а покончив с этим, Капитан обнаружил, что впереди у него чуть ли не целый день, весенний и прекрасный. Полистав газету, Капитан узнал, что как раз в этот полдень отплывает, чтобы навестить далекие корабельные пристанища Ков, Гавр, Саутгемптон, океанский лайнер «Вашингтон». Миг нерешительности, и вот он уже едет в такси. Почти чудом он оказался на борту корабля, не обремененный на этот раз никакими обязательствами, кроме одного — продолжить начатое им странствие. Неописуемая легкость и радость снизошли на Капитана, он неторопливо прогуливался по палубам и коридорам судна, притворяясь перед самим собой, что и вправду отправляется в плавание. Вернувшись на пирс, он никому на сей раз рукой не махал, однако это

переживание оказалось даже еще более прекрасным, чем первое, еще сильнее взбудоражившим его воображение.

И наконец, совпадение, пусть и весьма незначительное, окончательно решило его участь.

Несколько дней спустя он вылез из постели, чтобы принять прописанный ему доктором Беренсеном порошок от желудочных колик, а затем, в то же самое утро, узнал из газет, что «Вашингтон» задержан на рейде Саутгемптона сильным штормом.

Да, первая половина этого рейса была тяжелой, очень тяжелой, раз даже на Капитана напала морская болезнь, зато возвращение «Вашингтона» искупило все трудности, с которыми он столкнулся: тихие воды, ласковые ветры, живительное обилие свежего воздуха и солнечного света.

Капитан коротал это время, сидя в шезлонге на своей веранде, безмятежно улыбаясь фарфоровому небу или играя в шаффлборд с очень молодой леди, знакомство с которой он свел на второй проведенный в океане день. Австрийка, обращенная аншлюсом в сироту, она направлялась в Атланту — город, который, как она пылко надеялась, не будет слишком уж не похожим на Вену. По-английски она говорила с очаровательным

акцентом и постоянно дивилась неспособности Капитана запомнить, что на палубу полагается выходить в шейном платке.

Проведя два дня дома, Капитан уплыл снова — теперь уже на «Новом Амстердаме». И не пожалел об этом.

Нэйл ознаменовал увольнение Капитана на берег очередным покушением на его ценные бумаги. На сей раз поводом стал выпуск новой партии акций нефтяной компании, которым вскоре предстояло поступить в продажу. Деньги для их покупки требовались, вообще-то говоря, небольшие, однако Нэйла, сотрудника инвестиционной фирмы, неизменно раздражало поведение брокера, который распоряжался состоянием Капитана, а сопротивление зятю требовало виртуозной тактичности. В конце концов Нэйл сдался. И в него почти сразу же вцепились дети.

— Что такое «нефть»? — пожелала узнать Нэн.

— Петролеум.

— А «петролеум» что такое?

Нэйл раздраженно повернулся к сидевшей за столом жене. Цинтия состояла в женской организации, собиравшей деньги в помощь частному санаторию для детей, и занималась сейчас предварительной оценкой пожертвований, которые

удастся собрать на весеннем званом завтраке, где ей впервые предстояло сидеть рядом с руководством организации, на возвышении.

— Черт побери, Цин! Неужели нельзя избавить меня от них в мой единственный выходной?

Цинтия подняла на мужа ледяной взгляд.

— Не кричи на меня при детях. Сколько раз говорила.

Капитан, почувствовав приближение шторма, быстро увел детей в кабинет Нэйла. Они все еще жаждали объяснений. И Капитан, вспомнив услышанный когда-то от доктора Беренсена рассказ о детстве Роберта Браунинга, снял со стола книгу и положил на ковер.

— Вот это, — не без опаски начал он, — нефть. Вещь очень ценная, и добывать ее чрезвычайно трудно. Так вот, первым делом мы должны извлечь ее из земли. Вы моложе меня — значит, скважину придется бурить вам, а я буду сидеть и руководить.

Мгновение спустя все трое перенеслись на равнины Техаса и радостно принялись за разработку месторождения, которому предстояло в самом скором времени принести им большие доходы. Успехи они делали поразительные и уже добрались до нефтеперерабатывающего завода

— Невил даже успел сделать Нэн строгий выговор за курение в цеху, — когда появился Нэйл, на лице которого застыло выражение отроческой нерешительности, означавшее обычно, что ему стыдно за себя.

— Что здесь происходит?

— Иди сюда, пап! — воскликнул Невил. — Мы нефть добываем.

У Нэйла немного отлегло от сердца.

— А почему книга на полу лежит?

— Это не книга. Это *нефть* и есть.

— Нефть выглядит иначе, — сказал Нэйл. — А это всего-навсего книга.

Дети поскучнели и уставились на Капитана с явным осуждением.

— Дедушка сказал, что это нефть.

До Нэйла начало доходить, и он заговорил жизнерадостным, громким голосом, отзывавшимся в тихом кабинете странным эхом:

— Ну да, это, конечно, не нефть, но мы можем притвориться, что это она. Ладно! Давайте добудем ее из земли!

Однако разочарованная Нэн уже обиженно топала к двери. Невил последовал за ней, и в кабинете наступило неловкое молчание.

— Я… похоже, я испортил им игру.

— Не страшно.

— Мне… надеюсь, вы понимаете, что я не хотел грубить ни детишкам, ни Цинтии. Просто… просто бывает, что они достают меня, особенно когда я в плохом настроении.

Капитан промолчал.

На следующий вечер к обеду был приглашен Ральф Патерсон. Сразу после полудня Нэйл завел Капитана в свой кабинет побеседовать.

— Человек он, по-моему, не слишком приятный, — нервно начал Нэйл. — У него довольно необычные взгляды на Гитлера, а делится он ими, не думая о том, с кем говорит. Но вообще-то, когда узнаешь его поближе, понимаешь, что у него есть свои достоинства, к тому же он очень важный клиент, и нам приходится обходиться с ним поласковее.

Намек Капитан понял, тем более что услышал его не в первый раз. И ответил, прилагая усилия к тому, чтобы голос его оставался спокойным и ровным:

— Честно говоря, Нэйл, я не собирался сегодня обедать с вами. Я немного устал и думал перекусить чем-нибудь легким и лечь пораньше.

— Ой, но это вовсе не значит, что я против вашего присутствия за столом, — поспешил объ-

яснить Нэйл. — Просто… просто я знаю, как вы переживаете из-за того, что там происходит. А он человек вспыльчивый, и спорить с ним… э-э… довольно опасно.

В общем, возможность отплыть на «Новом Амстердаме» Капитана обрадовала. Судно понравилось ему с первого взгляда, он сразу почувствовал себя здесь как дома. Когда пришло время спуститься на пирс, Капитану стало грустно, и все же, как только начали подниматься трапы, и празднично заревели гудки, и с палуб «Нового Амстердама» дождем посыпались ленты серпантина — в общем, как только началось второе его плавание, он испытал немалое удовлетворение.

Посвятив себя новой карьере, Капитан принялся за работу с энергией и рвением, которые могли бы обессилить и человека менее рьяного. Плавание следовало за плаванием, и вскоре он стал проводить в море почти все свое время.

Поначалу Нэйл и Цинтия не принимали это всерьез. Весьма типичным для их отношения к Капитану был вечер, когда к ним пришли в гости Остины, их друзья, только-только вернувшиеся из поездки по Европе. Остины Капитану нравились, в особенности Руфь, называвшая его «Энди» и шумно подтрунивавшая над его молоденькой

любовницей. Капитана ее шуточки только радовали, а вот Цинтию злили — она обиженно поджимала губы и с чопорным упорством старалась сменить тему разговора. Как-то раз она даже выбежала из гостиной, а после устроила Капитану жестокий разнос за то, что потакал Руфи. Нэйл, встав на его защиту, начал сердито выговаривать Цинтии. Кончилось тем, что Капитану пришлось успокаивать их обоих. Так вот, в тот вечер Капитан слушал рассказы Остинов об их путешествии не без некоторой снисходительности.

— А, Ков, — в какой-то момент вставил он. — Прекрасный порт.

— Вы там были?

— О да. Не один раз.

— Должно быть, давным-давно.

— Да нет, не так уж и давно, — улыбнулся Капитан. — Собственно говоря, совсем недавно.

— Странно. Наш корабль в этот порт не заходил. Я думала, круизные лайнеры вообще в Ирландии не пристают.

— Тут все дело в приливах, — заявил Капитан, когда ему удалось справиться с неожиданным приступом кашля. — Как вам известно, Ков — гавань маленькая и окружена очень опасными мелями. Большое судно может войти в нее только

в строго определенный момент прилива. Жаль, что вам пришлось пройти мимо.

Как только Остины ушли, Нэйл и Цинтия просто покатились со смеху.

— Ах вы, старый мошенник! — одобрительно воскликнул Нэйл.

— Ну, — усмехнулся Капитан, — я ведь и вправду там побывал.

— Это когда же? — удивилась Цинтия. — Когда ты там побывал?

— О, очень давно, моя дорогая. Одно время я много путешествовал.

Их это объяснение устроило, а Капитан в который раз с гордостью подумал о том, каким обширным опытом судовождения обладает. Однако тут же одернул себя: что ни говори, а известие о том, что Ков находится в Ирландии, его удивило. Он-то полагал, что это порт нидерландский — бельгийский, голландский, не то норвежский, — и на следующий день виновато отправился в городскую библиотеку. Библиотека произвела на него приятное впечатление, и он стал часто заглядывать туда, чтобы почитать о местах, в которых бывает. Он сидел у окна и временами надолго отвлекался от чтения, наблюдая за бездельниками, которые обменивались

шуточками на другой стороне улицы или просто отдыхали на освещенных солнцем скамейках, с приятностью покуривая или ведя негромкие разговоры, — за людьми его возраста, с которыми ему было уже слишком поздно сводить знакомство.

Сказать, что он многое узнавал из читаемых книг, нельзя, поскольку Капитан изменял согласно собственному вкусу едва ли не каждый прочитанный факт. Италия стала для него страной праздников и мандолин, где единственным средством передвижения были гондолы. Испания лишилась угольных шахт, вся поросла цитрусовыми рощами, а женщины ее оказались настолько же плодовитыми, насколько плодородной была испанская земля, — темноволосые, темноглазые, все до одной красивые, трепещущие от страсти и падкие до здорового, неискоренимо языческого блуда.

Странствия Капитана все продолжались, теперь он ставил выше всех прочих судов «Королеву Елизавету» — не за одни присущие этому лайнеру достоинства, но и по причине порождаемых его названием исторических ассоциаций. Определения елизаветинцев как «расы гигантов, уничтоженной Потопом» Капитан ни разу не

слышал, однако согласился бы с ним всецело, а имена Шекспира, Чосера, Мильтона, Релея, Байрона, Дрейка и Ньютона звучали для него как хвалебные песни.

Конечно, война все изменила. Услышав зов долга, Капитан сразу понял, что должен делать, и сделал это без колебаний. Он записался в торговый флот и начал, вопреки советам его брокера, продавать свои ценные бумаги и покупать военные облигации.

То были тяжелые для Капитана годы — годы, в которые плавание до Мурманска занимало больше времени, чем полет на Марс. Судно его торпедировали снова и снова, всего насчиталось восемнадцать кораблекрушений, а однажды, после того как его спасательный плот целых три дня проносило по волнам во время шторма, когда не было видно ни зги, Капитан слег с острым несварением желудка.

— Жареные устрицы, — недовольно бурчал доктор Беренсен, пребывавший в настроении кислом и ворчливом. — Когда ты наконец повзрослеешь?

— Слишком много воды, — объяснил Капитан.

— Это ты о чем?

Капитан подавил улыбку, настроение у него

было теперь, когда самые серьезные его страхи рассеялись, превосходное. Поглаживая розовым мизинцем белые усы, он лежал, накрытый одеялом, в постели и выглядел в темно-синей пижамной паре франтовато и нарядно.

— Слишком много воды, — повторил он. — В ней вся и причина.

— Вода тебе навредить не может. В отличие от того, что ты ешь. Надо быть поосторожнее, Эндрю.

— Нет, дело именно в воде, — весело настаивал Капитан. — Ледяная вода для человека моих лет не шутка.

— Ну так не пей ледяную воду, — сказал доктор Беренсен. — И не ешь жареного. А сейчас поспи. Я приду завтра.

— Ты не понимаешь, — продолжал этот опасный разговор Капитан. — Меня торпедировали.

— Нас всех торпедировали, — устало сказал доктор Беренсен. Он закрыл саквояж, с которым навещал больных, встал. — До свидания, Эндрю. И прошу тебя, будь поосторожнее.

Прошло десять дней, прежде чем доктор Беренсен, неодобрительно ворча, разрешил ему вернуться на службу, однако тот же доктор проникся большей, чем кто бы то ни было, гордостью,

когда Капитана удостоили медали «За выдающиеся заслуги»[14] (СБЗ), а фотография его — мало, как признавали все, похожая — украсила первую полосу каждой выходившей в стране газеты.

Вскоре после окончания войны с Капитаном произошло нечто чудесное. Он познакомился с мистером Симпсоном. Когда наступил мир, Капитан решил, что больше плавать не будет, но затем снова стал выходить в море, еще и чаще прежнего. Как-то раз, когда он вглядывался в город, стараясь проложить по нему возвратный курс, кто-то произнес совсем рядом с ним:

— Вы, как я вижу, старый моряк.

Обернувшись на голос, Капитан увидел молодого человека одних примерно лет с Нэйлом, в синей, с галунами, форме, улыбавшегося дружелюбно, без назойливого любопытства, что утихомирило вспыхнувшую было в душе Капитана тревогу.

— Верно, — со всевозможной скромностью согласился он. — А как вы это узнали?

Мистер Симпсон лишь улыбнулся. Они молчали, глядя на резкие очертания зеленых крытых пирсов, на неровные выступы земли между ними,

---

[14] Примечания: 14

Высшая небоевая военная награда США, которой с 1942 г. удостаивались и моряки торгового флота.

на черные столбы дыма, лениво поднимавшегося над трубами вспарывавших воду буксиров, на тающий вдали простор горизонта. Светило теплое солнце, на воде посверкивали фарватеры ярких искр. Только появление стюарда и вывело Капитана из оцепенения.

— Мне пора, — сказал он. — Нужно… посмотреть, как там мой багаж.

— Возможно, мы еще увидимся во время плавания.

— Да, — согласился Капитан. — Да, конечно.

Украдкой сошел он на берег, ошеломленный этой поистине поразительной встречей, а вечером, дома, не смог воспротивиться искушению рассказать о случайном возобновлении знакомства с его добрым приятелем, мистером Симпсоном.

— С кем? — переспросила Цинтия.

— С мистером Симпсоном. Ты же помнишь, я рассказывал о нем. Это офицер, которого я повстречал во время одного из моих плаваний.

— Ах да, — пробормотал Нэйл. — Во время одного из ваших плаваний.

Капитан замолчал, обидевшись, поскольку собирался рассказать им о множестве своих приключений. Впрочем, настоящее удовольствие

рассказ его мог доставить только человеку одного с мистером Симпсоном рода занятий. Он с нетерпением ожидал следующей встречи. В то утро Цинтия попросила Капитана немного продлить его увольнение на берег.

— Ты же не собираешься снова отправиться в город? Прошу тебя, папа, ведь ты знаешь, как утомляют тебя эти поездки.

— Боюсь, поехать придется, — солгал он. — Там какие-то новые осложнения с моими ценными бумагами.

Он нашел мистера Симпсона на том же месте, и молодой человек не стал скрывать изумления, которое охватило его, когда он увидел Капитана.

— Здравствуйте! Снова в море?

Капитан кивнул и замер, сердце его сильно забилось.

Легкое, подрагивавшее предвестие улыбки, страстной надежды, отразилось на лице Капитана. Лоб его горел, сердце колотилось все сильнее, словно произнося страстную молитву. Он прихватил из дома зонт, и теперь Капитана смущала немощность, с которой ладонь его сжимала ручку этой ненужной вещи. Какое-то время мистер Симпсон пристально вглядывался в Капитана. В конце концов он, похоже, все понял и лицо его

расплылось в мягкой улыбке.

— Очень рад, что вы решились на это, — негромко сказал он. — Я уж боялся, что нам придется отплыть без вас.

Капитан благодарно выпустил застрявший в груди воздух.

— Простите, что так и не смог повидаться с вами во время последнего плавания, — продолжал мистер Симпсон. — Я почти не выходил из машинного отделения. Чудесный был рейс, верно?

— Да, чудесный, — согласился Капитан. И, усмехнувшись, сообщил, словно по секрету: — Лучший из всех, какие я помню.

Мистер Симпсон признательно рассмеялся, и начиная с этого дня Капитан выходил в море только на одном судне. Он принимал участие не в каждом рейсе — временами погода оказывалась слишком неприветливой, а временами его удерживали дома давние обязательства перед доктором Беренсеном, — но при всякой возможности отправлялся в плавание как первый помощник мистера Симпсона. Их уже связала крепкая дружба. Капитан нередко подумывал, не пригласить ли мистера Симпсона в свой дом, но не делал этого, зная, что Нэйл его недолюбливает.

«Что в нем такого уж замечательного? — как-то спросил Нэйл. — Нет, если вам это доставляет удовольствие, рассказывайте о нем сколько влезет, но помните, что он всего лишь моряк — моряк, и ничего больше».

Мистер же Симпсон, с другой стороны, всегда готов был слушать рассказы Капитана о Нэйле, да и о чем угодно другом. Он выслушивал их с улыбкой, неизменно чуть грустной, — собственно говоря, меланхолическое мерцание ни на миг не покидало его карих глаз.

Однажды мистер Симпсон совершенно неожиданно пригласил Капитана в свою каюту, и это взволновало Капитана настолько, что шел он туда на дрожащих ногах. В стенных нишах небольшого квадратного помещения стояли маленькие книжные шкафы с плотно заставленными полками. Руководств по кораблевождению и инженерному делу на них было гораздо меньше, чем сборников пьес и стихов, трудов по философии, истории и психологии. Капитан увидел собрание проповедей, написанных человеком по фамилии Донн, и несколько томов с такими загадочными названиями, как «Значение значения» и «Аллегория любви». Поднятые заглушки двух открытых иллюминаторов удерживались

крепкими металлическими крюками, отчего каюту по диагонали пересекали два столба света. Мистер Симпсон, наклонившись к матросскому сундучку, достал из него два стакана и бутылку доброго бренди.

— Эти книги, — с нарочитой наивностью поинтересовался Капитан, — неужели все они необходимы в вашей работе?

Мистер Симпсон улыбнулся, покачал головой.

— Бóльшая их часть осталась от прежних времен. Когда началась война, я учился в университете.

— И не вернулись туда?

— Это показалось мне таким ненужным, — ответил мистер Симпсон. — Таким старомодным. Ну и шум двигателей, наполнявший мою библиотеку, отвлекал бы от занятий.

Капитан сочувственно покивал.

— Да и бессмысленно строить какие-то планы, — продолжал с неожиданной горечью мистер Симпсон. — Все мы в руках чего-то, что сильнее нас. Что-то тащит нас по жизни, заставляя ковылять в ногу со всеми, а нам остается только бедрами слегка покачивать на ходу. Я прихожу в ярость, когда вижу, как мое время расходуется впустую. И нет ничего, на что я не решился бы. Я

готов на все, буквально на все, лишь бы доказать, что обладаю собственной волей.

Мистер Симпсон, похоже, распалился всерьез, а Капитан сидел, глядя на него с удивлением и трепетом. Из этих настроений собеседников вырвали три оглушительных гудка, которые испустила находившаяся прямо над их головами судовая труба. Мистер Симпсон взглянул на часы и встал, издав резкий, странный смешок.

— Боже мой! Час уже поздний. Надо спешить.

Капитан, встревоженный этим сигналом бедствия, торопливо последовал за ним. К трапу они поспели всего за минуту до его подъема, однако испытанное Капитаном облегчение было недолгим и растаяло, когда он, спустившись, задыхаясь, на пирс, с тоской представил себе, какие немыслимые трудности выпали бы на его долю, если бы он замешкался еще на несколько минут.

Следующая его встреча с мистером Симпсоном состоялась лишь после выздоровления Цинтии.

Как-то после полудня Цинтия вернулась домой вместе с Нэйлом, она еле шла, припадая к мужу, лицо ее было осунувшимся, бескровным, в сухих глазах горел тусклый, угасавший огонь. Она негромко постанывала.

— Потеряла сознание в моем офисе, — объяс-

нил Нэйл Капитану, отведя ее в спальню и снова спустившись вниз.

— Надо вызвать доктора.

— Я вызвал одного, прямо в офис. Он говорит, ничего страшного, обычное нервное истощение.

Нэйл произнес это без малейшей уверенности в правдивости своих слов, а его попытка улыбнуться выглядела попросту нелепо.

В доме никого, кроме них и Цинтии, не было. Невил к тому времени уже учился в военной школе, а Нэн как раз этим утром без большой охоты отправилась в Коннектикут, чтобы провести уик-энд с родителями отца. Нэйл то и дело поднимался наверх и, возвращаясь, каждый раз сообщал, что Цинтия спит. Странная, неземная тишина заполнила дом. Во время обеда ее нарушало позвякиванье посуды, шелест кухаркиного платья, но когда кухарка ушла, безмолвие стало еще более тягостным, а квартира — пустой и чужой, с жутковатой чередой бесчисленных, темных, угрюмо молчащих комнат.

Вскоре Нэйл снова поднялся наверх и спустился, спотыкаясь, страшно взволнованный.

— Ей очень плохо! Просит позвать доктора Беренсена!

— Ну и позвони ему.

— Я… лучше вы. Так он придет быстрее.

Доктор Беренсен провел у Цинтии долгое время. Капитан ждал и ждал его, мрачнея все пуще. Нэйл беспокойно слонялся по комнатам, молча страдая от приступов страшного, бессмысленного отчаяния. Наконец доктор спустился вниз, шагая с суровой профессиональной решительностью.

— Как она, Генри? Что с ней?

Доктор Беренсен молча миновал его, направился к телефону. Капитан ушам своим не поверил, услышав, как он требует немедленно прислать сиделку.

— Что с ней, Генри? Она очень больна?

— Я должен вернуться к ней, — отрывисто сообщил доктор Беренсен.

На миг Капитан ошеломленно замер. Но затем бросился к нему, схватил за руку:

— Что это значит, Генри? Черт! Скажи мне, что с ней!

Отчаяние, с которым Капитан вцепился в него, смягчило доктора.

— Она очень больна, Эндрю. Возможно, придется отправить ее в больницу.

— В больницу? — испуганным эхом повторил Капитан. — Но что с ней?

— Заражение, и очень серьезное, — ответил

доктор Беренсен. — Что-то вроде сепсиса.

Пришибленный этим известием, Капитан отвернулся от него и поплелся в дальний конец гостиной. Секунду спустя из темноты выплыл и резко затормозил в двери Нэйл. Пальцы его крупных ладоней мелко дрожали.

— Он сказал вам?

Капитан кивнул.

Нэйл шагнул вперед.

— Я хочу, чтобы вы знали, — произнес он, — тут нет моей вины. Я был согласен на все.

Капитан смотрел на него тусклыми, непонимающими глазами.

— Я знаю, вы мне не верите, — жалким голосом продолжал Нэйл. — Да, наверное, оно и не важно. Но идея принадлежала Цинтии. Она сама этого хотела.

Он вдруг умолк, потом спросил:

— Что сказал вам доктор Беренсен?

Капитан отвернулся от него, мрачно уставился на красный ковер.

— Сказал, что Цинтия очень больна, — монотонно сообщил он, — что, возможно, ее придется положить в больницу.

— О-ох, — простонал Нэйл, а затем почти неслышно пробормотал что-то и снова беззвучно

уплыл в темноту.

Была почти уж полночь, когда доктор Беренсен, собравшийся наконец уйти, сказал Капитану, что его хочет видеть Цинтия.

— Генри!

— Поднимись к ней, Эндрю, я сделаю все, что в моих силах.

В комнате Цинтии было тихо. Медицинская сестра, женщина примерно тех же, что Цинтия, лет, с уверенным взглядом и резкими, твердыми чертами лица, молча сидела в углу. Цинтия с отсутствующим видом смотрела в потолок. Вены ее рук отливали яркой, поблескивавшей голубизной, хрупкие пальцы лежали на одеяле неподвижно, точно павшие солдаты.

— Попроси ее уйти, — тихо произнесла она.

Сестра встала, но Капитан остановил ее.

— Тебе не стоит сейчас говорить.

— Но я хочу говорить. Ох, папочка, папочка! Я причинила тебе столько горя. Я так все запутала, так мерзко запутала!

Капитан накрыл рот дочери ладонью, ласково заставил ее опустить голову на подушку.

— Постарайся отдохнуть, милая. Никакого горя ты мне не причинила, и объяснений мне от тебя никаких не требуется. Ты поправишься, Цинтия.

Это все, что для меня важно.

Из глаз Цинтии медленно потекли слезы. Только раз в жизни видел Капитан плачущую женщину. Это была его жена, узнавшая, что вскоре ей придется лечь на операцию. Она таила в себе это знание, ничего не говоря мужу, пока не поняла, что сносить его в одиночку больше не сможет, и однажды вечером все ее мучительные страхи и страдания бурно выплеснулись наружу. Картина эта потускнела от времени, но теперь вернулась в пугающих подробностях, и Капитан различил безжалостный проблеск тех мгновений сквозь пожелтевшие, шаткие тени прошлого. Цинтия плакала долго, беззвучно, не шевелясь, лицо ее походило под утешающей ладонью Капитана на обливающийся слезами камень. В конце концов слезы течь перестали, и Цинтия улыбнулась ему с огромной, задумчивой преданностью.

— Папочка мой, — с любовной гордостью прошептала она. — Папочка…

Три дня прошли в сомнениях, в страхе перед смертью, пропитывавшем каждое их тягучее мгновение, а потом у Цинтии началась горячка. Ей хотелось, чтобы Капитан постоянно оставался рядом, она не желала и на миг отпускать его от себя. Нэйл был ей совершенно не нужен. Когда же

дело пошло на поправку, она увезла Капитана на маленькую вермонтскую ферму. Стоял май, они оказались единственными ее постояльцами, и поначалу все шло хорошо и приятно. Однако силы возвращались к Цинтии быстро, ею начинало овладевать беспокойство, и, проведя на ферме неделю, они перебрались на более оживленный и популярный курорт, находившийся под самым Нью-Йорком. Капитану это место райским садом не показалось, он подождал, пока Цинтия устроится окончательно, а потом снова наврал ей:

— Эти чертовы ценные бумаги! Мне нужно как можно скорее вернуться в город.

Цинтия его отговаривать не стала.

— Скажи Нэйлу, чтобы приехал сюда, — жалобно попросила она. — Как можно скорее. Я боюсь оставаться одна.

Шесть недель на суше — этого Капитану хватило за глаза, он был рад снова вернуться в море.

— Как провели отпуск? — небрежно осведомился мистер Симпсон, когда Капитан наконец-то поднялся на борт.

— Не очень, — признался Капитан, неторопливо подходя к поручням. — Дочь была сильно больна.

— Надеюсь, она уже поправилась?

— Да, — безрадостно признал Капитан. — Вполне.

Секунду мистер Симпсон вглядывался в его лицо, а затем отвернулся. Одинокий серый катер ревел, проворно вспарывая воду. Поднимаемая им волна лениво ударялась о сваи пирса и отступала, покрывшись грязной пеной. День стоял скучный, гнетущий; пасмурное безмолвие наполняло воздух.

— У нас есть немного времени, — вдруг сказал мистер Симпсон. — Вы не хотите осмотреть машинное отделение?

Капитан, не поверив своим ушам, круто повернулся, чтобы взглянуть на него.

Мистер Симпсон засмеялся и повел его через дверь и по винтовой лестнице за нею к выстроившимся в ряд, поблескивавшим клапанами и приборами гротескным металлическим механизмам, к нескончаемым, украшенным огромными заклепками стенам. Множество мускулистых мужчин работало здесь. Капитан отметил почтительность, сквозившую во взглядах, которыми они его провожали. Спуск продолжался, пока они с мистером Симпсоном не добрались до самого дна с его странной, лязгающей батареей редукторов и поршней и громадными, отливавшими

золотистым маслом валами. Отовсюду неслись пребывавшие в звучной гармонии металлический лязг и шипение пара. Мистер Симпсон представил Капитана еще одному офицеру, мистеру Хенслоу.

— Весьма польщен знакомством с вами, Капитан, — сказал мистер Хенслоу. — Надеюсь, наше судно вам нравится.

Капитан был слишком взволнован, чтобы ответить что-либо. Он не решался прикоснуться к чему бы то ни было, однако каждая секунда убеждала его в том, что такой неистовой радости он ни разу в жизни еще не испытывал.

То было грандиознейшее из приключений Капитана, кульминация их — более чем подобающая, ибо спустя недолгое время выяснилось, что скоро ему придется выйти в последнее плавание.

Оно состоялось всего через несколько недель после того, как в его доме неожиданно появился Ральф Патерсон, приведший с собой новую жену, миловидную молодую женщину, лет которой было почти вдвое меньше, чем ему. Приход их застал Капитана врасплох, и он решил выждать немного, а затем извиниться и уйти, однако, увидев, что на новоиспеченную миссис Патерсон

никто внимания не обращает, что она испытывает неловкость, подсел к ней, попробовал завести добродушный разговор, и бедняжка с благодарностью ответила ему. Скоро она уже с увлечением слушала его рассказы о разного рода заморских местах и городах. Все складывалось великолепно, пока они не привлекли к себе внимание Ральфа Патерсона.

— Что такое? — хриплым голосом осведомился он. — Вы что-то о Генуе говорили?

— Я рекомендовал миссис Патерсон непременно посмотреть, если она когда-нибудь отправится за границу, Голубой грот.

— Ну так она туда не отправится, — довольно грубо заявил мистер Патерсон, а затем издал отрывистый смешок. — Не успели мы пожениться, а вы уж ее услать куда-то пытаетесь. Да к тому же этот грот находится не в Генуе, а на Капри.

— Нет-нет, — благодушно возразил Капитан. — Я помню его очень ясно. На Капри тоже есть прекрасные места, однако Голубой грот находится в Генуе.

— Мало ли что вы помните. — Теперь мистер Патерсон приблизился к нему почти вплотную. — Он на Капри, помните вы или нет.

Капитан приятно улыбнулся и покачал голо-

вой:

— Право же, я так не думаю. Возможно, вы…

Он умолк, заметив вдруг, что лицо мистера Патерсона искажено воинственным негодованием, а в комнате наступила натянутая тишина. Цинтия пожирала отца разъяренным взглядом, побледневший Нэйл приоткрыл в изумлении рот. Капитан понял, что дал маху, и поспешил пойти на попятный.

— Возможно, вы правы. Да, должно быть, я ошибся.

— Я и сам, черт подери, знаю, что прав, — сердито ответил мистер Патерсон.

— Да-да, разумеется. Я… я немного сбился. Мне… мне придется покинуть вас, извините. Дела.

Капитан на слабых ногах вышел при полном молчании собравшихся из гостиной, поднялся наверх, устало присел на край кровати. Так он и сидел, когда в его комнату вошла, не постучавшись, Цинтия. Аккуратно закрыв за собой дверь, она повернулась к Капитану, и ему показалось, что лицо ее состоит из одних костей с туго натянутой кожей.

— Дурак! — гневно воскликнула она. — Бестолковый старый дурак!

— Но я был прав, Цинтия: грот действительно

находится в Генуе.

— Какая мне разница, где он находится! Мне надоело слушать дурацкое вранье о твоих путешествиях в Европу, о драгоценном мистере Симпсоне и машинном отделении. Да еще и сегодня, нашел время! С ума ты сошел, что ли?

— Это не вранье, — запротестовал Капитан.

— Вранье! Откуда тебе знать, где что находится? За всю свою жизнь ты выходил в море всего один раз, да и то на грязном старом пароходишке, который привез тебя сюда. Множество путешествий! По-твоему, это правда?

— Но грот находится в Генуе, Цинтия. Клянусь тебе.

— Ответь на мой вопрос! Ведь все это вранье, так? — Лицо ее вспыхнуло, она угрожающе шагнула к Капитану. — Так?

— Да, — прошептал Капитан, с трудом удерживаясь от рыданий. — Да, вранье.

Цинтия отступила на шаг, окинула отца хмурым, полным презрительного удовлетворения взглядом.

— Нас уже тошнит от твоих рассказов. Понимаешь? Больше ни слова о путешествиях. Ни слова.

Едва она вышла, Капитана затрясло. Дрожь охватила каждый уголок его тела, отдаваясь

страшным громом в душе. И только вспомнив, как он посещал машинное отделение, с каким почтением смотрели на него работавшие там люди и как мистер Хенслоу интересовался его мнением, Капитан начал понемногу успокаиваться.

Утром он не смог заставить себя вылезти из кровати. И не ответил на робкий, повторившийся несколько раз стук в дверь. В конце концов вошла Цинтия. Запавшие глаза ее были влажны. Капитан сидел понурившись.

— Ты хорошо себя чувствуешь, папочка? — тихим дрожащим голосом спросила она.

Капитан кивнул.

— Ты не спустился к завтраку. И я подумала, вдруг ты заболел.

Капитан покачал головой.

— Принести тебе что-нибудь? — с надеждой спросила она. — Апельсинового сока, овсянки? Если хочешь, я принесу.

Он снова покачал головой.

Цинтия жадно ждала его слов, держась за последние крохи гордости, да и их она отдала бы по малейшему знаку с его стороны. Капитан знака не подал.

— Пожалуйста, папочка, спустись вниз, — попросила она, печально поворачиваясь к двери. —

Если ты весь день проведешь наверху, я так и буду тревожиться за тебя.

— Хорошо, — сказал Капитан. — Я спущусь.

Следующие несколько дней Капитан отвергал все ее безмолвные попытки примирения, и в доме поселилось уныние. Дети готовы были простить его, он простить их готов не был. То, что они несчастны, никакого удовольствия ему не доставляло. Капитан и сам был страшно расстроен, но какая-то непреклонная решимость не позволяла ему сдаться и поддерживала его в этом лишь мысль, что скоро он вновь отправится в плавание с мистером Симпсоном. Единственное неожиданное утешение получил он от Нэн. В какой-то из этих дней внучка подошла к нему, когда он был один, и ласково поцеловала в лоб.

— Бедный дедушка, — негромко произнесла она, словно размышляя вслух. — Ты приходил ко мне, когда меня мучили страшные сны. Знаешь, они мне все еще снятся.

— Боюсь, с этим я уже ничего поделать не смогу, — сказал Капитан, благодарно погладив ее по ладони.

Следующее свое путешествие Капитан предпринял в совершенной тайне ото всех и, поднявшись на борт корабля слишком рано, мистера

Симпсона там не увидел. Он ощущал себя человеком, вышедшим из зловонной пещеры в теплый, обдуваемый ароматным ветерком день. Все казалось ему на редкость прекрасным, даже чайки, которых он всегда считал уродливыми и прожорливыми, и те светились неестественной белизной. Осмелев от душевного подъема, Капитан подошел к офицеру, с которым не был знаком, и спросил, где мистер Симпсон. Спросил, надо полагать, с чрезмерной резкостью, поскольку офицера вопрос явно удивил.

— Это действительно очень важно.

Офицер улыбнулся:

— Конечно. Прошу вас, идите за мной.

— Вы просто скажите ему, что я его жду.

— Да все в порядке, — заверил его офицер. — Пойдемте.

Он отвел Капитана в пустую каюту, спросил, как его зовут, а затем вежливо предложил подождать. Капитан уже жалел, что поддался внезапному порыву. С палубы под ним долетал гул голосов, далекий, нереальный, похожий на звуки, которые слышишь в знойный день на пляже. Капитан ждал, ощущая все большую неловкость, и внезапно на него напало легкое головокружение, и уже все стало казаться ему нереальным.

Наконец в коридоре послышались шаги. Когда дверь начала отворяться, Капитан с облегчением встал, а затем ошеломленно уставился на четверку вошедших в каюту мужчин: на двух офицеров (того, с которым он заговорил на палубе, и второго, украшенного множеством золотых галунов) и двух мужчин в пальто. Один отличался избыточной тучностью, лицо другого было злым и красным. Капитан почуял недоброе.

— Что-нибудь случилось?

— Будьте любезны, пройдите с нами, — отрывисто ответил тучный.

— Но в чем дело? И где мистер Симпсон?

— Мы вам все объясним, — сказал мужчина со злым красным лицом.

— Но где же он?

— В тюрьме.

Капитан даже покачнулся от изумления.

— В тюрьме?

— Да, в тюрьме. Арестован за контрабанду.

У Капитана перехватило дыхание. Свет в каюте померк, сама она поплыла перед глазами Капитана, и он понял, что медленно падает. Какая-то часть его разума оставалась совершенно незамутненной и с испугом дивилась тому, что никто из этих странных людей не замечает его

падения и не бросается ему на помощь. Капитану это казалось удивительным, почти комичным. Он подумал, что, наверное, засмеялся бы, когда бы не тот факт, бесспорный факт, что он того и гляди рухнет на пол.

— Вам придется ответить на несколько вопросов, — произнес долетавший до него из дальней дали голос.

— Да, конечно, — ответил Капитан, у которого начало понемногу проясняться в глазах. — Но… вы должны извинить меня. Мне нехорошо, очень нехорошо. Могу я… можно мне сесть? Спасибо. Спасибо.

И он слабым голосом пообещал:

— Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Но только вам придется проявить терпение. Мне и вправду не по себе.

На него посыпались вопросы. Капитан отвечал на них насколько мог полно и чем больше глубоко личных секретов своих он открывал, тем больший испытывал стыд. Он рассказал им все, говоря тусклым, дрожащим голосом, временами переходя на сухой шепот и раз за разом прерывая свою унылую одиссею просьбами ничего не говорить его близким. Он назвал имена людей, которые могли за него поручиться. Мужчина

со злым красным лицом записал их и покинул каюту. Капитан не пропускал ничего, движимый убеждением, что, только дав им полную картину, сможет он оправдаться. Другие уже не задавали ему вопросов, но молча и внимательно слушали.

Он еще продолжал говорить, когда вернулся мужчина со злым красным лицом. Четверо шепотом посовещались, а затем Капитану сказали, что он свободен. Теперь все были с ним очень любезны, а офицер, богато украшенный золотыми галунами, испытывал, похоже, искреннее сожаление, когда сказал Капитану:

— Вам больше не следует подниматься на борт, если только вы не провожаете кого-то из отплывающих или не отплываете сами. Мне очень жаль, но таковы правила.

Капитан быстро покивал, плохо понимая, что ему говорят. Краснолицый проводил его до улицы, предложил отвезти на вокзал.

— Спасибо. Спасибо. Но я лучше поеду домой на такси.

Краснолицый остановил такси, открыл перед Капитаном дверцу, помог ему забраться в машину.

— Удачи, Капитан, — сказал он и медленно закрыл дверцу.

Дорога до дома заняла больше часа. У Капитана было время, чтобы подумать, и в этом-то такси он и принял окончательное решение и начал обдумывать свое последнее плавание.

Обычно он просыпался раньше всех домашних и, как правило, каждый день выходил на веранду, чтобы забрать и занести в дом почту. В тот вечер он помирился с Цинтией и Нэйлом. Чтобы не возбудить и малейших подозрений, он прождал ровно неделю, а затем, утром, сделал официальное заявление.

— Я получил письмо, — твердым голосом сообщил он, когда вся семья собралась за завтраком. — Из Шотландии, от сестры. Она заболела.

С любовью, папа [15]

Второй лейтенант Эдвард Дж. Нетли III был по-настоящему хорошим молодым человеком. Худощавым, застенчивым, довольно красивым, с тонкими каштановыми волосами, изящными скулами, большими внимательными глазами и острой болью в пояснице, которая напала на

---

[15] Примечания: 15

«Плейбой», № 16, декабрь 1969, с. 181–182, 348; перепечатано в «Поправка-22. Анализ», ред. Фредерик Кайли и Уолтер Мак-Доналд (Нью-Йорк: «Кроуэлл», 1973).

него, когда он как-то утром проснулся — один, на кушетке, стоявшей в отдельном кабинете римского публичного дома, — и принялся гадать, кто он, где он и как, Господи-Боже, сюда попал. Вспомнить, кто он, ему удалось без большого труда. Он был вторым лейтенантом Эдвардом Дж. Нетли III, пилотом бомбардировщика, выполнявшего боевые задания в Италии во время Второй мировой войны, и в январе ему должно было исполниться двадцать лет — при условии, что он сумеет дожить до января.

Нетли и прежде был хорошим юношей из филадельфийской семьи, которая была еще и лучше. Он всегда оставался приятным, участливым, надежным, верным, услужливым, дружелюбным, учтивым, послушным, веселым, не очень удачливым, но неизменно храбрым, чистым и обходительным. В нем отсутствовали зависть, злоба, гневливость, ненависть и обидчивость, что весьма озадачивало его доброго друга Йоссариана, хорошо понимавшего, до чего же он, Нетли, на самом-то деле чудаковат и наивен, как сильно нуждается в его, Йоссариана, защите от порочности нашего мира.

Что же, Нетли и вправду выпало счастливое детство — мало того, он безо всякого стыда при-

знавался в этом! Нетли любил всех своих братьев и сестер, любил их всегда и ничего не имел против каникулярных и отпускных поездок домой. Он хорошо ладил со своими дядями и тетями, со всеми родными, двоюродными и троюродными братьями и сестрами, которых у него насчитывались десятки, со всеми друзьями семьи и почти с каждым, кого он когда-либо встречал, за вычетом, быть может, немыслимо и бесстыдно развратного старика, с которым Нетли и Йоссариан сталкивались при каждом посещении публичного дома и который, судя по всему, провел там всю жизнь в уюте и довольстве. Нетли был хорошо воспитан, хорошо ухожен, обладал хорошими манерами и хорошим достатком. На самом деле он был безмерно богат, однако никто в его стоявшей на острове Пьяноса эскадрилье не винил Нетли ни за благодушие, ни за происхождение из обеспеченной семьи.

Все детство, отрочество и юность Нетли папа и мама учили его избегать и презирать проныр, выскочек, нуворишей и парвеню, однако попрактиковаться в этом ему так и не удалось, потому что ни одного проныру, выскочку, нувориша и парвеню ни к одному из домов его семьи, находившихся в Филадельфии, на Пятой авеню, в

Палм-Бич, Бар-Харборе, Саутгемптоне, Мейфэре и Бельгравии, пятом административном округе Парижа, на севере Франции, на юге Франции и на каждом из достойных внимания греческих островов, никто и близко не подпускал. Насколько знал Нетли, списки гостей во всех названных домах неизменно состояли исключительно из дам, господ и детей, отличавшихся безукоризненностью нарядов и манер, огромным достоинством и не меньшим апломбом. В этих списках неизменно присутствовало множество банкиров, брокеров, судей, послов и бывших послов, немало спортсменов, служащих того или иного кабинета министров, охотников за приданым и живущих на дивиденды вдов, разведенок, сирот и старых дев. Лидеров рабочего движения среди них не наблюдалось, как и самих рабочих людей, пробившихся из низов, — тоже. Был, правда, один неженатый социальный работник, который забавы ради подвизался в самой гуще бедноты, и было несколько отставных генералов и адмиралов, посвятивших остатки своей жизни сохранению американской конституции посредством ее уничтожения и распространению «американского образа жизни» посредством сведения такового к нулю.

Единственным во всей этой компании тяжко трудившимся человеком была мать Нетли, но поскольку ни над чем конструктивным она тяжко не трудилась, ей удавалось сохранять хорошую репутацию. Мать Нетли самоотверженно трудилась, открывая и закрывая дома их семьи в Филадельфии, на Пятой авеню, в Палм-Бич, Бар-Харборе, Саутгемптоне, Мейфэре и Бельгравии, пятом административном округе Парижа, на севере Франции, на юге Франции и на каждом из достойных внимания греческих островов, а также охраняя семейные традиции, суровым стражем коих она сама же себя и назначила.

— Никогда не забывай, кто ты. — Мать Нетли начала вбивать в голову Нетли возвышенные представления о семействе Нетли задолго до того, как у Нетли появилось хоть какое-то понятие о Нетли. — Ты не Гуггенхайм, корпевший ради куска хлеба в медных копях, не Вандербильт, основу состояния которого заложил простой шкипер буксира, не Армор, предки которого сбывали во время войны штатов гнилое мясо доблестной Армии Союза, не Гарриман, нажививший состояние возней с поездами. Наша семья, — всегда с гордостью провозглашала она, — ничего ради наших денег не сделала.

— Твоя матушка хочет сказать, мой мальчик, — встревал его отец, образец добродушного, вычурного остроумия, которое все Нетли находили весьма оригинальным, — что люди, нажившие новые состояния, и на мизинец не так хороши, как семьи, потерявшие старые. Ха-ха-ха! Недурно сказано, а, дорогая?

— Мне хотелось бы, чтобы, когда я разговариваю с мальчиком, ты не лез не в свое дело, — резко отвечала мать Нетли отцу Нетли.

— Да, дорогая.

Мать Нетли, высокомерная, строгих правил женщина, происходила из старинного рода новоанглийских Торнтонов. Семейное древо Торнтонов, часто указывала она, прослеживалось до «Мейфлауэра», то есть почти до Адама. Правда, в исторических хрониках значилось, что Торнтоны происходят по прямой линии от супружеского союза Джона Олдена[16], проныры, и Присциллы Маллинс[17], выскочки. Генеалогия Нетли была не менее внушительной, поскольку

---

[16] Примечания: 16

Джон Олден (1599–1687) — первый из сошедших на землю Америки пассажиров «Мейфлауэра».

[17] Примечания: 17

Присцилла Маллинс (1602–1680?) — также пассажирка «Мейфлауэра», жена Джона Олдена, родившая ему десятерых детей.

один из их пращуров сомнительным образом отличился в битве при Босуорте — на проигравшей ее стороне.

— Мама, что такое «регано»? — как-то раз невинно осведомился Нетли, приехавший на каникулы из Андовера[18] и, прежде чем явиться по месту домашней службы, совершивший противозаконную прогулку по итальянским кварталам Филадельфии. — Что-то вроде Нетли?

— Орегано, — с матриархальным неодобрением ответила его мать, — это отвратительный порок, которому предаются в Италии нетитулованные иностранцы. Даже не упоминай о нем никогда.

Едва мать Нетли удалилась, как отец Нетли снисходительно усмехнулся.

— Не принимай слишком буквально все, что говорит твоя матушка, сынок, — посоветовал он подмигивая. — Твоя матушка замечательная, как тебе, вероятно, известно, женщина, однако, когда речь заходит о чем-то вроде орегано, она, как правило, мелет дикую чушь. Знай, мне и самому доводилось пробовать орегано множество раз, если ты понимаешь, о чем я, — надеюсь, и ты, прежде чем жениться и зажить своим домом,

---

[18] Примечания: 18

Академия Филлиса, привилегированная школа в г. Андовер, штат Массачусетс.

тоже полакомишься им. Важно лишь помнить, что никогда не следует вкушать орегано с женщиной, которая стоит в обществе на одном с тобой уровне. Делай это, если получится, с продавщицами и официантками или с любой из наших горничных, за вычетом, разумеется, Лили, которой, как ты мог заметить, я в некотором роде покровительствую. Я рекомендую тебе женщин низкого звания не из снобизма, а просто потому, что они делают это гораздо лучше, чем дочери и жены наших знакомых. Особенно высокой квалификацией обладают в данном отношении медицинские сестры и школьные учительницы. И разумеется, ни слова об этом твоей матушке.

Отец Нетли обладал способностью давать жизнерадостные советы подобного рода в каких угодно количествах. Он был щеголеватым приветливым мужчиной, весьма изысканным и опытным, и все питали к нему уважение, кроме матери Нетли. Нетли гордился утонченностью и мудростью отца, а красноречивые, блестящие письма, которые тот присылал ему в школу, лелеял как награду за безрадостные, мучительные разлуки с родителями. Отец же Нетли, со своей стороны, с церемонным энтузиазмом приветствовал эти разлуки, поскольку они давали ему

возможность составлять грациозные, эстетичные, метафизические послания, от которых он получал эпикурейское удовлетворение.

Дорогой сын! (Писал он учившемуся в Андовере Нетли.)

Не будь первым из тех, на ком испытывают новое, и последним из тех, кто отказывается от старого. Если наша семья когда-либо надумает обзавестись чеканным девизом, я желал бы, чтобы он состоял именно из этих слов, и не просто потому, что сочинил их сам. (Ха-ха-ха!) Я избрал бы их за мудрость, которая в них содержится. Они указывают на необходимость сдержанности, а сдержанность есть квинтэссенция достоинства и хорошего вкуса. Тебе же, как Нетли, надлежит заботиться о том, чтобы достоинство и хороший вкус были тем, что ты демонстрируешь неизменно.

Сегодня ты в Андовере. Завтра можешь оказаться где угодно. В жизни тебе будут выпадать времена, когда ты станешь водить знакомство с людьми, учившимися в Эксетере, Чоуэйте, Гочкиссе, Гротоне и иных учебных заведениях подобного пошиба. Эти люди будут обращаться к тебе как к равному и говорить с тобой фамильярно, как если бы ты разделял с ними общий запас опыта.

Не позволяй вводить тебя в заблуждение. Андовер — это Андовер, а Эксетер — нет, как и ни один из этих людей не есть то, что он не есть.

На протяжении всей жизни ты должен всегда выбирать друзей с такой же разборчивостью, с какой выбираешь костюм, и неизменно помнить: не все, что блестит, золото.

С любовью, папа.

Нетли хранил эти письма из преданности отцу и нередко испытывал искушение бросить их возвышенные слова в пресыщенное лицо гедонистического старика, который, судя по всему, управлял римским публичным домом; бросить и тем самым надменно отвергнуть его пагубную, нечистоплотную аморальность, триумфально продемонстрировав, как на самом-то деле выглядит культурный, обаятельный, интеллигентный и утонченный человек, подобный его, Нетли, отцу. Удерживало Нетли лишь конфузливое, пугающее подозрение, что старику удастся, прибегнув к вредоносным, но убедительным словесным выкрутасам, унизить и отца, как удавалось ему унизить все, что Нетли почитал священным. Писем отца Нетли хранил многое множество. Из Андовера он перебрался, разумеется, в Гарвард — отец оказался на высоте и в этом случае.

Дорогой сын! (Писал его отец.)

Не будь первым из тех, на ком испытывают новое, и последним из тех, кто отказывается от старого. Это многосмысленное двустишие само собой пришло мне в голову несколько мгновений назад, когда я сидел в патио, слушая твою мать и концерт для кларнета Моцарта и намазывая на сухой хлебец «Мельба» мармелад «Кросс-энд-Блэкуэлл», — и я прервал завтрак, дабы сообщить его тебе, пока оно еще свежо в моем сознании. Запиши его в мозгу твоем, начертай на сердце и отчекань навеки на всех центрах твоей памяти, ибо совет, в нем содержащийся, столь же основателен, сколь и любые другие, когда-либо полученные тобой от меня.

Сегодня ты в Гарварде, старейшем из образовательных центров Соединенных Штатов Америки, и я отнюдь не уверен, что положение, занятое тобой, представляется тебе таким внушительным, каким должно представляться. Гарвард — это не просто хороший университет: Гарвард — это также хорошее место, где можно получить образование, буде ты решишь, что нуждаешься в его получении. Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет и находящийся в нью-йоркском Сити Нью-Йоркский

Сити-колледж суть также хорошие места, где можно получить образование, но как университеты они не столь хороши. Университеты, подобные Принстону, Йелю, Дартмуту и тем бунгало, из которых состоит комплекс Амхерст-Уильямс, не являются, разумеется, хорошими местами, где можно получить образование, и с Гарвардом им никогда не сравняться. Надеюсь, ты настолько разборчив в выборе тамошних знакомств, насколько того хотелось бы, как тебе известно, твоей матери и мне.

С любовью, папа.

P.S. Избегай запанибратского общения с католиками, цветными и евреями, какими бы преуспевающими, богатыми или влиятельными людьми ни были их родители. С другой стороны, китайцы, японцы, испанцы королевских кровей и мусульмане иностранного происхождения вполне допустимы.

P.P.S. Часто ли тебе удается полакомиться там орегано? (Ха-ха-ха!)

На первом курсе Нетли послушно вкусил орегано с продавщицей, официанткой, медицинской сестрой и школьной учительницей, а также — в двух отдельных случаях — с тремя другими

девушками (в Скрантоне, штат Пенсильвания), однако особой тяги к пряностям он не испытывал, а приобщение к ним не наделило его иммунитетом, который помешал бы ему столь неблагоразумно влюбиться в тот самый миг, когда он впервые увидел плотненькую, медлительную, зевавшую, растрепанную шлюху, сидевшую голышом в комнате, заполненной игнорировавшими ее военнослужащими рядового состава. Если не считать этих, отчасти формальных и довольно скучных, экскурсий в сферу половой жизни, первый гарвардский год Нетли оказался пустым и тусклым. Он обзавелся несколькими друзьями, ограничиваясь, как ему было рекомендовано, знакомствами лишь с богатыми, принадлежавшими к епископальной и англиканской церквям студентами, предки которых происходили по прямой линии либо от союза Джона Олдена и Присциллы Маллинс, либо от тех, кто отличился в битве при Босуорте — на проигравшей ее стороне. Нетли провел немало одиноких часов, любовно поглаживая дорогие кожаные переплеты пяти книг, которые отец прислал ему, назвав их незаменимой основой любой основательной личной библиотеки. Таковыми были: «„Кузницы и горнила“ Пенсильвании»;

«Каталог „Порсельянского клуба“ Гарвардского университета за 1941 год», «Генеалогическая и геральдическая история пэрства, баронетства и рыцарства», «Письма лорда Честерфилда к сыну» и составленная Фрэнсисом Пэлгрейвом «Золотая сокровищница» английской поэзии. Страницы этих книг для Нетли интереса не представляли, его зачаровывали их переплеты. Он часто ощущал одиночество и смутные, только начинавшие зарождаться в нем вожделения. Второй свой год в Гарварде он представлял себе без энтузиазма и радости. Его спасла разразившаяся, по счастью, война.

Дорогой сын! (Писал его отец, после того как Нетли добровольно вступил, чтобы избежать призыва в пехоту, в военно-воздушные силы.)

Ныне ты служишь высшему из призваний, какие посылает мужчине Провидение, — ты получил привилегию сражаться за свою страну. Держись, дерзай, веди игру![19] *Я совершенно уверен в том, что ты не подведешь свою страну, семью и себя самого, исполняя благороднейший долг, каковой состоит в том, чтобы держаться, дерзать, ве-*

[19] Примечания: 19

Рефрен стихотворения английского поэта Генри Ньюболта (1862–1938) «Светоч жизни».

сти игру и быть в этом первым.

Дома у нас новости только хорошие. Рынок оживился, в моду вошли контракты типа «издержки плюс шесть процентов» — самое полезное со времен появления международных картелей изобретение, дающее нам великолепную защиту от налога на сверхприбыль и возмутительного подоходного налога. Я получил от великолепного знатока и специалиста сведения, что Россия не сможет протянуть больше одной-двух недель, а после падения коммунизма Гитлер, Рузвельт, Муссолини, Черчилль, Махатма Ганди и император Японии заключат мир и будут навеки править миром на твердой деловой основе. Остается, впрочем, подождать и увидеть, не принимает ли он желаемое за действительное. (Ха-ха-ха!)

Я совершенно воспрянул духом, и оптимизм мой не знает границ. Гитлер дал нам именно те стимулы, в которых мы нуждались, чтобы вернуть американской экономике превосходное доброе здравие, каким она наслаждалась в чудесный четверг, предваривший Черную пятницу. Война, как ты, несомненно, понимаешь, предоставляет цивилизации великие возможности, одновременно бросая ей великий вызов. Именно

во время войны нередко наживаются великие состояния. И именно между войнами экономические условия ухудшаются. Если бы человечеству удалось найти некие средства, позволяющие увеличить продолжительность войн и сократить интервалы между ними, мы навеки исцелились бы от наиболее фундаментального из всех недугов человечества — цикла деловой активности.

Лучший совет, какой может дать тебе любящий родитель в этот период серьезного национального кризиса, состоит в том, что ты должен всеми, какие у тебя найдутся, силами противиться вмешательству правительства в твои дела и насмерть сражаться за сохранение свободного предпринимательства — при условии, разумеется, что названное предпринимательство есть одно из тех, наибольшим числом акций коего ты располагаешь. (Ха-ха-ха!)

Но прежде всего будь верен себе. Никогда не занимай и не ссужай деньги: никогда не занимай деньги более чем под два процента и никогда не ссужай деньги менее чем под девять процентов.

С любовью, папа.

P.S. В этом году мы, твоя матушка и я, в Канны не поедем.

Путь, избранный Нетли после того, как разразилась война, никаких нареканий у его семьи не вызвал; все считали само собой разумеющимся, что он продолжит замечательную, восходившую еще к битве при Босуорте семейную традицию воинской службы на проигравшей стороне, да к тому же отец Нетли знал из самых надежных вашингтонских источников, что больше двух-трех недель Россия протянуть не сможет и, стало быть, война закончится еще до того, как Нетли успеют послать за море.

Идея поступления в курсанты авиашколы принадлежала матери Нетли и его самой старшей сестре, а подоплекой ее послужило то обстоятельство, что офицеры военно-воздушных сил не должны носить парадные фуражки с проволочными каркасами, а также то, что, пока он будет проходить сложный курс подготовки, русские потерпят поражение и война придет к благополучному концу. Более того, и в курсантах, и в офицерах он сможет общаться только с джентльменами и бывать только в лучших домах.

Как выяснилось, ко всему этому существовала поправка. Собственно, целый ряд поправок, вследствие коих Нетли, вместо того чтобы общаться только с джентльменами и бывать только

в лучших домах, зачастил в римский публичный дом и общался с такими людьми, как Йоссариан и сатанински растленный и глумливый старик. Хуже того, он, к прискорбию, безнадежно влюбился в безразличную к нему шлюху, которая не уделяла ему ни малейшего внимания и всегда уходила спать без Нетли, поскольку его до поздних часов задерживали препирательства с порочным стариком.

Нетли не мог с полной определенностью объяснить, как с ним это случилось, и отец его, всегда с полной ясностью объяснявший все, что угодно, не мог тоже. Нетли снова и снова поражал совершеннейший контраст, составляемый двусмысленным, пользовавшимся дурной славой стариканом его, Нетли, отцу, чьи так и продолжавшие повторяться в письмах намеки на орегано и рапсодические восклицания насчет войны и бизнеса начинали сильно действовать Нетли на нервы. Он часто испытывал искушение вымарать эти оскорбительные строки из писем, которые хранил, но сделать это не решался; а при каждом своем возвращении в публичный дом от всей души желал, чтобы греховный, распутный старик надел чистую рубашку, повязал галстук и повел себя как истинный джентльмен, — тогда

он, Нетли, не ощущал бы такого жгучего, приводившего его в замешательство гнева всякий раз, как он смотрел на старика и вспоминал своего отца.

Дорогой сын! (Писал его отец.)

Ну-с, чертовы коммунисты не оправдали моих ожиданий и капитулировать не сумели, а ты теперь сражаешься за морем, ты пилот аэроплана и подвергаешь свою жизнь опасности.

Мы учили тебя всегда поступать в соответствии с правилами чести и хорошего вкуса и никогда не оказываться повинным в чем-либо унизительном. Смерть, как и тяжелый труд, унизительна, и я настоятельно прошу тебя сделать все возможное, чтобы остаться в живых. Противься искушению покрыть себя славой, ибо оно равноценно тщеславию. Помни, что сражаться за свою страну — это одно, а погибнуть за нее — совсем другое. В наше время, время национальной угрозы, совершенно необходимо, чтобы ты, говоря бессмертными словами Редьярда Киплинга, был покоен, не растерян, когда теряют головы вокруг. (Ха-ха-ха! Ты понял?) В дни мира человека украшают смирение и тихий, скромный нрав. Но когда, как сказал Шекспир, задует ураган войны

[20], *самое время вспомнить о том, что главным достоинством храбрости должно быть благоразумие* [21]. *Короче говоря, наше время взывает к достоинству, уравновешенности, осторожности и сдержанности.*

Вероятно, через несколько лет после нашей победы кто-нибудь подобный Генри Л. Менкену укажет на то, что число американцев, пострадавших от этой войны, во много раз меньше числа тех, кому она принесла прибыль. Нам не хотелось бы, чтобы член нашей семьи привлек к себе внимание, оказавшись среди тех относительно немногих, кто прибыли не получил. Я каждодневно молюсь о твоем благополучном возвращении. Не мог бы ты изобразить заболевание печени или чего-то подобное? Тогда тебя отправили бы домой.

С любовью, папа.

P.S. Как я завидую твоей молодости, твоим возможностям, тому, что тебя окружают сладкие

---

[20] Примечания: 20

«В дни мира украшают человека / Смирение и тихий, скромный нрав; Когда ж нагрянет ураган войны…» Шекспир У. Генрих V. Акт III, сцена 1 (пер. Е. Бируковой).

[21] Примечания: 21

«Главное достоинство храбрости — благоразумие» — слова струсившего Фальстафа. Шекспир, Уильям. Генрих IV, часть I. Пер. Е. Бируковой.

итальянские бабы! Как хотел бы оказаться рядом с тобой. (Ха-ха-ха!)

Это письмо вернулось к отцу со штемпелем «ПАЛ В БОЮ».

Йоссариан выживает [22]

Если память мне не изменяет, когда редактура обратила восемьсот страниц первого машинописного экземпляра «Поправки-22» в шестьсот, ни один эпизод либо персонаж целиком из романа выброшен не был. Память мне изменяет. Вскоре после публикации книги (в конце 1961 года) один из моих друзей, прочитавший ее в оригинале, посетовал на исчезновение из нее писем Нетли к отцу. В дальнейшем эти восемь не то десять страниц были напечатаны в «Плейбое» под названием «С любовью, папа» (декабрь 1969 года).

Мне следует сказать тут, что цель у тех сокращений была только одна:

---

[22] Примечания: 22
«Плейбой», № 34, декабрь 1987, с. 144–146, 184, 186.

добиться большей связности и силы воздействия книги в целом.

И совсем уж недавно, в двадцать пятую годовщину публикации романа, два офицера военно-воздушной академии США, занимавшихся внимательным его изучением, обратились ко мне с вопросом: почему я выбросил из него целую главу, пусть и небольшую, в которой описывался преподаватель физической подготовки и использование гимнастики и иных упражнений для подготовки летчиков к выживанию в боях?

Моя реакция на этот вопрос была двоякой: во-первых, я напрочь забыл о том, что написал эту главу; во-вторых, я не сомневался, что в книге она присутствует. «Вы хотите сказать, что ее там нет?! — воскликнул я. — Нет слов: „Что же вы лежите здесь просто так, дожидаясь „скорой“? Выполняйте пока отжимания?“»

Офицеры заверили меня, что там нет всей этой главы, а она им нравится, они считают ее нисколько не устаревшей и заслуживающей публикации.

Я произвел проверку и обнаружил, что они правы по всем статьям. Во-первых, глава эта в романе отсутствовала; во-вторых, она показалась мне заслуживающей публикации. Вот она.

Джозеф Хеллер

Вообще-то говоря, здоровье у Йоссариана было крепкое — благодаря правильному образу жизни: обилию свежего воздуха и физических упражнений, частым моционам, слаженной командной игре и хорошей физической подготовке. Как раз для того чтобы убраться от всего этого подальше, он и отправился в первый раз в лечебную часть и там открыл для себя госпиталь.

На авиабазе «Лаури-Филд», где он учился в военной школе, перед тем как записаться в авиационные курсанты, военнослужащих готовили к выживанию в боевых условиях посредством общеразвивающих упражнений, которые шесть раз в неделю проводил с ними Рогофф, добросовестный преподаватель физической культуры. Рогофф, штаб-сержант тридцати с лишком лет, сухощавый, жилистый, подобострастный, с плоскими костями и лицом цвета томатного сока, был предан своему делу и всегда, казалось, опаздывал

к его исполнению на несколько минут.

На самом деле он всегда приходил на несколько минут раньше и прятался в каком-нибудь ближайшем укрытии, пока не появлялись все его ученики, — это позволяло ему выскакивать на плац якобы в спешке и немедля, без неловких вступительных речей приступать к упражнениям. Разговоры Рогофф находил затруднительными. Если поблизости от плаца стояла машина, Рогофф прятался за нее, он мог также укрываться в бойлерной, рядом с ее окном, или в одной из казарм, или под крыльцом канцелярии. Как-то раз, после полудня, он спрыгнул, чтобы укрыться, в одну из ям, которые рыл экс-рядовой первого класса Уинтергрин, и получил от экс-рядового первого класса Уинтергрина лопатой по голове, а затем и потоки язвительной брани, несшейся за Рогоффом, пока он ковылял сконфуженно и униженно к солдатам, ожидавшим, когда он объявится и прикажет им приступить к упражнениям.

Упражнениями Рогофф руководил с высокого деревянного помоста, по бокам которого стояли на земле два рядовых, которых он называл своими сержантами и которые разделяли с ним безоговорочную веру в благотворность физи-

ческих упражнений и помогали ему, выполняя каждое после того, как сам он выполнять таковое переставал, чтобы дать отдых своему голосу, пронзительному, отличавшемуся невероятными переливами, — и это еще самое малое, что о нем можно сказать. Ничегонеделанье Рогофф ненавидел. Если он не находил себе на помосте иного занятия, то просто расхаживал по нему решительным шагом, бил в судорожных припадках служебного рвения ладонью о ладонь и выкрикивал: «Хубба-хубба!» Всякий раз, как он произносил, обращаясь к выстроившимся в колонны по одному людям в зеленой форме, «хубба-хубба», им надлежало отвечать ему: «Хубба-хубба, хубба-хубба!» — перебирая при этом ногами и двигая локтями у ребер, пока Рогофф не останавливал их, елейно воздевая, словно в экстатическом благословении, руку и произнося с видом глубоко растроганного человека: «Вот так, солдаты. Вот так».

«Хубба-хубба», однажды объяснил он, — это звуки, которые издает обуянный страстью бобер, а объяснив, расхохотался, как будто выдал на редкость удачную шуточку.

Рогофф обучил солдат множеству идиотских физических упражнений. Они наклонялись, рас-

тягивались и подпрыгивали — все это в унисон мужественному, музыкальному ритму «раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре». Они ложились на землю ничком и отжимались или ложились навзничь и принимали положение сидя. Они много чего узнали на уроках гимнастики, например, как отличать лежание ничком от лежания навзничь.

Рогофф называл, а затем показывал каждое упражнение, которое надлежало выполнить, и выполнял его вместе с солдатами, пять раз отсчитывая — так громко, как мог, во всю силу своего слабого голоса — «раз-два-три-четыре». Двое произведенных им в сержанты рядовых продолжали выполнять упражнение, когда он останавливался, чтобы дать отдых своему голосу, и принимался энергично расхаживать по помосту или с жаром бить в ладоши.

Время от времени он без какого-либо предупреждения спрыгивал с помоста на плац и опрометью несся в одну из стоявших за ним двухэтажных казарм, дабы убедиться, что никто из тех, кому полагается находиться снаружи и выполнять упражнения, не сидит внутри, ничего не выполняя. Когда он стремительно выскакивал из казармы, выстроенные на плацу так и продол-

жали бойко бить поклоны или подпрыгивать. Чтобы остановить их, Рогофф начинал кланяться, растягиваться или подпрыгивать вместе с ними, дважды отсчитывая «раз-два-три-четыре» голосом, почти по вертикали перелетавшим при первом повторении считалки в другую октаву, повыше, — второе выдавливалось мучительным, срывающимся фальцетом, от которого на лбу Рогоффа и на шее страшно вздувались вены и сухожилия, а плоское красное лицо его багровело еще пуще. По прекращении же упражнения Рогофф всякий раз произносил: «Хубба-хубба», — а солдатам полагалось отвечать ему: «Хубба-хубба, хубба-хубба», точно они были стаей обуянных страстью бобров, в которых, как в глубине души надеялся Рогофф, все они в скором времени и обратятся.

Когда солдаты не кланялись, не растягивались, не подпрыгивали и не отжимались, они осваивали чечетку, поскольку чечетка наделяла их чувством ритма и координацией, необходимыми для того, чтобы кланяться, растягиваться, подпрыгивать и отжиматься, а это, в свой черед, развивало в них чувство ритма и координацию, необходимые для того, чтобы стать искусными дзюдоистами и выжить в бою.

В занятия дзюдо Рогофф вкладывал столько же пыла, сколько в физические упражнения, во время каждого урока он проводил десять минут, повторяя с солдатами, в замедленном темпе, основные движения этой борьбы. Дзюдо было наилучшим естественным оружием, позволявшим безоружному бойцу справиться в пустыне или в джунглях с одним или более вражескими солдатами — при том, разумеется, условии, что он безоружен. Если у него имелся заряженный карабин или автомат, он пребывал в положении явно невыгодном, поскольку ему приходилось из них стрелять. Если же враги загоняли его в угол безоружным, он мог радоваться своей удаче, поскольку получал возможность прибегнуть к дзюдо.

— Дзюдо — это самое лучшее естественное оружие бойца, — каждодневно напоминал с помоста солдатам Рогофф, произнося эти слова высоким сдавленным голосом в спешке и смущении — так, точно ему не терпелось поскорее от них избавиться.

Построенные в колонны по одному, солдаты поворачивались лицом друг к другу и замедленно выполняли положенные движения, но без контакта, поскольку дзюдо представляло собой

естественное оружие, до того сокрушительное, что обучаться владению им в течение долгого времени, не подвергая обучающихся унизительным побоям, было попросту невозможно. Дзюдо оставалось самым лучшим естественным оружием бойца до того дня, когда школу посетил в качестве приглашенного преподавателя физической подготовки известный чемпион по боксу, который видел свою задачу в том, чтобы поднять боевой дух солдат и познакомить их с прямым левой.

— Прямой левой, — без тени сомнения заявил с помоста Рогоффа чемпион, — это самое лучшее естественное оборонительное оружие, каким только может располагать боец. А поскольку самым лучшим оборонительным оружием является оружие нападательное, прямой левой есть также и самое лучшее естественное нападательное оружие, каким только может располагать боец.

Лицо Рогоффа стало белым как простыня.

Чемпион велел выстроенным в колонны по одному солдатам повернуться лицом друг к другу и начал четырехтактный отсчет, под который они обучались прямому левой и практиковались в нем — в замедленном темпе и без контакта.

— Раз-два-три-четыре, — отсчитывал он. —

Раз-два-бей-четыре. Теперь другая колонна. И помните — прямой левой, но без контакта. Готовы? Бей-два-три-четыре, бей-два-бей-четыре, раз-бей-три-бей, бей-два-три-бей. Вот так. Теперь мы пару секунд передохнем и попрактикуемся снова. Перепрактиковаться в прямом левой невозможно.

Чемпион появился на плацу в офицерской форме и в сопровождении раболепной свиты из полковников и генералов, которые восторженно таращились на него с плаца, светясь от обожания. Рогофф, которому пришлось спрыгнуть с помоста, был напрочь забыт. Его не удостоили даже чести представить чемпиона солдатам. Смущенная улыбочка кривила его губы, пока он стоял один-одинешенек на плацу, игнорируемый всеми, в том числе и двумя рядовыми, которых он произвел в свои сержанты. Как раз один из этих сержантов и спросил у чемпиона, как тот относится к дзюдо.

— Ничего в нем хорошего нет, — заявил чемпион. — Дзюдо — это японская выдумка. А прямой левой — американская. Вот и думайте. Еще вопросы имеются?

Вопросов не имелось. Чемпиону и его высокой флотилии пришла пора удалиться.

— Хубба-хубба, — произнес он.

— Хубба-хубба, хубба-хубба, — ответили солдаты.

После того как чемпион удалился, а Рогофф вернулся на свой осквернённый помост, наступила неловкая тишина. Рогофф униженно сглатывал, попытка изобразить небрежное безразличие, оставить без внимания сокрушительную утрату его былого статуса не удалась ему совершенно.

— Солдаты, — слабо начал он голосом сдавленным и сконфуженным, — чемпион — великий человек, и каждый из нас обязан помнить все, что он тут наговорил. Однако в последнее время ему приходилось очень много разъезжать по стране, чтобы помочь ей в военных успехах, и, возможно, овладеть сведениями о новейших методах ведения военных действий он не успел. Потому он и сказал то, что сказал, о прямом левой и дзюдо. Думаю, для одних людей прямой левой — это самое лучшее естественное оружие, каким только может располагать боец, а для других наилучшим является дзюдо. Мы с вами по-прежнему будем уделять особое внимание дзюдо, потому что нам необходимо уделять чему-то особое внимание, а уделять его и тому и другому невозможно. Когда вы отправитесь за море — в джунгли или в пусты-

ню — и на вас, безоружных, нападет вражеский солдат, я не стану препятствовать тому, чтобы вы воспользовались не дзюдо, а прямым левой. Выбор за вами. Это ведь честно, так? Теперь же я думаю, что на сегодня мы обойдемся без изучения дзюдо, а сразу приступим к играм.

На взгляд Йоссариана, и в прямом левой, и в дзюдо присутствовало мало такого, что позволяло ему с оптимизмом ожидать встречи с одним или более вражескими солдатами — что в джунглях, что в пустыне. Он попытался представить себе полки союзников, пробивающиеся сквозь оборонительные линии врага к Токио или Берлину, используя для этого дзюдо, прямые левой и чечетку, исполняемую на счет «раз-два-три-четыре», — картина получилась не очень убедительная.

Для того чтобы понять, как ему следует поступить, если двое или более вражеских солдат загонят его, безоружного, в угол в каких-нибудь джунглях или в пустыне, ни Рогофф, ни чемпион по боксу Йоссариану не требовались. Он точно знал, что будет делать: упадет на колени и станет просить о пощаде. Сдача в плен была самым лучшим, что ему удалось придумать, естественным оружием безоружного бойца, напоровшегося на

одного или более вражеских солдат. Строго говоря, оружием ее назвать было нельзя, но смысла в ней было явно больше, чем в прямом левой, чечетке или дзюдо.

А в гимнастику он питал веру еще меньшую. Вся программа физической подготовки должна была предположительно закалить Йоссариана, развить в нем навыки выживания и спасения чужих жизней, однако, по его мнению, задачи своей она не выполняла, поскольку очень многие солдаты все-таки погибали.

Добавлением к физическим упражнениям, чечетке, дзюдо и прямому левой служили спортивные игры. Каждый день солдаты почти по часу играли в такие игры, как бейсбол и баскетбол.

Бейсбол представлял собой игру, которую именовали великим американским времяпрепровождением, а проводилась она на квадратном «внутреннем поле», называвшемся диамантом. Это была игра очень патриотичная и высоконравственная, для нее требовались: бита, мяч, четыре базы и семнадцать игроков плюс Йоссариан. Последние разбивались на две команды: одна из девяти игроков, а другая — из восьми игроков и Йоссариана. Цель игры состояла в том, чтобы игроки твоей команды попадали битой по

мячу и обегали четыре расположенные по углам квадрата базы чаще, чем игроки команды противника. Йоссариану все это казалось несколько глуповатым, так как играли все они лишь ради того, чтобы испытать восторг победы.

Победители получали всего-навсего восторг победы.

А победа их означала всего-навсего, что они обегали расположенные по углам квадрата базы большее, чем их противники, число раз. Если в их тяжких трудах и крылся еще какой-нибудь смысл, от Йоссариана таковой ускользал. Когда он заговаривал на эту тему с товарищами по команде, они отвечали ему так: «Наша победа доказывает, что мы лучше их». Когда же он спрашивал: «Лучше в чем?» — выяснялось, что лучше они всего-навсего в умении обегать базы. Этого Йоссариан понять не мог, а товарищи по команде не могли понять Йоссариана.

Освоившись — в разумных пределах — со странной, именуемой бейсболом игрой, Йоссариан выбрал для себя роль правого полевого игрока, поскольку довольно быстро заметил, что правому полевому игроку особо напрягаться не приходится.

Заняв свое место на поле, Йоссариан не по-

кидал таковое ни при каких обстоятельствах. Пока его команда подавала, он лежал на правом поле, посасывая стебелек одуванчика и пытаясь достичь взаимопонимания с правым полевым игроком команды противника, однако тот отодвигался от него все дальше и дальше, почти до самого центрального поля, и все это время пытался уверить себя, что на правом поле нет никакого Йоссариана, посасывающего стебелек одуванчика и несущего о бейсболе такую ересь, какой он и не слыхивал никогда.

Когда наступал его черед подавать мяч, Йоссариан эту честь неизменно отклонял. В самой первой своей игре он принял ее и сделал трипл. Чтобы сделать следующий трипл, ему пришлось бы снова обежать три базы, а в беготне этой приятного было мало.

В конце концов настал день, когда правый полевой игрок противника тоже решил, что приятного в бейсболе мало, и играть в него наотрез отказался. Вместо того чтобы бежать к мячу, который катился на него, проскочив между двумя игроками внутреннего поля, он зашвырнул как можно дальше свою кожаную бейсбольную перчатку и побежал, дрожа всем телом, к питчерской горке.

— Не хочу больше играть! — завопил он и, залившись слезами, принялся дико тыкать пальцем в Йоссариана. — Пусть вон тот уйдет. Из-за него я каждый раз, как бросаюсь к мячу, чувствую себя идиотом.

Время от времени Йоссариан при первой же возможности смывался с бейсбольного поля, оставляя свою команду играть в меньшинстве.

Играя в баскетбол, Йоссариан получал удовольствие, намного превосходившее то, какое он получал, играя в бейсбол.

В баскетбол играли, перебрасываясь большим надувным мячом, девять человек плюс Йоссариан, разбивавшиеся для этого на две команды: одна состояла из пяти игроков, другая — из четырех игроков и Йоссариана. Игра эта была не такой патриотичной, как бейсбол, однако смысла в ней было гораздо больше. Вся она сводилась к попыткам забросить большой надувной мяч в металлическое кольцо, горизонтально прикрепленное к вертикальному деревянному щиту, который висел высоко над головами игроков. Побеждала та команда, которая чаще, чем другая, попадала мячом в это кольцо.

Всем, что в итоге получал победитель, был опять-таки восторг победы, а он большого смысла

не имел. Зато баскетбол сам по себе имел куда больший смысл, чем бейсбол, потому что броски мячом в корзину были не совсем таким же маразмом, каким была беготня по базам, да и требовали они менее слаженной командной игры.

Баскетбол нравился Йоссариану еще и тем, что игру ничего не стоило остановить. Он мог остановить ее в любую минуту, просто забросив мяч как можно дальше, и проделывал это всякий раз, как тот попадал ему в руки, а после просто стоял, ничего не делая, пока кто-то бегал за мячом и приносил его обратно.

Однажды Рогофф подскочил на баскетбольной площадке к игравшему в баскетбол Йоссариану и пожелал узнать, почему это девять солдат стоят, ничего не делая. Йоссариан указал ему на десятого, бежавшего за мячом, который улетел за линию горизонта. Он же, Йоссариан, его только что туда и забросил.

— Ладно, но не стойте просто так, пока он за ним бегает, — потребовал Рогофф. — Выполняйте отжимания.

В конце концов Йоссариан понял, что с него хватит, что дальнейших физических упражнений, дзюдо, прямых левой, бейсбола и баскетбола ему просто-напросто не пережить. Может быть,

все они и спасают жизни бойцов, решил он, но не платить же за это такую непомерную цену — цену, которая низводит человека вместе с его жизнью на уровень жалкого животного — обуянного страстью бобра.

Решение это Йоссариан принял утром, и когда после полудня все остальные солдаты отправились заниматься физической подготовкой, разделся и лег на свою койку, стоявшую на втором этаже казармы.

Лежа навзничь в одних лишь трусах и майке, он ощущал восторг человека, совершившего нечто в высшей степени достойное, а становившийся все более тонким, перенатуженный голос Рогоффа, строившего солдат у самого здания казармы, дарил Йоссариану покой. Неожиданно этот голос сменили голоса двух помощников Рогоффа, и Йоссариан услышал, как тот бежит к казарме и поднимается по лестнице. Когда Рогофф добрался до площадки второго этажа, влетел в комнату, где лежал Йоссариан, и увидел его в постели, Йоссариан улыбаться перестал и начал стонать. Рогофф резко затормозил, на лице его появилось выражение пристыженного соболезнования, и к койке Йоссариана он приблизился уже на цыпочках.

— Почему вы не вышли на физическую подготовку? — с любопытством спросил он, уважительно остановившись у койки.

— Заболел.

— Если вы заболели, почему не обратились в лечебную часть?

— Я слишком плох, чтобы обращаться в лечебную часть. Думаю, у меня аппендикс.

— Хотите, я позвоню, вызову «скорую»?

— Нет, пожалуй, не стоит.

— Может быть, мне лучше все-таки позвонить туда? Вас положат в госпиталь, будете отдыхать целый день.

Такая возможность Йоссариану в голову не приходила.

— Да, пожалуйста, позвоните, пусть пришлют «скорую».

— Сию же минуту и позвоню. Я… Боже милостивый, совсем забыл!

Рогофф, заблеяв от ужаса, резко развернулся кругом и на предельной скорости помчался по длинным половицам наполнившегося шумным эхом его топотни коридора к выходившей на крошечный деревянный балкончик двери.

Заинтригованный Йоссариан сел и переполз к изножью койки — посмотреть, что происходит.

Рогофф подпрыгивал на балкончике, хлопая над головой в ладоши.

— Раз-два-три-четыре! — закричал он сверху вниз стоявшим на плацу солдатам. Голос его бесстрашно взбирался к мучительному, опасному фальцету. — Раз-два-три-четыре! Хубба-хубба!

— Хубба-хубба, хубба-хубба, — вернулся к нему снизу сочувственный ропот невидимой аудитории — и продолжал возвращаться, пока Рогофф не воздел руку вверх, обратившись в дрянную карикатуру на регулировщика уличного движения, и ропот этот не придушил.

— Вот так, солдаты! — крикнул он вниз и коротко, одобрительно кивнул. — А теперь попробуем глубокий присед. Готовы? Руки на бедра… начали!

Рогофф сжал ладонями собственные бедра, выпрямил спину и шею, и тело его резко пошло вниз, выполняя первое движение глубокого приседа.

— Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!

Затем он пружинисто встал, снова круто развернулся кругом, и помчал по коридору к Йоссариану, и пронесся мимо него, ободряюще покивав, и затопал по лестнице вниз. Минут десять спустя Рогофф с таким же топотом взлетел по лестнице вверх: рифленое лицо его было

красно как бурак, он пронесся мимо Йоссариана, ободряюще покивав, и помчал по коридору на другой конец казармы, к балкончику, а там прервал глубокие приседы и, несколько секунд прокричав «хубба-хубба», велел солдатам приступить к «подскокам ноги врозь». Когда он наконец возвратился к Йоссариану, тот увидел, что Рогофф очень устал. Худая мускулистая грудь его конвульсивно ходила ходуном, явно запаниковав от недостатка кислорода, на лбу подрагивали округлые, крупные капли пота.

— «Скорой»… воздуху не хватает! «Скорой» потребуется время, чтобы добраться сюда, — пропыхтел он. — Придется ехать через все летное поле. Все равно не хватает!

— Ничего, я не спешу, — ответил отважный Йоссариан.

Рогофф наконец справился с дыханием.

— Что же вы лежите просто так, дожидаясь «скорой», — сказал он. — Выполняйте пока отжимания.

— Если ему хватает сил отжиматься, — сказал, когда приехала «скорая», один из принесших носилки санитаров, — так хватит и чтобы идти на своих двоих.

— Именно отжимания и придали ему силы,

необходимые для ходьбы, — с профессиональным знанием дела объяснил им Рогофф.

— Мне и на отжимания сил не хватает, — заявил Йоссариан, — и на ходьбу тоже.

Странное уважительное молчание сковало уста Рогоффа, после того как Йоссариана переложили на носилки и настало время проститься с ним. В искренности его сострадания сомневаться не приходилось. Он от души жалел Йоссариана, и Йоссариан, поняв это, от души пожалел Рогоффа.

— Ну что же, — произнес Рогофф, легко помахав Йоссариану ладонью и только тут отыскав наконец слова, исполненные необходимого такта, — хубба-хубба.

— И вам хубба-хубба, — ответил Йоссариан.

— Мотай отсюда, — сказал Йоссариану госпитальный врач.

— Как это? — переспросил Йоссариан.

— Я сказал: мотай отсюда.

— Как это?

— Перестань повторять «как это?».

— Перестаньте повторять «мотай отсюда».

— Вы не можете заставить его мотать отсюда, — сообщил капрал. — Поступил новый приказ.

— Как это? — переспросил доктор.

— Мы обязаны пять дней держать под наблю-

дением каждого, кто жалуется на боль в животе, потому что многие из тех, кому мы велели мотать отсюда, уже перемерли.

— Ладно, — проворчал доктор. — Подержите его пять дней под наблюдением, а после гоните в шею.

— А осмотреть его вы не хотите? — спросил капрал.

— Нет…

У Йоссариана отобрали одежду, выдали ему пижаму и предоставили койку в палате, где он испытывал, когда умолкали храпуны, безмерное счастье. Он начинал думать, что ему, пожалуй, понравилось бы провести здесь остаток его военной карьеры, — это представлялось столь же разумным, сколь и любой другой, способом выживания на войне.

— Хубба-хубба, — говорил он себе.

Поправка-23: Йоссариан живет [23]

Когда мы в последний раз видели Йоссариана, стоял 1945-й, а он готовился к тому, чтобы спасти свою жизнь и

---

[23] Примечания: 23
«Смарт», № 9, май 1990, с. 81–96.

рассудок, сбежав из базировавшейся на средиземноморском острове двадцать седьмой воздушной армии в Швецию, хоть и не был уверен, что сможет до нее добраться. Сорок с чем-то лет спустя…

1

Йоссариану приснилась его мать, и он понял, что скоро умрет. Доктора, услышав от него эту новость, расстроились.

— Мы не нашли у вас ничего опасного, — единодушно твердили они.

— Ищите дальше, — велел он.

— У вас идеальное здоровье.

— Подождите немного, сами увидите.

Йоссариан снова лежал в больнице, отступив на эту позицию под невротическим шквальным огнем малопонятных физических симптомов, который все чаще обрушивался на него с того времени, когда ему впервые в жизни пришлось зажить в одиночку, — он вынужден был снова сбежать, если так можно выразиться, в больницу (проведя всего четыре месяца вне ее стен) после пугающего известия о том, что Джордж Буш и вправду принял решение отказаться от

президентства, кто бы ни стал его преемником, и совершенно случайного получения им, Йоссарианом, информации, согласно которой Мило Миндербиндер, с коим он был к этому времени неопределенно, неприятно и неразрывно связан, расширяет границы своей деятельности, переходя из сферы торговли такими товарными излишками, как исчерпавший срок годности шоколад, залежавшийся на складах египетский хлопок, секонд-хэндовые урановые топливные стержни и чиненые-перечиненые ядерные реакторы, в область торговли военным снаряжением, и планирует построить боевой, оснащенный атомным оружием самолет собственной его конструкции, который у него кто-нибудь да купит.

В добавление к двум этим вполне достаточным причинам для страха на Йоссариана что ни день сыпались новые. Развалился еще один нефтяной танкер. И тут уж говорить об истерии не приходилось. Кто-то в правительстве явно брал большие взятки. Ответственные промышленники Западной Германии продавали технологию производства отравляющих веществ воинственным милитаристам Ближнего Востока, и те, несомненно, воспользуются этими веществами, чтобы перетравить и самих промышленников, и

их соотечественников во время великой войны Востока с Западом, каковая рано или поздно наверняка разразится и станет последней из всех войн. В Калифорнии жизнерадостный, веселый молодой человек по имени Майк Милкен за один календарный год заработал, по общему мнению, 550 миллионов долларов, не предоставляя никому из граждан страны (за исключением тех, кто с удовольствием позволял ему получать непомерные вознаграждения) ни продуктов, ни услуг, ни чего-либо обладающего социальной ценностью, и, вне всяких сомнений, считал себя достойным по меньшей мере того, что получил. Между тем в Иране главный религиозный вождь объявил о награде в один миллион долларов, которая достанется тому, кто убьет писателя, жившего в Лондоне и написавшего антирелигиозный роман. Китай, развивающаяся страна с самым большим в мире населением, обращался в крупного поставщика вооружений. Соединенные Штаты финансировали антисоветское революционное движение в Афганистане, а Советский Союз финансировал антиамериканский режим на Кубе и еще один — в Никарагуа и продавал новейшие, самые навороченные боевые самолеты грозившему всем подряд войной ливийскому

лидеру; Индия обзавелась ядерным оружием; Пакистан испытывал ракеты дальнего действия. У Ирана имелся нервно-паралитический газ, у Южной Африки — низкообогащенный уран, у Аргентины и Индии — тяжелая вода, а заводы, занимавшиеся обработкой урана и трития, росли по всему Ближнему и Дальнему Востоку как грибы. Уинстон Черчилль умер, взяв в этом пример с Муссолини и Фреда Астера, а Джо Димаджо собирался последовать его примеру. Мать и отец Йоссариана умерли тоже, и к нынешнему времени им составили компанию все его дяди и тети, в чем, разумеется, веселого было мало. Но если в этом веселого было мало, то существовало много такого, в чем веселого было еще меньше. Куда ни глянь, Йоссариан повсюду видел очередного психа, и для того, чтобы сохранять среди столь многих проявлений безумия, а также угроз нравственного и физического порядка благостную психическую устойчивость, разумному, занимающему в обществе приметное положение пожилому гражданину вроде него только одно и оставалось — вертеться. Здоровье Йоссариана находилось в опасности, и он понимал, что нуждается в помощи.

По меньшей мере один раз за каждое утро к

нему вваливались без всякой предварительной договоренности доктора — компании безапелляционных, бодрых, серьезных консультантов, его лечащий врач Леон Шумахер, сопровождаемый бодрой, серьезной свитой бодрых, серьезных начинающих врачей с вдумчивыми лицами и бездумными глазами, сопровождаемой Мелиссой Веденмюллер, разбитной симпатичной старшей сестрой отделения, обладательницей хорошенького личика и роскошного зада, которая открыто заигрывала с Йоссарианом, несмотря на его преклонные годы, и которую он хитроумно заманивал в свои сети, помогая ей благополучнейшим образом сойти по нему с ума, несмотря на ее молодые годы. Это была высокая женщина с соблазнительными бедрами, помнившая Перл-Бэйли, но не помнившая Перл-Харбора, что, по прикидкам Йоссариана, помещало ее в возрастную категорию «от тридцати пяти до шестидесяти», — лучшая, как он считал, пора для любой женщины. Вообще говоря, никакого понятия о том, что она собой на самом-то деле представляет, Йоссариан не имел. Он без разбору и с превеликим удовольствием хватался за любую, какая ему подворачивалась, возможность приятно скоротать те несколько недель, которые

он решил провести в больнице, дабы отдохнуть и собраться с мыслями. Подобно неумелому штурману, каким он был во время Второй мировой войны, когда в течение нескольких месяцев проходил боевую подготовку в авиационном корпусе, стоявшем в Колумбии, штат Южная Каролина, а затем летел в Бразилию, оттуда в Африку и, наконец, на средиземноморский остров Пьяноса, Йоссариан большую часть времени не понимал, где он находится и куда направляется, но когда признавался в этом близким друзьям, они ему не верили.

На сей раз Йоссариан получил хорошую палату с приятными соседями, которые не страдали опасными или неприятными заболеваниями, и обширным видом на парк, а Мелисса сама сообщила ему со смиренным смешком и надменной резкостью, что зад у нее роскошный.

Роскошный там или не роскошный, но уже к середине его первой больничной недели Йоссариан что было сил крутил любовь с этой доступной высокоответственной женщиной, на которую возлагал теперь надежды по части и здоровья своего, и нерегулярных, коротких эпизодов приятного времяпрепровождения. Доктор Леон Шумахер на эти проявления похоти и фриволь-

ности взирал без всякого одобрения.

— Достаточно плохо уже и то, что я положил вас сюда. По-моему, нам обоим следует стыдиться того, что вы, человек ничем не больной, занимаете эту палату, когда…

— Кто вам сказал, что я ничем не болен?

— …когда снаружи бродит по улицам столько бездомных.

— Если я соглашусь уйти, вы положите сюда одного из них?

— А вы за него заплатите?

Йоссариан предпочел обойтись и без того, и без другого.

В некоторые утра Леон, вваливаясь к нему со своей почтительной свитой, притаскивал с собой и какое-нибудь медицинское светило, а то и двух, специализировавшихся в далеких от его собственной профессиональных областях и записывавшихся на эти утренние экскурсии просто ради того, чтобы окинуть изумленным взглядом печально известного мнительного пациента, который улегся в больницу на предмет полного ежегодного обследования всего через четыре месяца после того, как прошел таковое. И всего лишь из-за того, что ему на краткий мучительный миг явилось видение мучительного

видения. Ну и потому еще, что в больнице пациент этот в большей мере, нежели дома (с кем бы он таковой ни делил), чувствовал себя как дома. А еще потому, что в отдельной палате, из которой открывался приятный вид на полный опасностей парк, он почитал себя пребывающим в большей безопасности, чем вне ее, в мире бизнеса, где Йоссариан провел около двадцати пяти лет кряду администратором-консультантом Мило Миндербиндера и его «МиМ. Предприятий и Партнеров», а ныне пребывал в полуотставке, как их же полуадминистратор-полуконсультант.

Великий знаток ангиограмм твердо заверил Йоссариана, что ангиограмма ему не нужна, а невролог столь же мрачно отрапортовал, что с мозгами у него все в порядке. Сам Леон Шумахер считался здесь главным в стране авторитетом по камням желчного пузыря и тяжелой миастении — недугам, никак друг с другом не связанным. Леон страдал хроническим спастическим колитом и лихорадочной завистью к людям вроде его детей, которые не были ни докторами, ни актерами, а денег загребали гораздо больше, чем он. У Йоссариана отсутствовали как тяжелая миастения, так и камни в желчном пузыре, и Леон раз за разом с гордостью показывал его своим студентам в ка-

честве образцовой модели пациента, полностью лишенного всех симптомов — всех до единого! — обычно связываемых с тяжелой миастенией да и с любыми неправильностями в работе желчного пузыря. Йоссариан был редкостной разновидностью того, с чем врачам в ходе их медицинской карьеры встречаться доводится не часто, и они просто обязаны были скрупулезно изучить его — человека, лишенного симптомов какого ни на есть заболевания, даже ипохондрии.

Кровь в стуле Йоссариана отсутствовала, однако доктора все равно обследовали его изнутри, сверху и донизу, используя простенькую на вид, посверкивавшую отраженным светом аппаратуру, которая накачивала воздух во всякие его внутренние трубки и протоки, отчего они вздувались и становились более доступными для осмотра. Слуховой аппарат и спинной хребет Йоссариана подвергли компьютерной томографии. И ничегошеньки в них не обнаружили. Даже синусы его всегда были чистыми, а свидетельств артрита, бурсита, ангины и неврита нигде не наблюдалось. Кровяное давление и система дыхания Йоссариана внушали зависть всем врачам, какие его осматривали. Он отдал им мочу, и они ее приняли. Он потребовал уролога, и они вызва-

ли одного для обсуждения этого образца мочи и необходимых разъяснений, равно как и для проливающих на многое свет комментариев касательно Йоссариановых органов размножения: в последние тридцать — сорок лет, застенчиво признался Йоссариан, его стремление к самовоспроизводству, его, так сказать, «либидо», весьма и весьма ослабло в сравнении с пиковым значением, достигнутым оным в его позднем отрочестве и ранней зрелости.

— Мое тоже, — пытаясь утешить, сварливо сказал, когда они обсуждали результаты этого обследования, Леон Шумахер. Сварливость напала на Шумахера потому, что Йоссариан, судя по всему, относился к убыванию его половой потенции с беспечностью, гораздо большей, чем та, какую позволял себе по этой части он, Шумахер. — И простата у меня такая же большая, как у вас.

— Мне-то какое до этого дело? — сварливо осведомился Йоссариан. — Неужели вы думаете, Леон, что меня интересует происходящее с вами? Было время, когда я моим стояком двери мог прошибать. А теперь — вы посмотрите на него, бедолагу.

— Не хочу. Уберите его обратно, Джон. Где вы, по-вашему, находитесь? Да и вообще, жить вечно

вы не будете.

— Именно буду, — выпалил в ответ Йоссариан. — Или умру пытаясь. Я все еще рассчитываю, что вы, медики, сумеете сделать это возможным, хотя моя вера в вас убывает и убывает. Что с вами такое, а? Почему вы топчетесь на месте?

Приходил также лимфолог, чтобы исследовать его лимфу, дерматолог — дерму, эндокринолог — эндокринную систему, психиатр — психику, цистолог — клетки, и нечленораздельно выражавший свои мысли ортопед — ортопедические сочленения. Гематолог дважды удостоверял, что кровь у Йоссариана — лучше не бывает: низкий уровень холестерина, высокий уровень гемоглобина, уровень азота и тот идеален. Специалисты не обнаружили у него ни полипов, ни язвочек, ни хотя бы одной геморроидальной шишки, равно как ни одной проблемы с выделительной и дыхательной системами. Они сочли Йоссариана феноменом и объявили совершенным человеческим существом.

Йоссариан им не поверил.

В биологическом отношении, заявили они, Йоссариан — украшение рода человеческого. Он не поверил и в это. Йоссариан полагал, что у его жены, с которой он не виделся вот уже целый год,

тоже нашлись бы возражения на сей счет.

Приходил еще знаменитый кардиолог, чтобы снять электрокардиограммы Йоссариана и сделать рентгеновские снимки грудной клетки, — и этот тоже ни одного изъяна не обнаружил; приходил патолог, чтобы поискать в нем патологии, — не отыскал; приходил предприимчивый гастроэнтеролог — посидел, поговорил, ушел и сразу вернулся, чтобы узнать мнение Йоссариана относительно креативных инвестиционных стратегий, которые он, гастроэнтеролог, намеревался использовать применительно к своей недвижимости в Аризоне; приходил криптограф, чтобы разобраться в почерке Йоссариана, и, наконец, психолог, чтобы разобраться в его психологии, — этого Йоссариан оставил на сладкое, как последнее прибежище, которое может понадобиться ему, если никто другой надежд не оправдает.

— Думаю, вам я довериться могу, — сказал он психологу. — Мне необходимо знать, не являются ли мои ощущения психогенными. Действительно ли я чувствую себя хорошо и отлично или только воображаю это? Вот что меня тревожит. У меня даже волосы на голове дыбом встают.

— По-моему, когда у человека есть чему вста-

вать, это хорошо.

— Да, но как мне быть с периодическими периодами скуки и усталости, апатии и депрессии? — Йоссариан перешел на быстрый, захлебывающийся шепот. — Я обнаружил, что вполуха слушаю разговоры о том, к чему другие люди относятся очень серьезно. Я устал от информации, которую не могу использовать. Мне хочется, чтобы ежедневные газеты были потоньше и выходили раз в неделю. Творящееся в мире меня больше не интересует. Комедии кажутся мне не смешными, а от романов с души воротит. Ничто не трогает меня так, как когда-то. Дело во мне, или это мир стал таким скучным? Будь я помоложе, мне, наверное, хотелось бы спастись и даже спасти бóльшую часть человечества. А будь помоложе мои дети, я ощущал бы некоторую ответственность и за их спасение. И будь я более близок к моим внукам, считай их достойными любви, я бы, наверное, тревожился за их безопасность и мне хотелось бы плакать. Но я ничего такого не чувствую и уже устал от попыток убедить себя в том, что чувствовать тем не менее должен. Все мои увлечения, все восторги исчерпали себя. Будьте со мной откровенны, док. Я должен знать правду. Моя депрессия — следствие

расстройства психики?

— Это никакая не депрессия, и ничуть вы себя не исчерпали, — откровенно ответил ему психолог, а затем посмотрел на часы и выскочил из палаты Йоссариана, чтобы принять литий[24].

Психолог, как положено, посовещался с главой психиатрического отделения, а тот — с Шумахером и большинством прочих специалистов: все они в один голос твердили, что ничего психосоматического в великолепном здоровье Йоссариана нет, что у него даже волосы на голове и те настоящие.

— На наш взгляд, мистер Йоссариан, — сказал главный врач больницы, говоря от имени всего ее персонала (Леон Шумахер, стоявший с ним рядом, склонив к плечу лысую на три четверти голову, мерно кивал), — вы можете жить вечно.

Под конец второй его больничной недели врачи составили заговор, имевший целью выкурить Йоссариана из больницы. А чтобы он выкурился, положили в соседнюю палату бельгийца. Бельгиец был человеком очень больным и по-английски не говорил, что, впрочем, большого значения не

---

[24] Примечания: 24

Литий входит в состав психотропных препаратов, способных стабилизировать настроение психически больных людей.

имело, потому что ему только что удалили гортань и говорить он не мог вообще, однако он и не понимал по-английски. А это уже имело значение для медицинских сестер и нескольких врачей, и немалое, поскольку не позволяло им общаться с бельгийцем сколько-нибудь плодотворно. Весь день и большую часть ночи у койки несчастного дежурила его бесцветная крошечная жена-бельгийка, одетая в одно из ее наглаженных модных платьев. Разговаривая, она курила сигарету за сигаретой и по-английски тоже ничего не понимала, но непрестанно и истерически лопотала что-то, обращаясь к сестрам и возвышая голос до испуганного визга всякий раз, как ее муж стонал, или задыхался, или засыпал, или просыпался, или пытался выскользнуть из койки и удрать подальше от всех обрушившихся на него горестей и скорбей и от запутанного, нечеловеческого лабиринта аппаратуры, которая поддерживала в нем жизнь и удерживала его на месте. В Соединенные Штаты он приехал, чтобы поправить здоровье, а доктора удалили ему гортань, потому что, оставь они ее, бельгиец наверняка умер бы. Теперь же никто не мог определенно сказать, будет он жить или не будет. Из груди его торчала одна трубка, из живота другая, он нуждался в постоянном бди-

тельном присмотре. Господи, думал Йоссариан, и как только бедняга все это выдерживает?

Йоссариан тревожился за бельгийца куда сильнее, чем ему, Йоссариану, хотелось бы. Сочувствие несчастному сильно угнетало его. Йоссариан шел прямым путем к стрессу, а он знал, что стресс вреден для здоровья. Это тоже тревожило Йоссариана, и в скором времени он начал жалеть и себя.

По нескольку раз в день он выходил из своей палаты в коридор, чтобы заглянуть в соседнюю, посмотреть, что там творится. И каждый раз уже через несколько секунд возвращался, пошатываясь и беззвучно постанывая, к своей койке, валился на нее в приступе головокружения и тошноты и, закрыв лицо рукой, пытался изгнать из головы не желавшую покидать ее картину. А когда вставал и снова заглядывал к бельгийцу, самый загадочный из нескольких присматривавших за Йоссарианом в больнице частных детективов сверлил его недоуменным, вопросительным взглядом. Этот секретный агент был человеком тощим и низкорослым, с землистой кожей и маленькими темными глазками на худом длинном овальном лице, которое казалось похожим на азиатское и напоминало Йоссариану

орех — очищенный миндаль.

«Кто ты, на хер, такой?» — очень хотелось крикнуть, подскочив к нему, Йоссариану.

— Кто-нибудь говорит по-французски? — по десять раз на дню кричали те, кто ухаживал за бельгийцем.

Йоссариан немного говорил на очень плохом французском, однако после нескольких первых мучительных попыток оказать хоть какую-то помощь персоналу и переутомившейся бельгийке, лиф платья которой вечно покрывали бледные пятна сигаретного пепла, решил не в свое дело не соваться и притворился, будто никакого французского не знает. Его беспокоил вопрос о злоупотреблении доверием. Кто может сказать наверняка? А ну как ошибка в переводе обратит его в человека, оказывающего медицинские услуги без всякой на то лицензии? Одно Йоссариан мог сказать точно: если бы ему в его возрасте пришлось терпеть такое в течение четырех или четырнадцати суток просто ради того, чтобы прожить с голосовым аппаратом или без него немного дольше — а сколько именно, Бог его знает, — он, как ему представлялось, предпочел бы с этим делом не связываться. Он просто не вынес бы ни страданий бельгийца, ни близости

неминучей смерти.

Йоссариан был человеком мнительным, легко переносящим чужие симптомы на себя, и знал это. Уже через полдня после появления бельгийца он начал хрипнуть. Температура у него не поднялась, недомогания он не ощущал и никаких видимых признаков воспаления уха, горла или носа, сказал вызванный к нему специалист по уху, горлу и носу, у него не наблюдалось.

Однако на следующий день у Йоссариана запершило в горле. Мало того, он почувствовал, что в горле появился и начал расти с каждой, казалось ему, минутой комок. Йоссариану стало трудно глотать пищу, и хотя опять-таки никаких признаков инфекции или непроходимости пищевода у него не обнаружили, он понимал так же ясно, как понимал все на свете, что если задержится здесь хотя бы на малый срок, а не уберется из больницы как можно быстрее, то в самом скором времени злокачественная опухоль избавит от гортани и его.

2

За стенами больницы все шло по-прежнему. Призывнику-уклонисту по имени Дэн Куэйл

предстояло вскоре стать президентом страны, хоть многие и невзлюбили его за то, что по его вине древняя традиция уклонения от воинского призыва приобрела славу самую дурную. Теперь уже и сам он, появляясь на людях, беззастенчиво отпускал на свой счет застенчивые шуточки. Журналисты смеялись.

И бедняков по-прежнему было хоть пруд пруди. Йоссариан скользнул косвенным взглядом по нескольким из них, проживавшим на тротуаре у стены больницы, когда вышел из ее входной двери и направился к машине и водителю, которых вызвал, чтобы те доставили его через весь город к роскошному высотному жилому дому, в котором он теперь проживал. Дом назывался роскошным, потому что жизнь в нем стоила очень дорого. Комнаты у Йоссариана были маленькие, потолки низкие, окон в двух ванных комнатах не имелось, а возможность втиснуть в кухню кресло или хотя бы стул отсутствовала.

Меньше чем в десяти кварталах от него возвышался автовокзал Управления Нью-Йоркского порта, как официально именовалось это учреждение, и там имелся опорный пункт полиции, а при нем три камеры, куда каждый день набивали задержанных в количествах, которые в

несколько раз превосходили расчетные (в одну из них как-то раз засунули его младшего сына, Майкла Йоссариана, за то, что он вышел из станции подземки с пустой трубкой в зубах да еще и попытался вернуться, ничего за это не заплатив, поскольку сообразил, что покинул поезд, везший его в центр города, где он работал чертежником в архитектурной фирме, слишком рано).

— То был день, — и поныне считал нужным напоминать отцу Майкл, — когда ты спас мою жизнь, но сломил мой дух.

— А ты хотел бы, чтобы я позволил отвезти тебя в центральный участок и завести на тебя дело?

— Если бы они это сделали, я бы умер. Однако смотреть, как ты несешь копов по кочкам и тебе ничего за это не делают, было тяжело. Тем более зная, что сам я на такое не способен.

— Каждый из нас гневается по-своему, Майкл. Не думаю, что мне было из чего выбирать.

— Меня это и до сих пор угнетает.

— И тебе тоже особо выбирать не из чего, верно? У тебя же был старший брат, который вечно тебя гнобил, — решился напомнить ему о существовании своего первенца, Адриана, Йоссариан. — Может быть, в нем все и дело.

— А почему вы его не останавливали?

— Мы и сами не знали, — признался Йоссариан. — Не хотели его гнобить.

— Он и теперь гнобил бы меня, дай я ему такую возможность. А на вас в то время стоило посмотреть. Вы собирали целые толпы зрителей. Некоторые даже аплодировали.

После случившегося тогда оба они чувствовали себя выжатыми как лимон. Ощущение торжества, победы у них отсутствовало. Майкл оказался одним из всего лишь трех белых среди четырех дюжин запихнутых в камеры или прикованных рядом с ними цепями к стене арестованных; двое других были охочими до крэка наркоманами, ошибкой попытавшимися отобрать у полицейского в штатском деньги, на которые они собирались купить наркоту.

К тому времени на автовокзале обитало немалое число людей — постоянное население, состоявшее из мужчин, женщин, сбившихся с пути юношей и девиц, и все они состояли под защитой Конституции США, не дозволявшей выгонять кого бы то ни было из мест общественного пользования, доступ к которым открыт для кого угодно.

На всех этажах автовокзала имелись туалеты с умывальниками, из кранов которых

текла и холодная, и горячая вода, а к туалетам прилагался обширный ассортимент шлюх и гомосексуалистов на любой, какой только можно себе представить, вкус, и магазинчиков, торговавших предметами первой необходимости — жевательной резинкой, сигаретами, газетами и пирожками с повидлом. Туалетная бумага была там бесплатной. На автовокзал регулярно поступали все новые партии многодетных матерей, сбегавших из своих идиллических семейных гнездышек и немедля поселявшихся там, поскольку более безопасного места, дававшего им и приют, и недорогие наркотики, они не нашли бы на всем белом свете. Кроме того, он был постоянным местом базирования уличных проституток. Тысячи жителей пригородов, приезжавших в огромный город на работу, как и сотни его гостей, проходя каждое утро сквозь их толпу и возвращаясь каждый вечер в свои дома, никакого внимания на них не обращали.

Из высоких венецианских окон спальни и гостиной Йоссариана открывался великолепный вид на другой роскошный высотный жилой дом, еще более высокий, чем его, и на разделявшую эти возвышенные строения широкую оживленную улицу, тротуары которой изобиловали к

этому времени все разраставшимися шайками агрессивных и омерзительных попрошаек, проституток, наркоманов, наркоторговцев, сутенеров, грабителей, продавцов порнографии, извращенцев и полностью утративших представление о том, где они и что они, психопатов — все эти люди усердно работали по своим преступным профессиям под открытым небом, в гуще замызганных, опустившихся граждан страны, которые под этим же самым небом просто-напросто жили. Ныне среди бездомных попадались и белые, и они тоже мочились на стены и испражнялись в проулках, коими другие люди их круга пользовались как ночлежками. Время от времени то здесь, то там можно было увидеть пожилые, седовласые супружеские пары, еще продолжавшие цепляться за сохраненные ими мизерные остатки респектабельности, — они сидели бок о бок, чистенькие, с прямыми спинами, в облюбованных ими для ночлега крытых проходах, которые вели к дверям запертых на ночь магазинов, — иногда на стульях, иногда на асфальте, аккуратно спеленутые по губы и глаза шарфами, цветными простынями и одеялами, защищавшими их от рыскавших по тротуарам порывов пыльного ветра, а все, что они скопили за свои долгие жизни,

стояло, свернутое в узлы, у их ног или лежало, распределенное по узлам, сверткам и бумажным пакетам, в успешно уворованных ими где-то магазинных тележках. Йоссариан знал, что и в кварталах почище, соседствующих с Парк-авеню, не составляло никакого труда натолкнуться на женщину, которая сидит, справляя нужду, на корточках посреди ухоженных цветочных клумб, украшающих островки безопасности.

Не возненавидеть их всех было весьма затруднительно.

— Они не голосуют, — заявил мэр, — потому что в избирательном бюллетене необходимо указывать адрес постоянного места жительства, а воспользоваться адресом кого-либо из своих друзей они не могут, потому что друзей у них нет.

— Лучший способ избавления от уличной преступности, — заявил кардинал, — состоит в том, чтобы избавиться от улиц.

— Лучший способ избавления от бедности, — заявила Оливия Мэксон, великосветская дама, прославившаяся главным образом частотой своего появления на знаменитых великосветских благотворительных приемах, — состоит в том, чтобы избавиться от бедняков.

— Вам следует слушать мою жену, когда она так

говорит, — наставительно заявил Йоссариану ее муж, Кристофер, управлявший его деньгами.

— Вы можете верить моему мужу, когда он так говорит, — заявила его жена, — потому что, будь он дураком, не смог бы достигнуть того, чего достиг.

— Вы можете верить моей жене, когда она так говорит.

Таким был Нью-Йорк, «Большое яблоко», имперский город «Имперского штата», финансовое сердце, мозг и мускулатура страны, город, который оказывал величайшее, быть может, если, конечно, забыть о Лондоне, культурное воздействие на весь мир.

За всю жизнь, которую Йоссариан волей-неволей вспоминал очень часто: и в Риме времен войны, и на острове Пьяноса, и даже в разбомбленном Неаполе или на Сицилии, где он побывал во время Второй мировой войны как капитан военно-воздушных сил, — не доводилось ему наблюдать столь отвратительного, вопиющего убожества и мерзостности, какие ныне обступали его со всех сторон. Как не доводилось и наблюдать столь безрадостных сексуальных и иных социальных и профессиональных транзакций, каковые он видел, выглядывая из окна,

совершавшимися десятками в любой час дня и ночи, — сделок между проститутками и их клиентами, продавцами наркоты и ее потребителями, полицейскими и их осведомителями, продавцами и скупщиками краденого. Ни с чем подобным, как Йоссариан цинично признался однажды своему младшему сыну, еще однажды, в больнице, своей новой подружке Мелиссе Веденмюллер и далеко не однажды своей стародавней подружке, не сталкивался он даже на тусклых и пышных благотворительных званых завтраках и торжественных обедах, которые Йоссариан посещал куда чаще, чем ему хотелось, в качестве посла доброй воли его компании и на которые его постоянно приглашали как единственного презентабельного служащего концерна «МиМ. ПиП».

И никто в этом не виноват. Кроме домовладельцев. Банки тут бессильны.

— Нас это не касается, — заявляли чиновники федерального правительства.

— Боже мой, что это?! — воскликнула Фрэнсис Бич, стародавняя подружка Йоссариана, когда они ехали в арендуемом ею лимузине с арендуемым ею водителем с очередного, состоявшегося в Нью-Йоркской публичной библиотеке безликого

дневного приема.

— Автобусный вокзал.

— Для чего он?

— А ты как думаешь?

— Никогда не видела такого убожества.

— Ну да уж. Ты вот подумай: может, стоит устроить здесь следующий показ мод, который ты будешь спонсировать? Во все газеты попадешь.

— Ты это о чем?

— После того как замели моего сына, у меня появилось там несколько добрых друзей. Крепкие связи. А может, даже свадьбу сыграть? Настоящую большую свадьбу, а?

— Перестань шутить, пожалуйста. Великосветская свадьба на автобусном вокзале?

— По-моему, совсем неплохо. Ты же устраивала их в музее, в оперном театре. Вокзал гораздо живописнее.

— Ты, наверное, с ума сошел. Хотя вообще-то мысль интересная. О Господи! — Она вдруг резко выпрямилась. — Нет, ты посмотри на этих людей! Они кто, мужчины или женщины? И почему они делают это прямо на улице? Почему не откладывают до возвращения домой?

— Домов, дорогая моя Фрэнсис, — ответил Йоссариан, — у многих из них просто-напросто нет.

А очереди в уборные на автовокзале слишком длинны. На часы пик места в них приходится заказывать загодя. Иначе на унитаз присесть не удастся. В ресторанах же и отелях в уборные, как то значится на их дверных табличках, допускаются лишь постоянные клиенты. Ты когда-нибудь замечала, Фрэнсис, что люди, которые отливают на улицах, обычно делают это подолгу?

— Нет, не замечала, — ледяным тоном отрезала Фрэнсис. — Ты так ожесточился в последнее время, — добавила она. — Раньше был куда веселее.

— Они уже и до Таймс-сквер добрались. Не желаешь полюбоваться?

— Я даже разговаривать о Таймс-сквер не желаю.

— Но я настаиваю, — пробормотал он.

— Стал таким циничным.

Много лет назад, еще до того как Йоссариан женился, а Фрэнсис вышла замуж, между ними случилось то, что теперь назвали бы романом, хотя ни он, ни она и не подумали бы никогда присвоить столь громкий титул тому, чем они бесперебойно и страстно занимались друг с дружкой.

— Раньше ты была куда сострадательнее, — напомнил он ей теперь.

— И ты.

— И решительнее.

— Ты тоже. А теперь ты такой пессимист, — без особого чувства сообщила она. — И всегда саркастичный, ведь так?

— Не замечал, — скромно ответил он.

— Неудивительно, что нашим мужчинам становится в твоем присутствии не по себе. Они не понимают, что ты на самом деле думаешь. И потом, ты всегда с кем-нибудь флиртуешь.

— Ну уж нет!

— Флиртуешь, — упрямо повторила Фрэнсис Бич, даже не повернув к нему головы, чтобы подчеркнуть справедливость своих слов. — Почти со всеми, кроме меня. Да ты и сам отлично знаешь, кто флиртует, а кто нет. Патрик и Кристофер не флиртуют. А ты флиртуешь. Всегда.

— Ну, обычно я ничего такого в виду не имею. Это я так шучу.

— Но женщины-то наши не знают об этом, Джон. Они думают, что у тебя есть по молодой любовнице на каждый день недели.

— По любовнице? — Йоссариан обратил звучание этих слов в помесь фырканья с гоготком. — Да у меня и одной-то нет.

— Подружка, партнерша. Как ты предпочита-

ешь их называть?

— Мне и одной было бы многовато.

Фрэнсис Бич рассмеялась. Напряженность, проступавшая в ее позе последние несколько минут, казалось, растаяла. Им обоим было уже за шестьдесят пять. Йоссариан знал ее, когда она еще звалась Франни. А она помнила времена, когда его называли Йо-Йо. С той поры они больше друг с дружкой не баловались — даже после того как она стороной узнала, что Йоссариан живет теперь один.

— Похоже, этих бедных, ужасных людей повсюду становится все больше и больше, — устало пробормотала она с отчаянием, управлять которым ей, как она ясно давала понять, ничего не стоит. — И что ни час, они делают на улицах какие угодно невообразимые вещи. Месяц назад у Патрика обчистили карманы прямо перед нашим домом, а проститутки стоят теперь день и ночь на каждом углу. Вот ты всегда все знал, Джон. Скажи, что с ними можно сделать?

— Ничего, — с готовностью обнадежил ее Йоссариан.

Все и так идет хорошо, напомнил он ей: на сей раз очень бедны лишь бедняки, а потребность в новых тюремных камерах намного острее

потребности в бездомных. Йоссариан не стал добавлять к этому, что сам он в гораздо большей, чем прежде, мере принадлежит ныне к солидному среднему классу, которому вовсе не улыбается платить повышенные налоги ради улучшения качества жизни тех, кто не платит никаких. Строительство новых тюрем представлялось ему более предпочтительным.

Вторая жена Йоссариана все еще разводилась с ним. Всех его детей родила первая. А во втором супружестве, лет через шесть-семь после того, как он перестал заводить шашни на стороне, жена принялась обвинять его в том, что он их заводит, а когда Йоссариан устал наконец от ее обвинений, велела ему убираться, что он в итоге и сделал.

Его властная, много чего добившаяся в жизни дочь Джиллиан разводилась с мужем, добившимся много меньшего.

Его старший сын Адриан тоже много чего добился, став на Уолл-стрит большой шишкой небольших размеров, и теперь он и его жена жили в отдельных крыльях их устаревшего пригородного особняка, а адвокаты обоих уже готовы были предъявить иск и встречный иск о разводе, пытаясь между тем достичь невозможного

— разделить имущество и детей так, чтобы обе стороны остались совершенно довольны.

Йоссариан чувствовал, что осложнения назревают и в супружеской жизни его второго сына, Джулиана, химика без ученой степени, работавшего в штате Нью-Джерси у производителя косметики; его жена поступила на образовательные курсы для взрослых.

Майкл, неженатый и все еще не имевший постоянного места работы, пошутил однажды, что собирается начать откладывать деньги, которые понадобятся ему для развода, прежде чем начнет копить те, которые понадобятся для женитьбы, и Йоссариан с трудом воздержался от ответной остроты насчет нешуточности этой шутки.

Майкл нравился женщинам, в особенности тем, что уже побывали замужем, — они какое-то время жили с ним под одной крышей, потому что Майкл был человеком миролюбивым, понимающим, нетребовательным, а потом уставали от такой жизни и съезжали от него, потому что он был человеком миролюбивым, понимающим, нетребовательным и оттого неинтересным. Йоссариан питал к нему уважение, подозревая, что тихоня Майкл прекрасно понимает, что делает — и в смысле женщин, и в смысле работы.

Когда Майклу требовались деньги, он брал, как свободный художник, заказы у разного рода организаций и журналов, или заключал договор с какой-нибудь художественной студией, или с чистой совестью принимал нужную ему сумму от Йоссариана.

* * *

Слежка за Йоссарианом так и продолжалась. Об этом свидетельствовал маленький белый «фиат», стоявший на улице у его дома — там, где стоянка была запрещена; водитель «фиата», один только раз встретившись с Йоссарианом глазами, немедленно укатил; о том же свидетельствовала и красная малолитражная «тойота», появившаяся полчаса спустя по другую сторону его авеню — там, где стоянка была запрещена, — на расстоянии в полквартала от знакомого Йоссариану по больнице тощего секретного агента с невнятно азиатской физиономией — этот большую часть времени прятался за журналом мод и работал, похоже, в паре со своим помощником французом, который держался в отдалении: поедал круассаны и попивал кофе, одиноко сидя за щеголеватым белым, кованого железа, столиком зеленого углового кафе («Кофе и свежая паста»).

На следующий день объявился новый агент — здоровенный костлявый американец с морковного цвета, коротко остриженными волосами, позволявшими с первого взгляда распознать в нем американца, приехавшего в город откуда-то издалека, или одного из тех работающих под прикрытием оперативников, что нарочно обзаводятся внешним обликом, позволяющим человеку с наметанным глазом мгновенно узнавать в них агентов в штатском, служащих в одном из государственных органов охраны правопорядка. Затем возник неизменно погруженный в раздумья ортодоксальный еврей, который то ли жил где-то по соседству и каждые два примерно часа выходил на долгую одинокую прогулку, каковую совершал, низко склонив голову и сцепив за спиной руки, то ли тоже был тайным агентом, действовавшим исходя из некоего скрытого мотива, постичь который Йоссариану оказалось не по силам. Под конец недели к ним добавился еще один долговязый рыжий детектив, работавший попеременно с первым, а на автоответчике Йоссариана обнаружилось сообщение от Мелиссы: пациент-бельгиец, присутствие которого в соседней палате выкурило его из больницы, жив, но страдает от сильных болей, температура же

несчастного вернулась к нормальной.

Йоссариан голову дал бы на отсечение, что бельгиец уже помер.

Он мог худо-бедно объяснить происхождение лишь двух из этого множества «хвостов»: одного скорее всего нанял адвокат разъехавшейся с ним жены, а другого — импульсивный, разъехавшийся с женой муж женщины, с которой Йоссариан пару раз обменивался двусмысленными шуточками и рассчитывал обменяться снова, но уже наедине; муж, развивший бурную деятельность, чтобы добыть доказательства ее супружеской измены, которые составили бы противовес уже добытым ею доказательствам его супружеской измены, приставил по детективу к каждому из знакомых ей мужчин.

Присутствие же прочих агентов не давало Йоссариану покоя, и, перетерпев несколько дней все нараставшее в нем озлобление, он взял быка за рога и позвонил в офис своей компании.

— Новости есть? — такими словами начал он разговор с тамошней мелкой сошкой, бывшей также его начальником.

— Насколько мне известно, нет.

— Вы говорите правду?

— По мере сил и способностей.

— И ничего от меня не утаиваете?

— Насколько я в состоянии судить, нет.

— А если бы утаивали, сказали бы мне об этом?

— Сказал бы, если бы мог.

— Хорошо, Эм-два, — сказал Йоссариан Мило Миндербиндеру II, — когда ваш отец позвонит сегодня, скажите, что мне нужен хороший частный детектив. У меня к нему личное дело.

— Отец уже звонил, — ответил Мило-младший. — Он рекомендует вам человека по имени Джерри Гаффни, работающего в агентстве под названием «Агентство Гаффни». Но только ни при каких обстоятельствах не говорите ему, что его кандидатуру предложил мой отец.

— Неужели он все это уже сказал? — потрясенно спросил Йоссариан. — Но как он узнал, о чем я попрошу?

— Этого я знать не могу.

— Ладно. А как вы себя чувствуете, Эм-два?

— Трудно сказать.

— Я имею в виду — вы лично. Все в порядке?

— Если бы что-то было не в порядке, разве стал бы я говорить вам об этом?

— Но сейчас скажете?

— Это зависит…

— От чего?

— От того, могу ли я говорить вам правду.

— Так вы сказали бы мне правду?

— Да разве я знаю, в чем она состоит?

— А соврать мне могли бы?

— Только если бы знал правду.

— Спасибо, что честны со мной.

— Так велел мне отец.

— Мистер Миндербиндер сообщил мне о вашем предстоящем звонке, — ответил на звонок Йоссариана жизнерадостный голос, принадлежавший человеку по имени Джерри Гаффни.

— Интересно, — сказал Йоссариан. — Это какой же из мистеров Миндербиндеров?

— Мистер Миндербиндер-старший.

— Очень интересно, — несколько более жестким тоном сказал Йоссариан. — Дело в том, что Миндербиндер-старший настаивал, чтобы я, когда буду звонить вам, имени его не упоминал.

— А это мы проверяли, умеете ли вы хранить тайну, — легко сообщил мистер Гаффни.

— Но вы же не дали мне возможности пройти вашу проверку, верно? — спросил Йоссариан.

— Я доверяю моим клиентам и хочу, чтобы все они знали: каждый из них всегда может доверять мне. А без доверия что у нас останется? Лично у

меня все на виду. Могу не сходя с места дать вам хорошее доказательство этого, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вам следует знать, если вы не в курсе, что мой телефон прослушивается. Для вас это новость?

У Йоссариана даже дыхание перехватило от гнева.

— Прослушивается? Да? И каким же образом вы так скоро об этом узнали?

— Это мой телефон, и я хочу чтобы он прослушивался, — очень тихо ответил мистер Гаффни. — Теперь понимаете? Вы можете мне доверять. Наш разговор записываю только я, больше никто.

— А мой телефон тоже прослушивается? — счел нужным спросить Йоссариан. — Я часто произвожу деловые звонки.

— Так, сейчас посмотрю. Да, ваши деловые звонки прослушиваются. Не исключено, что и в квартире у вас полно «жучков».

— Мистер Гаффни, откуда вы можете знать об этом?

— Называйте меня «Джерри», мистер Йоссариан.

— Откуда вы можете знать об этом, мистер Гаффни?

— Да оттуда, что я сам поставил его на прослушку, мистер Йоссариан, и вполне мог сам же и насовать в вашу квартиру «жучков». Позвольте дать вам один совет. У каждой стены могут отрасти уши. Поэтому, если хотите поговорить конфиденциально, говорите только рядом с краном, из которого льется вода. Занимайтесь сексом только в уборной или на кухне; ну, можно еще полюбить кого-нибудь под кондиционером с включенным на полную вентилятором. Вот, правильно! — весело воскликнул он, после того как Йоссариан перешел со своим переносным телефоном на кухню и, чтобы сделать их разговор конфиденциальным, отвернул до упора оба крана. — Теперь нас никто не подслушает. Я и сам-то едва вас слышу.

— А я ничего и не говорю.

— Научитесь читать по губам.

— Мистер Гаффни…

— Зовите меня «Джерри».

— Итак, мистер Гаффни, вы прослушиваете мой телефон и насовали «жучков» в мою квартиру?

— Мог насовать. Я попрошу одного из моих штатных детективов проверить это. Я ничего не скрываю. Только так и можно сохранять мою работу в секрете. И теперь вы знаете, что можете

мне доверять. Я полагал, что вам известно, прослушивается ли ваш телефон, есть ли в квартире «жучки», находится ли ваша почта, поездки и банковские счета под постоянным наблюдением.

— Срань господня! Да мне вообще неизвестно, что мне известно!

И Йоссариан, впитав всю эту пренеприятнейшую информацию, испустил долгий стон.

— Старайтесь видеть во всем и хорошую сторону, мистер Йоссариан, если сумеете ее отыскать. Старайтесь непрерывно. Вам ведь, насколько я знаю, предстоит в скором времени бракоразводный процесс, так? А исход его всегда можно в очень большой степени считать гарантированным, если, конечно, у сторон находятся средства на оплату наших услуг.

— Вы и этим занимаетесь?

— Я много чем занимаюсь. Однако сейчас речь у нас идет всего лишь о вашей компании. Почему вас должно заботить, что слышит ваша компания, а чего не слышит, если вы никогда не говорите того, чего ей, по вашему мнению, знать не следует? Ведь если «МиМ. ПиП» знает все, ей это только на пользу идет, верно? Вы же и сами так считаете, да?

— Нет.

— Нет? Вы сказали «нет»? Не забывайте, мистер Йоссариан, я все это записываю, хотя с удовольствием сотру любую часть записи, какую пожелаете, если вам от этого станет легче. Но как вы можете питать какие-либо сомнения относительно «МиМ. ПиП»? Ведь вы же сами способствуете ее процветанию. Разве не каждый способствует ее процветанию?

— Я никогда не делал официальных заявлений такого рода, и сейчас не собираюсь. Когда мы с вами сможем начать, мистер Гаффни?

— А мы уже начали, мистер Йоссариан. Синьор Гаффни ничего в долгий ящик не откладывает. Я времени зря не трачу. Вы скоро и сами это поймете. Я уже затребовал у правительства, сославшись на закон о свободе информации, все касающиеся вас документы и вот-вот получу от одного из лучших частных бюро по отслеживанию потребительского кредита вашу кредитную историю. Для начала неплохо, а?

— Я нанимаю вас не для того, чтобы вы копались в моем белье!

— Но мне же нужно выяснить, что им о вас известно, прежде чем я попытаюсь выяснить, кто они такие. Сколько, вы говорите, их за вами таскается?

— Я насчитал самое малое шестерых, хотя двое или четверо, возможно, работают в паре. И еще я заметил, что разъезжают они в дешевых машинах.

— Эконом-класса, — поправил его Гаффни и пунктуально пояснил: — Это чтобы оставаться неприметными.

Он начинал производить на Йоссариана впечатление человека до крайности дотошного.

— Стало быть, шесть? «Шесть» — хорошее число, тут есть с чего начать, — радостно продолжил Гаффни. — Да, число очень хорошее. О нашей личной встрече вам пока лучше забыть — за мной тоже нередко следят. Мне не хочется, чтобы кто-то из них взял мой след и догадался, что я работаю на вас, — если, конечно, не выяснится, что они работают на меня. Я предпочитаю находить решение до того, как столкнусь с проблемой. Так, теперь выключите, пожалуйста, воду, если у вас хватит на это решимости, ладно? А то она начинает меня допекать. Я уже охрип в стараниях перекричать ее, да и вас почти не слышу. Строго говоря, при разговорах со мной она вам не нужна. Ваши друзья называют вас «Йо-Йо», так? А некоторые даже «Джон»?

— Только самые близкие, мистер Гаффни.

— Господи, да зовите вы меня «Джерри».

— Должен вам сказать, мистер Гаффни, разговор с вами сильно действует мне на нервы.

— Будем надеяться, что это изменится, мистер Йоссариан. Если позволите сказать это, донесение вашей сестры доставило мне большое удовольствие.

— Какой еще сестры? — удивился Йоссариан. — У меня нет сестры.

— Мисс Мелиссы Веденмюллер, сэр, — учтиво пояснил Гаффни, понизив голос и кашлянув, мягко и неодобрительно.

— Вам и о ней известно?

— Так они у нас все под колпаком. Пациент выживает. Никаких признаков инфекции.

— По-моему, это феноменально.

— Рад, что смог порадовать вас, мистер Йоссариан.

А о капеллане так и не было ни слуху ни духу: явившиеся к нему неизвестные лица поместили его на предмет исследований и допросов в какое-то секретное место, после того как капеллан, неожиданно вспомнивший про закон о свободе информации, четыре месяца назад отыскал Йоссариана в больнице и вторгся в его жизнь с проблемой, решить которую он, капеллан, само-

стоятельно не мог и считал, что никому на свете, кроме Йоссариана, доверить ее нельзя. Без какого-либо предуведомления — Йоссариан пытался предупредить его по телефону, но опоздал на полдня — капеллана схватили прямо у него на дому, в городе Кеноша, штат Висконсин, и утащили куда-то, чтобы посадить под стражу, агенты, которые занимались вопросами настолько секретными и имевшими такое значение для национальной безопасности, что они не могли, по их словам, даже и сказать, кто они такие, не поставив под угрозу собственную секретность или секретность имевшего огромное значение для национальной безопасности агентства, сотрудниками которого они, по их словам, являлись. Одевались все они хорошо и производили впечатление людей прямых и честных — таких, которые врать не стали бы. Мужчинами они были крупными, их было много, а в словах и жестах их сквозила привычная властность.

Полиция Кеноши оказалась бессильной против них и не помешала увезти капеллана.

В день, когда капеллан пришел к нему, Йоссариан лежал, прислонившись спиной к задней, приподнятой на день секции своей больничной койки, и с негодующей враждебностью смотрел,

как дверь его палаты приоткрывается дюйм за дюймом после робкого постукивания, которое он хорошо расслышал, но отвечать на которое не стал. Затем в щели появилось ласковое лошадиное лицо с шишковатым лбом, редеющими соломенными волосами и застенчиво вглядывавшимися в Йоссариана глазами — худое, костлявое лицо, высокие изящные скулы и глаза в красноватых веках, счастливо вспыхнувшие и расширившиеся в восторженном изумлении при виде Йоссариана.

— Я знал! — радостно выпалил обладатель этого лица. — Мне все равно хотелось еще раз увидеться с вами! Я не сомневался, что узнаю вас с первого взгляда!

— А кто ты, на хер, такой? — строго спросил, не сводя с него гневного взгляда, Йоссариан.

Ответ он получил мгновенно.

— Капеллан, Тапман, Тапман, капеллан Тапман, Альберт Тапман, — затараторил капеллан Тапман. — Капеллан Альберт Тапман. Пьяноса. Пьяноса? Воздушная армия? Вторая мировая? Помните?

Йоссариан, когда до него дошел наконец смысл всех этих слов, радостно вскрикнул, узнав капеллана, и одарил его опасливой, благожелательной

улыбкой.

— Черт, кто бы мог подумать? Входите, входите. Ради Бога, присаживайтесь. Ну как вы?

Капеллан послушно присел, на лице его появилось встревоженное выражение, и он негромко ответил:

— Я начинаю думать, что не очень хорошо… нет, возможно, не очень.

— Не хорошо? Тогда, значит, плохо, — заключил Йоссариан, испытывая к капеллану благодарность за то, что он того и гляди возьмет да и перейдет к сути дела. — Ладно, в таком случае скажите мне, капеллан, что привело вас ко мне.

— Беда, — просто ответил капеллан.

— Причина куда более уважительная, чем те, что называют другие мои посетители.

— Мне кажется, это серьезно. А я не могу понять, в чем дело.

Уразумев, что ни один из множества устрашающих визитеров, прибывавших в Кеношу с официальным заданием расспросить капеллана о его проблеме, не склонен, судя по всему, помочь ему понять, в чем она состоит, он вспомнил про Йоссариана и про закон о свободе информации. А затем, разузнав, как сложилась после войны жизнь Йоссариана, раздобыв его адрес и номер

карточки социального страхования, приехал из Висконсина на Манхэттен, нашел его дом, и там уборщица гаитянского происхождения уведомила капеллана, что Йоссариан здесь больше не живет, и направила его к высотному многоквартирному дому в манхэттенском Вест-Сайде, где он узнал от одетого в униформу швейцара, что искать Йоссариана следует в больнице, в которую он несколько дней назад обратился с жалобами на бессонницу, кишечные колики, треморы, тошноту, зноблИвость и диарею, — все эти немочи постигли его, как только он услышал неутешительную новость о том, что президент Буш намерен подать в отставку, уступив свой пост Куэйлу.

Добравшись до двери, ведшей в палату Йоссариана, капеллан целую минуту простоял, ошеломленно вглядываясь в табличку на ней, в скупых словах сообщавшую, что посетители в палату не допускаются, а тех, кто нарушит это установление, пристрелят на месте.

— Да входите уже, — потребовала белокурая грузная медсестра, которая и привела его сюда. — Это у него шутки такие.

Вернувшись в Висконсин, капеллан провел дома не больше одного-двух дней, а затем на

голову ему без какого-либо предупреждения свалился, чтобы схватить его, целый отряд дюжих секретных агентов в темных костюмах, белых рубашках с узенькими воротниками и неброских однотонных галстуках. Ордера на арест у них не имелось. Они сказали, что ордер им не требуется. Ордера на обыск не имелось тоже, но они все равно обыскали дом, а потом еще много раз возвращались, чтобы снова обыскать его от конька крыши до фундамента. По временам им сопутствовали команды техников со странными ранцами на спинах, в белых одеждах, перчатках и хирургических масках — техники брали пробы почвы, краски, древесины и воды. Соседи только диву давались.

Проблемой капеллана была тяжелая вода. Он ею мочился.

— Боюсь, это правда, — неделю спустя доверительно сообщил Йоссариану Леон Шумахер, получивший наконец из больничной лаборатории результаты анализа мочи. — Откуда у вас этот образец?

— От знакомого, который был у меня на прошлой неделе. Вы тогда заглянули в мою палату и увидели его.

— А он где его раздобыл?

— В собственном мочевом пузыре, полагаю. А что?

— Вы уверены?

— Как же я могу быть уверен? — ответил Йоссариан. — Он зашел в уборную, закрыл за собой дверь. Я за ним не подглядывал. Да и где он мог его раздобыть?

— В Гренобле. А еще вернее, в Джорджии или в Южной Каролине. Там большую ее часть и производят.

— Большую часть чего?

— Тяжелой воды.

— Какого дьявола это значит, Леон? — пожелал узнать Йоссариан. — Они там, внизу, абсолютно уверены? Ошибки быть не может?

— Судя по тому, что я прочитал в их отчете, ни малейшей. То, что она тяжелая, им стало ясно сразу. Чтобы поднять пипетку с ней, потребовались усилия двух мужчин. Еще бы они не были уверены! У него в каждой молекуле воды по дополнительному атому водорода сидит. Вам известно, сколько молекул содержится всего лишь в нескольких унциях? Ваш знакомый должен весить фунтов на пятьдесят больше, чем ему можно дать по виду.

— Послушайте, Леон, — сказал Йоссариан,

наклонившись к нему и опасливо понизив голос. — Вы ведь сохраните это в тайне, правда?

— Конечно, сохраним. Мы же все-таки больница. Мы никому ничего не скажем, только федеральному правительству.

— Правительству? Так ведь оно-то его сильнее всего и донимает! Его-то он пуще всего и боится!

— Таков наш долг, Джон, — провозгласил Леон Шумахер с обычной сокрушенностью обладателя образцового врачебного такта. — Лаборатория послала образец в радиологию, чтобы та подтвердила его безопасность, а радиология обязана извещать обо всех случаях обнаружения подобных веществ комиссию по ядерному надзору и министерство энергетики. В мире нет ни одной страны, Джон, которая позволяет кому бы то ни было производить тяжелую воду без соответствующей лицензии, а этот малый по нескольку раз на дню производит ее целыми квартами. Дейтерий — это динамит, Джон.

— Он опасен?

— В медицинском отношении? Кто его знает. Поверьте, я ни о чем подобном в жизни не слышал. А вот вашего знакомого могут засечь. И превратить в атомную бомбу. Вы должны предостеречь его, и как можно скорее.

Ко времени, когда Йоссариан позвонил отставному капеллану ВВС США Альберту Тапману, чтобы предостеречь, в доме осталась только бившаяся в истерике и обливавшаяся слезами миссис Тапман. Капеллан исчез лишь несколько часов назад, и теперь какое-то неизвестное правительственное учреждение держало его под стражей в неизвестном месте. С того дня она его больше не видела и не слышала, хотя каждую неделю миссис Карен Тапман пунктуально уведомляли, что муж ее чувствует себя хорошо, и не скупясь перечисляли ей суммы, намного превышавшие те, что он получал бы каждую неделю, если бы остался на свободе.

— Я попытаюсь выяснить что смогу, миссис Тапман, — обещал Йоссариан при каждом разговоре с ней. Адвокаты, с которыми она консультировалась, ей не поверили. Полиция Кеноши включила имя капеллана в реестр пропавших без вести, но демонстрировала скептицизм. У миссис Карен было трое взрослых детей, однако и те сомневались в правдивости ее рассказов о случившемся, хоть и не дали бы ни цента за гипотезу полицейских, согласно которой капеллан сбежал с другой женщиной. — Но не думаю, что смогу выяснить многое.

— Еще раз спасибо вам, мистер Йоссариан. Пожалуйста, называйте меня «Карен». Мне кажется, что я так хорошо вас знаю.

— Называйте меня «Йо-Йо».

— Спасибо, Йо-Йо.

Пока Йо-Йо Йоссариану удалось выяснить только одно: если капеллан и представлял какую-либо ценность для его официальных похитителей, то всего-навсего денежную, военную, научную, промышленную, дипломатическую и международную.

А выяснил он это у Мило Миндербиндера.

— Тяжелая вода? — переспросил Мило, когда Йоссариан, окончательно впав в отчаяние, второй раз в жизни обратился к нему за противозаконной помощью в касавшемся правительства деле. — По какой цене продается тяжелая вода?

— Цена все время меняется, Мило. По большой. А газ, который из нее получают, стоит еще дороже. Сейчас один ее грамм идет примерно за тридцать тысяч долларов. Но дело вовсе не в этом.

— Грамм — это сколько?

— Около одной тридцатой унции. Но дело вовсе не в этом.

— Тридцать тысяч долларов за одну тридцатую унции? Ничем не хуже наркотиков, а? — Мило

произнес это, задумчиво вглядываясь в некую даль, каждый карий глаз его смотрел в свою сторону, а усы подергивались в такт беззвучной каденции сосредоточенного внимания. — А спрос на тяжелую воду большой?

— Она нужна каждой стране. Но дело совсем не в этом.

— Где ее используют?

— Главным образом в ядерной энергетике. И в атомных боеголовках.

— Так это даже и лучше наркотиков, — зачарованно произнес Мило. — Ты мог бы сказать, что производство тяжелой воды — это развивающаяся индустрия, ни в чем не уступающая незаконной торговле наркотиками?

— Я не назвал бы производство тяжелой воды развивающейся индустрией, — покривившись, ответил Йоссариан. — Однако речь не о том. Мне необходимо выяснить, где он, Мило.

— Где кто?

— Тапман. Я с тобой о нем говорю. Он служил в армии капелланом, вместе с нами.

— Я с кем только в армии не служил.

— Он дал тебе хорошую характеристику, когда ты едва не загремел под трибунал, разбомбив нашу авиабазу.

— Мне кто только хорошие характеристики не давал. Тяжелая вода? Да? Так она называется? А что за газ?

— Тритий. Но дело совсем не в этом.

— Да. Пожалуй, она может представлять для меня интерес. Кто ее производит?

— Капеллан Тапман, к примеру. Мило, я хочу отыскать его и вернуть домой, пока с ним чего-нибудь не случилось.

— А я хочу помочь тебе отыскать его, — сказал Мило, который уже успел внедрить одного из своих директоров по маркетингу в команду, проводившую секретные проверки и допросы капеллана.

— Как тебе это удалось? — изумленно спросил Йоссариан.

— Пустяк дело, — ответил Мило. — Я просто сказал, что этого требуют национальные интересы.

— А они этого требуют?

— Что хорошо для «МиМ. ПиП», хорошо и для нации, ведь так? — ответил Мило и немедля укатил вместе с Юджином Уинтергрином в Вашингтон, на вторую презентацию задуманного им нового засекреченного бомбардировщика, который летал быстрее звука, не производил никакого шума и всегда оставался невидимым.

3

— Его невозможно услышать и невозможно увидеть. Он не производит никакого шума и всегда остается невидимым. Он будет летать быстрее звука и медленнее звука.

— Потому вы и называете его сверхподзвуковым?

— Да.

— А когда он должен летать медленнее звука?

— Когда приземляется и когда взлетает, к примеру.

— А иногда для экономии топлива, если она предпочтительна.

— Спасибо, мистер Уинтергрин.

— А быстрее света он летать будет? — спросил с дальнего конца полукруглого орехового стола носивший бифокальные очки без оправы генерал самого мелкого пошиба, один из двенадцати военных чиновников в мундирах, сидевших в идеальной симметрии — по шестеро с каждой стороны — от особы самого высокого ранга, расположившейся в центре стола точно монарх, верховный жрец или генеральный директор корпорации.

— Почти так же быстро.

— Примерно так же.

— Возможно, нам удастся добиться, чтобы он летал быстрее света, если вы полагаете, что вам это понравится.

— Посредством всего лишь нескольких простых модификаций, если вы полагаете, что считаете это самым лучшим.

— Вероятно, в результате немного возрастет потребление топлива, но это не существенно.

— Быстрее света? Мне нравится, как это звучит, мистер Миндербиндер. Мне нравится, как это звучит.

— Нам тоже, сэр. Нам тоже.

— Минуточку, мистер Миндербиндер, всего одну минуточку, прошу вас. Позвольте спросить вас кое о чем, — неторопливо вмешался в разговор озадаченный полковник с повадками настоящего профессионала, всего месяц назад получивший от прославленного технологического института степень почетного доктора физики, после того как потратил немалых размеров научно-исследовательский грант на то, чтобы получить от этого института ученую степень, которая наделила его компетентностью, позволившей полковнику стать куратором данного проекта. — Я кое-чего

не понял. Почему ваш бомбардировщик будет бесшумным? У нас уже имеются сверхзвуковые самолеты, не так ли? Но ведь они создают сверхзвуковые хлопки, разве нет?

— Бесшумным он будет для экипажа, полковник Пикеринг, — услужливо пояснил Мило Миндербиндер.

— Если только он не сбавит скорость и не позволит звуку нагнать его, — добавил экс-рядовой первого класса Уинтергрин.

— Но какое значение может иметь для врага, слышит экипаж нашего самолета шум, создаваемый его самолетом, или не слышит?

— Для врага это может значения и не иметь, но для экипажа имеет. Некоторым экипажам придется проводить в полете долгое время, месяц за месяцем, если, конечно, будет принята рекомендованная мной процедура дозаправки топливом в полете.

— Даже год за годом, если такой окажется стратегическая задача, — для этого мы разработаем самолеты-заправщики дальнего радиуса действия, которые будут летать так же быстро.

— И тоже будут невидимками?

— Разумеется.

— Если вам так хочется.

— И не будут создавать никакого шума?

— Экипаж его не услышит.

— Если не сбавит скорость.

— Я понял, мистер Уинтергрин. Все это очень умно.

— Благодарю вас, полковник Пикеринг.

— А насколько велик экипаж вашего оборонительного штурмовика-бомбардировщика ответного удара? — спросил сидевший по другую сторону стола майор.

— Всего два человека.

— Это хорошо. То есть мне так кажется. А может, и не хорошо. Похоже, нам придется хорошенько потрудиться над этой проблемой.

— Подготовка двоих обойдется дешевле, чем подготовка четверых.

— Думаю, что вы, возможно, и правы, мистер Миндербиндер.

Особа, располагавшаяся в центре стола, с удобством устроившись в кресле, которое на полфута возвышалось над всеми прочими, прервала этот диалог, покашляв и тем официально изъявив намерение вступить в дискуссию, — похоже, у нее наконец нашлось что сказать. В комнате наступила тишина. На протяжении более чем двадцати минут особа сохраняла растерянный вид чело-

века, погрязшего в одиноких обременительных раздумьях, — челюстные мышцы ее работали неустанно и методично, словно она пережевывала некую грубую пищу для ума. Особой этой был загорелый мужчина с худощавым лицом и таким же торсом — из всех, кто находился в комнате, он выглядел наиболее пригодным — физически то есть — для военной службы.

— Разве свет движется? — наконец спросил он.

— О да, свет, несомненно, движется, генерал Заблдыгер, — быстро ответил Мило Миндербиндер.

— Быстрее всего, — поддержал его экс-рядовой первого класса Уинтергрин. — Свет самая быстрая штука на свете.

— И одна из самых ярких.

Заблдыгер перевел полный сомнения взгляд на шестерых подчиненных, сидевших слева от него, — четверо из них закивали в подтверждение сказанного.

— Вы уверены? — спросил он, нахмурившись и обратив серьезное, надменное лицо к шестерым подчиненным, сидевшим справа.

Двое покивали, один пожал плечами.

— Это странно, — неторопливо произнес Заблдыгер, вяло улыбнувшись, а затем издав и короткий, скучливый, насморочный смешок. —

Вон там, на столике, стоит лампа, и, насколько я могу судить, ничего в ней не движется.

— Это потому, что свет движется слишком быстро. — мигом нашелся Мило.

— Быстрее света, — добавил Уинтергрин.

— Когда свет движется, его не видно, — объяснил командиру один из его подчиненных — с таким страхом, точно ставил на кон свою жизнь.

— Совершенно верно, майор, благодарю вас, — подтвердил, быстро покивав, Мило.

— Не за что, мистер Миндербиндер.

— Тут все как с выпущенной из винтовки пулей, — сказал Уинтергрин. — Пока пуля летит, ее не видно, но стоит ей попасть в мишень, и вы сразу понимаете: она летела.

— Если, конечно, мишень не вы сами.

— А свет виден, только когда его нет, — сообщил Мило.

— Позвольте, я покажу, — предложил Уинтергрин, вскакивая на ноги с видом человека, потерявшего всякое терпение. Он подошел к столику и выключил лампу, погрузив угол комнаты, в котором она стояла, в полумрак. — Видите?

— Да, теперь я вижу, что вы имели в виду, Джин, — сказал Заблдыгер, и все присутствующие закивали, придя в кои-то веки к согласию. — Да,

я начинаю видеть свет. А? Все просекли?

И когда затих смех, громкий и безразличный, мечтательно продолжил:

— Если бы мы смогли обучить наших солдат маршировать на парадах со скоростью света, это было бы большим достижением, верно? Такое и Объединенному комитету показать было б не стыдно, не так ли?

— Но, правда, — нахально поправил его не успевший толком подумать и вылезший со своей поправкой, пока все остальные еще продолжали кивать, тощий молодой подполковник, который сидел в самом конце стола, — мы не смогли бы их увидеть, ведь так?

— Если бы они перемещались со скоростью света, боюсь, не смогли бы.

— Эту идею стоит обдумать, — сказал, приходя Заблдыгеру на помощь, Мило. — Вы можете просто сказать Объединенному комитету и всем остальным, кто присутствует на параде, что солдаты маршируют с огромной скоростью, и никто не станет с вами спорить. Вы получите всеобщее признание, не ударив пальцем о палец. Солдат даже обучать ничему не придется, верно?

— А на парад их выводить обязательно?

— Нет, они же все до единого будут во время

парада невидимками. Если они станут маршировать так быстро, то и вовсе вам не понадобятся.

— Эту идею стоит обдумать, Мило, — невидимый парад, на котором никто не марширует. Такой можно будет устроить во время инаугурации.

Рассудив так, генерал Заблдыгер махнул рукой на военную выправку и расслабленно скособочился, облокотившись о подлокотник своего кресла.

— А скажите нам попросту, Мило, как будет выглядеть ваш самолет?

— На радаре? Никак не будет. Даже когда его полностью оснастят ядерным оружием.

— Нет, для нас. На фотографиях и чертежах. Когда мы захотим им похвастаться.

— Попросту говоря, генерал, наш самолет представляет собой «летающее крыло», оснащенное таким же тяжелым арсеналом ядерного оружия, как «Стелс Б-2». Только никому об этом не говорите.

— «Стелс Б-2»?! — воскликнул Заблдыгер и потрясенно выпрямился.

— Но лучше «Стелса», — поспешил добавить Мило.

— Намного лучше, о, намного-намного лучше

«Стелса»! — поддержал его Уинтергрин.

Заблдыгер немого поразмыслил (все прочие замерли), затем обмяк и снова припал к подлокотнику.

— Я думаю, Мило, всем нам понравилось то, что мы сегодня от вас услышали. Лучше «Стелса»? На это я и рассчитывал. Если нам удастся наладить выпуск ваших самолетов, пока все прочие пытаются выковырять хоть что-то из-под обломков их «Стилса», это безусловно станет моим триумфом. И стыдом и срамом для них.

Мило нахально объявил:

— Должен сказать вам, сэр, я обдумал альтернативный вариант и с определенностью полагаю, что если вы отдадите мне все деньги, которые необходимы для создания нашего самолета, это наилучшим образом послужит интересам нации.

— Не могу с вами не согласиться. Я тоже полагаю, что, если мы приступим к созданию вашего самолета, а меня введут в Объединенный комитет начальников штабов, это наилучшим образом послужит интересам нации.

— Слушайте, слушайте! — хором воскликнули сидевшие по обеим сторонам от Заблдыгера офицеры, и он улыбнулся, словно бы засмущав-

шись, а комнату на несколько секунд наполнили негромкие, стихавшие вибрации — это офицеры шаркали по полу ногами.

— Хубба-хубба, — произнес Заблдыгер, прерывая их неотрепетированное изъявление преданности еще одной улыбкой и кивком. — Как он называется, ваш аэроплан, Мило? Нам следует знать это, чтобы его обсуждать.

— «Сверхподзвуковой, невидимый и бесшумный оборонительно-нападательный штурмовик-бомбардировщик ответного удара компании „МиМ. ПиП“».

— Хорошее название для штурмовика-бомбардировщика ответного удара. И в нашей заявке хорошо будет смотреться.

— Я примерно так и предполагал, сэр.

— Оно представлялось вполне подходящим, — добавил Уинтергрин.

— Согласен с вами, Джин. Мило, — продолжал Заблдыгер под молчание всех остальных, — прошу вас, пока мы работаем, набросайте для меня что-нибудь на бумаге. Всего пару-тройку блестящих абзацев. Боюсь, рано или поздно нам придется попросить у вас несколько бóльших подробностей. Но я уже знаю, что мне не терпится выступить в финальном забеге: знаю — с кем, и

знаю, кому подам нашу заявку.

— Мелкому Хрену? — с надеждой выпалил Мило.

— О нет, к Мелкому Хрену обращаться пока что рано, — жизнерадостно ответил Заблдыгер. — Хоть я и был бы, разумеется, не прочь начать прямо с него. Нет, существуют каналы и выше нас, и ниже, обойти которые мы не можем, и существуют штафирки из министерства обороны. Под самый конец нам придется, насколько я понимаю, получить визу Розенблатта. Я хочу поскорее представить нашу концепцию на рассмотрение и приступить к вербовке ваших сторонников. Сами понимаете, не вы один охотитесь за этими денежками.

— А кто еще?

— Тут я не вполне уверен. Один из них — Стрейнджлав. Остальных не знаю.

— Стрейнджлав? — переспросил Мило.

— Этот немец, — усмехнулся Уинтергрин.

— Он проталкивает «Стелс».

— А он-то на что нацелился?

— И тут я тоже не вполне уверен, — признался Заблдыгер. — Однако у него имеется «Универсальный, класса „Сделай сам“, оборонительный, несбиваемый, фантастический, ультрасовремен-

ный, наступательный штурмовик-бомбардировщик превентивного, ответного и безответного ударов Стрейнджлава», который он и пытается протолкнуть. Вот полюбуйтесь на его новую визитную карточку. Одно из секретных агентств нашего отдела похитило ее у одного из секретных агентств другого отдела, с которым мы боремся не на жизнь, а на смерть, и даже готовы начать войну за изыскание средств. Ваш бомбардировщик поможет нам в нашей борьбе.

Он пустил по кругу визитную карточку наилучшего качества: с отпечатанным черной краской двуглавым орлом Австро-Венгерской империи и рельефными, цвета осеннего золота, буквами, сообщавшими: «Эллиот Стрейнджлав и партнеры. Отличные контакты и рекомендации. Покупка и продажа подержанного влияния. Бомбардировки на заказ. Примечание: информация, содержащаяся на этой карточке, засекречена».

Мило она удручила.

— Можно, я сделаю копию?

— Возьмите ее насовсем, — требовательно сказал Заблдыгер. — Если чьи-то секретные агенты застукают нас с украденной у чьих-то еще секретных агентов визиткой в руках, то смогут свести наши шансы на успех в этом деле без малого к ну-

лю. Все мы, Мило, наперебой стараемся снабдить нашу страну оружием самообороны, способным положить конец нашему миру и принести победу тому, кто использует его первым. И тот, кто первым родит это дитя, сможет возвыситься до уровня Объединенного комитета начальников штабов.

— Надеюсь в таком разе, что вы будете пошевеливаться, — бесцеремонно произнес Уинтергрин, высказав то, что было у него на уме, с угрюмым, раздражительным недовольством, замаскировать которое не счел нужным. — Чего хорошего сидеть тут сиднем, имея на руках такой ходовой товар?

— Дайте нам страницу-другую, посвященную тому, о чем вы говорили сегодня, чтобы мы знали, о чем говорить, когда заговорим с людьми о том, о чем вы сегодня нам говорили. Тогда мы и начнем пошевеливаться со всей быстротой, на какую способны. Со скоростью света, а? Все просекли? И еще, Мило, есть одна тонкость, о которой мы все время забываем вас спросить, а надо бы, я полагаю. Вопрос щекотливый, так что простите заранее. Эти ваши самолеты, они летать-то вообще будут?

— Летать?

— Ну, исполнят ли они задачу, которую они, по вашим словам, исполнят? От этого может зависеть будущее всего человечества.

— Разве я стал бы обманывать вас? — спросил Мило Миндербиндер.

— Да еще когда от этого может зависеть будущее всего человечества? — спросил экс-рядовой первого класса Уинтергрин.

— Я уж скорее жену свою обману, сэр.

— Благодарю вас, Мило. Благодарю вас, Джин. Я знаю, этому я верю безоговорочно.

— Генерал Заблдыгер, — со страдальческой торжественностью напрасно обиженного человека начал Уинтергрин, — что такое война, я знаю не понаслышке. И, при всем уважении к вам, думаю, что никто на свете не знает ее лучше, чем я. Во время прошлой большой войны я нес за морем службу как рядовой первого класса. Я рыл ямы в Колорадо. Когда планировалось и осуществлялось вторжение в Нормандию, я находился в Средиземноморье, разбирал там почту в почтовой каморке. И в день «Д» я тоже сидел в ней, в каморке, не многим большей комнаты, в которой сидим сейчас мы. Во время кампании Рим — Арно я рисковал головой, снабжая наших бойцов — и по всему итальянскому театру военных действий

— краденными зажигалками «Зиппо».

— А я такими же яйцами, — вставил Мило.

— Нам напоминать о том, что поставлено на карту, не нужно. Я понимаю, кто наш враг, и знаю, с чем всем нам придется столкнуться. Никто в этой комнате не понимает лучше меня, что представляют собой мои обязанности в этом деле, и не отличается более глубокой преданностью моему долгу, состоящему в том, чтобы их выполнять.

— Простите меня, сэр, — униженно попросил генерал Заблдыгер.

— Кроме, разумеется, вас, генерал, а также присутствующего здесь мистера Миндербиндера. И каждого из ваших коллег, сидящих с вами за этим столом, сэр.

— Ну так и знал, что эти ублюдки чего-нибудь да спросят, — ворчливо сообщил он Мило, как только они вдвоем покинули комнату и остались наедине.

— Как ты думаешь, Уинтергрин, — прошептал Мило, пока они удалялись от величественного здания, из которого только что вышли, — эти наши самолеты, они летать-то вообще будут?

— Да откуда ж мне, мать их туды, знать?

— Если от этого зависит будущее всего человечества, наверное, может оказаться затронутым и

будущее «МиМ. ПиП». Думаю, нам нужно найти кого-то, кто быстренько состряпает бумагу с изложением нашей идеи, чтобы они могли прямо сейчас и начать пошевеливаться, верно? Да нам и самим понадобится вытяжка из нее — для буклета или рекламною листка, которые мы пустим в розничную продажу. Кто у нас силен по этой части?

— Йоссариан?

— Нет.

— Почему?

— Он может завозражать.

— Ну и хрен с ним, — сказал Уинтергрин. — Мы можем опять его проигнорировать.

— Не матерился бы ты так часто в столице нашей родины.

— Так меня все равно только ты и слышишь.

Мило покачал, словно предчувствуя недоброе, головой, и разные половинки его седовато-рыжих усов неровно заколыхались — так, точно и росли-то они не из одной верхней губы.

— Нет, только не Йоссариан. В последнее время он то и дело возражает. По правде сказать, мне не хочется, чтобы он знал о наших делах больше того, что уже разузнал.

— Это почему же?

Мило продолжал покачивать головой.

— Я не уверен, что могу доверять ему. По-моему, у него еще сохранилась совесть.

4

Неподалеку от них, в Белом доме, президент заканчивал упаковку личных вещей — то был окончательный день исполнения его окончательного решения.

— Переодеться не собираешься?

Джордж Буш, завершая последние приготовления к официальному уходу с поста президента, ответил своему другу, что не собирается.

— Еще одно великое преимущество отставки состоит в том, что можно быть просто Джорджем, — весело сообщил он.

Наряд его состоял из хлопчатобумажных штанов цвета хаки, фланелевой рубашки в красную и черную клетку и охотничьего жилета с карманами для дичи, по которым он сейчас аккуратно рассовывал, собираясь, многие и многие похвальные грамоты и награды. Президент слегка помедлил, озадаченно вглядываясь в очередную бумагу, щедро украшенную эмблемами высокого поста, который он собирался вот-вот покинуть.

— Скажи-ка, Чарли, — задумчиво осведомился он, — что тебе известно о тяжелой воде?

— Ничего. А почему ты спрашиваешь? Она вроде как-то связана с ядерными реакциями, нет?

— Мы задержали одного типа, американца, который ее производит. Капеллан, ни больше ни меньше. Отставной капеллан воздушной армии времен Второй мировой.

— Так заставь его прекратить. В чем проблема?

— Прекратить он не может. Он производит ее, если ты понимаешь о чем я, биологическим путем.

— Биологическим? Нет, я не понимаю.

— Так сказано вот в этом меморандуме, кодовое название «Проточная труба». Ест и пьет он, как все мы, однако выходит из него, насколько я понял, тяжелая вода.

— О чтоб меня! И это правда?

— Тут сказано, что правда. Судя по всему, он результат исследований и разработок Мило Миндербиндера из компании «МиМ. ПиП», и теперь тот предъявляет на него преимущественные права.

— Мило Миндербиндера я знаю. Мило Миндербиндера я знаю давно.

— Кроме того, наши разведслужбы сообщают,

что, прежде чем капеллана посадили под стражу, он состоял в тесном контакте еще с одним человеком из «МиМ», Йоссарианом. Еще одним бывшим офицером воздушной армии, капитаном.

— Йоссарианом?

— Да, и теперь он регулярно проводит переговоры с женой капеллана. Правда, в интимные отношения они пока не вступили. Кроме нее, он ведет переговоры с дипломированной медицинской сестрой — возможно, и она причастна к этой истории. А есть еще бельгийский след. Во время их последнего разговора сестра сообщила Йоссариану: бельгиец начал глотать.

— Йоссариану? — повторил Чарли Стаббз. — Ты сказал, Йоссариану?

— Ты его знал? Назвать тебе его имя?

— Да Господи, много ли Йоссарианов на свете? Я знал Йоссариана, когда служил во время войны на Пьяносе — перед тем как меня перебросили на Тихий океан. Он летал на бомбардировщике, так? И был в то время малость чокнутым.

— Чокнутым?

— Во всяком случае, так все считали. Помнится, когда нас совсем припекло, я сказал кому-то, что, по-моему, он у нас один не сумасшедший, даром что псих.

— Он опасен?

— Не думаю. В нормальном состоянии — нет. Где ты держишь капеллана? Я и его, наверное, знаю.

— В подвале. С освинцованными стенами.

— И что ты с ним собираешься сделать?

— Ну, любое из наших контртеррористических развед-подразделений может, если до этого дойдет, с легкостью прихлопнуть его. Не исключено, однако, что он представляет большую ценность. Сам знаешь, с тяжелой водой у нас не все ладно. И с тритием тоже.

— Что еще за тритий?

— Газ, который мы из нее получаем, — так тут сказано. Он необходим нам для ядерных боеголовок. Мы найдем применение куче таких, как капеллан, если только он сможет научить их мочиться тяжелой водой. А пока не знаем, как с ним поступить. Йоссариана мы держим под круглосуточным наблюдением по сорок восемь часов в сутки — так тут сказано. Думаю, это означает, что двое наших людей наблюдают за ним по двадцать четыре часа в сутки.

— Или четверо наших людей по двенадцать часов в сутки.

— Да, не исключено, что и так. Это тоже полу-

чается — круглосуточно?

— Нет, Джордж.

— Йоссариан и жена капеллана ведут зашифрованные телефонные переговоры, делая вид, будто почти ничего об этом не знают.

— Может, стоит провести опрос общественного мнения?

— Наверное, это было бы самым разумным решением. Беда, однако, в том, что мы все еще хотим секретно держать капеллана у себя — на случай если нам придется его укокошить.

— Ты уверен, Джордж, что тебе так уж необходимо забирать этот доклад с собой точно похвальную грамоту? Все это смахивает на проблему, сильно запутанную. Вот и оставь ее твоему преемнику, пусть он с ней справляется.

— Куэйлу? Тоже верно. Дельце как раз по его уму.

День, когда ушел Буш [25]

— Политика, как говорится, кончается у самого края воды.

---

[25] Примечания: 25

«Нейшн», № 250, 4 июня 1990, с. 779–785; впервые опубликовано под названием «The Day Bush Left the White House» («День, когда Буш ушел из Белого дома») в «Гардиан» (Манчестер), № 12–13, май 1990, с. 4–6.

— А что это значит, Джордж?

— Не знаю, Чарли.

— Возможно, тут имеются в виду наши границы, то, что мы стараемся делать вид, будто едины в наших взглядах и, когда дело доходит до внешней политики, никаких разногласий не терпим.

— Забавная мысль, — сказал президент, все еще продолжавший упрямо держаться своего решения уйти в отставку. — Но при чем тут вода? На севере и юге границы у нас сухопутные. Как видишь, Чарли, я кое-что смыслю в истории.

— Это география, Джордж.

Трое мужчин плюхнулись в уютные кресла личной канцелярии президента США, каждый и выглядел, и ощущал себя бóльшим, чем в любой прошедший с кануна выборов миг, неудачником. Этими тремя были сам президент, его государственный секретарь и его же верный друг Чарли Стаббз.

— Ну, поскольку я все равно ухожу, это уже не важно. Так ведь? Сколько людей ожидает сегодня приема?

— Около дюжины. Лидеры обеих политических партий — двое из палаты, двое из сената, председатель и кое-кто из обоих национальных комитетов.

— Бог ты мой, вот уж не знал, что они меня так любят, — сказал президент Буш.

— Они тебя никак не любят, Джордж. Их пугает мысль о Куэйле. Мы считаем, что тебе следует принять их.

— А-а-а, пропади оно… Поговори с ними сначала ты, Тим, подготовь их к разочарованию. Ну ладно, Чарли, а что думаешь ты? — спросил Джордж Буш, оставшись один на один с Чарли Стаббзом. — Мне ведь следует держаться за мое решение, верно?

— Только если ты сыт твоей работой по горло и искренне хочешь бросить ее. Что тебе требовалось, ты уже доказал. Ты забрался на самый верх, ты наш человек. Не так чтобы очень уж человек, это мы понимаем, но, по крайности, наш. Ну и давай отрекайся, если тебе так хочется.

— Это единственный осмысленный совет, какой я получил, с тех пор как стал президентом.

— И это будет единственным осмысленным поступком из всех тобой совершенных.

Президент рассмеялся, совершенно как славный малый, каковым его все и считали.

— Мне еще нужно столько всего упаковать. Помоги мне с кубками и похвальными грамотами, ладно? Господи, сколько же их!

— Ты хочешь забрать их все?

— Не оставлять же Белый дом грязным, верно?

— Насколько я помню, грязная предвыборная кампания у тебя возражений не вызывала, разве нет?

— А красивая была кампания! Правда, Чарли?

— Грязнейшая из всех, какие я помню, Джордж.

— Сомневаюсь, что кому-нибудь удастся ее превзойти. Я думаю, история отметит ее как мое наивысшее достижение.

— Меня и по сей день поражает, Джордж, что ты, возглавив самую гнусную, грязную и омерзительную в современной истории президентскую кампанию, все-таки вышел из нее, сохранив безупречно чистый вид. Как могло получиться, Джордж, что тебя продолжали считать человеком, по существу, порядочным, добрым и мягким?

— У меня была тысяча красок света[26], Чарли.

— А какую фантастическую работу проделал ты между днем выборов и днем вступления в должность!

---

[26] Примечания: 26

«Тысяча красок света» — так называлась речь, произнесенная Бушем на съезде республиканской партии во время его президентской кампании 1988 г.

— Я был хорош тогда, верно?

— Лучшим ты не был никогда. Между выборами и инаугурацией ты был ослепительным, вдохновительным, харизматичным и безупречным. Твой рейтинг побил все рекорды еще до того, как ты принес присягу.

— Лучше бы я ее не приносил.

— Тебя запомнили бы как самого популярного во всей истории президента, если бы, конечно, ты им не стал.

— Должен признать, что ты прав, — ответил Джордж Буш. — Работа президента тяжела, Чарли, и очень скучна. Одно ежедневное позирование фотографам чего стоит. К тому же существуют тысячи людей, которые выполняли бы ее не хуже моего. Делать-то, насколько мне удалось понять, ничего особо и не приходится.

— Да, вот только Дэн Куэйл не из их числа. Ни одному разумному человеку на свете понравиться он не может, и с этим ничего уже не поделаешь, даже если он обратится в Вилли Мейса[27].

— Занятно, что ты назвал это имя, — произнес Джордж Буш и рассмеялся. — Потому как одно время мы подумывали взять Вилли Мейса в мои

---

[27] Примечания: 27

Вилли Хортон Мейс, мл. (р. 1931) — выдающийся бейсболист.

кандидаты на пост вице-президента.

— Могу догадаться, почему вы этого не сделали, — скептически покивал Стаббз. — Если б вы взяли Вилли Мейса в кандидаты, вам трудно было бы проводить вашу кампанию ненависти к черным.

— На самом деле мы такой кампании не проводили, Чарли, — возразил президент. — Мы всего лишь постарались подмазаться к тем белым гражданам нашей страны, которые ненавидят граждан черных. По нашим прикидкам, достучавшись до ненавидящих черных избирателей, мы получили бы голоса почти ста процентов белых вообще. И потому сосредоточились на Вилли Хортоне[28], а не на Вилли Мейсе.

— А пуще всего ошеломляет меня то, Джордж, что ты влез в этой кампании по уши в дерьмо, а вылез из него, благоухая, как роза. Никто тебя ни в чем не винил.

— Чистая была работа, верно? И довольно подлая, а?

---

[28] Примечания: 28

Отбывавший пожизненное заключение за убийство чернокожий Вильям Хортон (р. 1951) был временно выпущен из тюрьмы в рамках «программы тюремных отпусков» и немедля совершил вооруженное нападение, ограбление и изнасилование. История эта использовалась Джорджем Бушем как оружие в борьбе с Майклом Дукакисом, кандидатом на пост президента от демократической партии, бывшим сторонником названной программы.

— Подлее некуда. Ты был бесхребетным и бесстыжим, да, собственно, таким и остался. Как лицемер ты безупречен, Джордж.

— Спасибо, Чарли. Я знаю, ты сказал это не для того, чтобы всего лишь польстить мне.

— Я сказал это от всей души.

— Потому я так твои слова и ценю. Но все объясняется очень просто, Чарли: народ Америки любит победителей.

— И пресса тоже?

— Ну, с журналистами хлопот вообще не бывает. Им на все наплевать, в том числе и на критику в их адрес. Они любят, чтобы их приглашали на что-нибудь официальное, пусть даже это пресс-конференция. А владельцы газет никогда ни на что не сердятся — люди они богатые и могут себе это позволить.

— Думаю, руководители твоей кампании любили тебя. Ты ведь никогда не говорил им «нет», верно?

— Только когда они говорили мне: «Скажи нам „нет“».

— А особенно изумился я, когда…

— Я знаю. Когда даже Вилли Хортон помягчел и прислал мне в ночь выборов поздравительную телеграмму.

— Пообещав ему президентское помилование, ты сделал эффектный ход, Джордж.

— Ну, я был столь многим обязан Вилли. Особенно после того, как ему не понравилась его фотография, которой мы размахивали. Все было задумано так, Чарли, чтобы создать у публики впечатление, будто каждое из решений нашей грязной кампании принимают люди, остающиеся в тени, а я просто невинный слизняк, говорящий и делающий то, что они мне велят, этакий дурак дураком.

— Но ведь по большей части так оно и было, разве нет?

— Ну нет, идея насчет Вилли Хортона принадлежала мне.

— Сделать на него особый упор?

— Помиловать его, а после дать ему в Госдепе пост заместителя госсекретаря по латиноамериканским делам. Для человека, совершающего преступления, это очень хороший пост, Чарли. Латинская Америка замечательна тем, что в ней даже сейчас все еще можно убить кого хочешь и выйти сухим из воды. Как видишь, я и в географии кой-чего смыслю.

— Это как раз история, Джордж. Послушай, как тебе удается убеждать людей, что ты вовсе не

такой пакостный и подлый, как все прочие говорящие и делающие гадости, которые непрерывно говоришь и делаешь ты? Временами ты ведешь себя ну хуже некуда и все-таки неизменно выглядишь честным и чистым.

— Спасибо, Чарли. Думаю, тут все дело в освоенном мной стиле охламона, только что вышедшего из частной средней школы. Ну и в подготовке, которую я получил в Йеле.

— Уильям Бакли[29] это тоже умел.

— И потом, я хорошо разыгрываю тупицу. Это мне проще пареной репы.

— Я и не думаю, Джордж, что это тебя затрудняет. Но ты мне вот что скажи. Все уже подходит к концу, ты можешь говорить откровенно. — Стаббз помолчал. — Скажи, почему ты выбрал именно его?

— Не спрашивай больше! — воскликнул президент Джордж Буш, наморщившись так ужасно, что человек послабее его близкого друга Чарли Стаббза, пожалуй, проникся бы к нему состраданием. — Я завизжу, если еще раз услышу этот вопрос!

---

[29] Примечания: 29

Уильям Бакли-старший (1881–1958) — техасский юрист и разработчик нефтяных месторождений, влиятельная политическая фигура Мексики, отец писателя Уильяма Бакли-младшего.

— Ты уже визжишь, — ответил Чарли Стаббз. — Джордж, сегодня твой последний день на посту президента, и, черт подери, я хочу услышать ответ. Ты же едва знал его. Ты даже не знал, что он уклонился от призыва. В чем же был фокус? В чем уловка?

— Да не было их, чтоб я пропал. И фокуса не было, и в сделке с ним я не нуждался. Как мне заставить тебя поверить?

— Я затрудняюсь поверить даже в то, что на свете может существовать тип вроде нашего Дж. Дэнфорда Куэйла. Хотя бы один.

— Ну, мне понравилась сама идея. Я думал, что он будет хорош. Вот и все.

— А почему ты ни у кого о нем не поспрашивал?

— Господи, да я спрашивал. По-твоему, я идиот? Я консультировался с лучшими умами из тех, что меня окружали. И все сказали: ни в коем случае.

— Тогда почему ты это сделал?

— Хотел показать этим наглым всезнайкам, что я сам себе голова. Я к тому времени уже устал жить в тени Рейгана, был сыт этим по горло.

— Ты только не обижайся, Джордж, но, по-моему, в тени Рейгана ты выглядел лучше, чем где-либо еще. Ну что, мне уйти?

— Нет, останься. Лучше если ты будешь рядом со мной, когда эти конгрессмены ввалятся сюда и начнут канючить, чтобы я передумал. Как только заметишь, что я засомневался, скажи пару слов, останови меня — пусть они видят, что меня не так-то легко поколебать, если кто-нибудь напоминает мне, что я должен стоять на своем. Тащи их сюда. Мне охота врезать кому-нибудь ногой по жопе.

— Ох, Джордж, ради всего святого!

Стаббз все еще кривился, когда государственный секретарь распахнул дверь и в нее гуськом вошли унылые и безмолвные просители из конгресса и обеих политических партий страны общим счетом десять человек. Они поздоровались со своим президентом, и он тоже сердечно поприветствовал их.

— Входите, мужики, входите. Роскошная нынче погодка, верно? А вы чего такие хмурые? Зря вы так, будет и на вашей улице праздник.

— Джордж, — предостерегающе произнес Чарли Стаббз.

— Извини, Чарли.

— Ну-с, если позволите, — начал государственный секретарь. — Эти джентльмены относятся к принятому вами решению об отставке со все-

возможным пиететом, однако принесли с собой подписанную практически каждым членом обеих палат конгресса от обеих партий петицию, в которой просят вас это решение пересмотреть. Сам я к настоящему времени уже получил послания — и некоторые из них закапаны слезами — от лидеров почти каждой развитой страны свободного мира, мира коммунистического и большинства стран «третьего мира».

— Это ж надо, — просиял Джордж Буш. — И от Советов тоже?

— Разумеется. Послание советского посла как раз одно из тех, закапанных. Им ядерная война нужна не больше нашего.

— Ну что же, мужики, — начал в обычной своей манере рубахи-парня Джордж Буш, — должен откровенно сказать вам уже сказанное мной публично. То, что я делаю, правильно, а пока я еще остаюсь президентом, я остаюсь и человеком, который лучше всех прочих знает, что правильно, а что нет. Правильно? Мое решение правильно, потому как я дорос до понимания — дорос, пока занимал мой пост, — что президент из меня на самом-то деле никакой.

— С этим, господин президент, никто спорить не собирается, — сказал член конгресса от его

собственной партии.

— Называй меня Джорджем, Боб. Рад, что смог тебя убедить.

— Меня зовут Джоном, Джордж.

— Это меня зовут Бобом, — сообщил один из просителей, высокий.

— И меня, — сообщил еще один из просителей, низенький.

— Рад снова познакомиться с вами со всеми, — сказал Джордж Буш. — Мне казалось, тебе не по вкусу то, что делаем я и моя администрация, Боб.

— Меня зовут Томом, Джордж.

— Боб — это я, Джордж, и мне тоже не нравится все, что вы делаете. Однако политике следует кончаться у самого края воды.

— А что это значит, Том?

— Это значит, господин президент, что во времена великого кризиса мы отказываемся от пристрастных перекоров, забываем о том, как паршиво вы работаете, и начинаем, разнообразия ради, думать о благе общества.

— Но при чем тут край воды?

— Понятия не имею. Однако в настоящее время это не важно, как не важен и вопрос о том, паршивее ли ваша паршивая администрация рейгановской или не паршивее.

— Паршивее рейгановской? — воинственно вскинулся президент. — О нет, от этой темы мы так просто отмахнуться не можем. Позвольте мне высказаться ясно и определенно. Для меня то, что я делал, было прежде всего вопросом сдержанного президентского стиля, и вы не могли не заметить всех неуклонно проводимых нами усовершенствований к лучшему, равно как и множества усовершенствований к худшему.

— Джордж, — произнес Стаббз.

— Минуточку, Чарли. Мы проводили наши хорошие и плохие изменения с такой постепенностью, что их можно было с равным успехом и не проводить, разницы никто не заметил бы, да и нам жилось бы намного лучше, если бы мы оставили все как было, а не тратили на проводимые нами усовершенствования время и деньги. Но к настоящему моменту я осуществил все, что мной было задумано, и для меня настал час передать факел кому-то еще и отойти в тень.

— Джордж, — предостерегающе произнес Чарли Стаббз.

— Извини, Чарли.

— Да, но что нам делать с Куэйлом, господин президент? Скажете вы нам наконец раз и навсегда, почему ваш выбор пал именно на него?

— Если вы еще раз спросите его об этом, он завизжит.

— Спасибо, Чарли.

— Вы бросаете нас в беде. И как быть с СОИ?

— А что это?

— Звездные войны. Следует нам продолжать связанные с ними разработки или не следует? И кстати, господин президент, это помещение прослушивается? Вы, случаем, не записываете тайком наш разговор, чтобы в дальнейшем вставить его в задуманную вами книгу?

— Ваше предположение оскорбительно, — резко ответил президент. — Однако позвольте мне предоставить вам гарантии, в которых вы так нуждаетесь.

Он широким шагом приблизился к своему рабочему столу и нажал на кнопку вызова секретарши.

— Примроуз, прошу вас, отключите всю записывающую аппаратуру. И проследите, чтобы все уже записанное было стерто.

— Да, господин президент, — мгновенно ответил женский голос. — Это означает, что вы хотите, чтобы аппаратура продолжала работать?

— Нет. Я хочу, чтобы ее выключили.

— Теперь поняла, сэр. Но только я код забыла.

Пусть продолжает работать?

— Пусть ее выключат. Обратитесь к звукоинженеру. Скажите ему, что я действительно хочу, чтобы ее отключили.

— Теперь поняла, сэр. Но по-моему, насчет кода и он не в курсе. Мы же его недавно взяли, на подмену настоящему.

— Ладно, Примроуз, забудьте. Забудьте даже, что я просил об этом. — Президент вернулся к своим гостям и подчеркнуто пожал плечами. — А вы, парни, спрашиваете меня насчет СОИ. Это все вопросы слишком технические, чтобы их решал Белый дом, да мы и не знали бы, что делать, не получив результаты последнего опроса общественного мнения.

— А он это знает?

— Кто?

— Куэйл. Ваш вице-президент. Черт возьми, господин президент, где вы вообще откопали этого типа?

— Прошу вас, называйте меня Джорджем. Послушайте, ребята, вы контролируете конгресс. Если вас так беспокоит Куэйл, почему бы вам просто не связать его по рукам и ногам, чтобы он ничего не мог сделать? А потом устройте ему импичмент.

— За что?

— За то, что он ничего не делает.

— А вы не могли бы по крайней мере уговорить его подать в отставку первым?

— В отставку? Ну конечно. Минутное дело. Да, но если он уйдет первым, кто же заменит меня?

— А какая разница?

— Политика кончается у самого края воды.

— Считайте, что это уже сделано. — Президент величаво, с выражением снисходительного самодовольства на лице снова приблизился к столу и перебросил рычажок переговорного устройства. — Примроуз?

— Да, господин президент?

— Найдите Маленького Принца. Мне нужно поговорить с ним.

— По телефону, сэр?

— Конечно, по телефону! На черта он мне здесь-то сдался, как по-вашему? И соедините его с секретной комнатой. Прошу прощения, мужики. Вы и ахнуть не успеете, как его уже не будет.

Президент, помахав всем ладонью, повернулся, одарил всех хорошо знакомой фоторепортерам улыбкой через плечо и вышел, закрыв за собой дверь. В комнате ненадолго наступило облегченное молчание.

— Видите, Джим? Я же говорил, что он поступит как надо, ведь так?

— Спасибо, Джим. Он настоящий Джордж, верно?

— В Англии его называли бы Чарли, — сказал государственный секретарь.

— В этом и состоит одна из причин, по которым он все еще сохраняет популярность.

— А вторая?

— Его все любят.

— Рейгана тоже все любили.

— Кроме Джорджа.

— Так как насчет Куэйла, Джим? Это же вы его выбрали, так?

— Не спрашивайте меня об этом.

— А то он тоже завизжит.

— Спасибо, Чарли. Он поклялся мне всем, что для него свято, а такого, сдается, существует немало, что в его прошлом нет ничего, способного доставить нам неприятности. Мне следовало еще в тот миг почуять неладное. Когда выяснилось, что он уклонился от призыва в армию, мошенническим образом записавшись в Национальную гвардию, я просто взвыл от ярости. К тому времени Джордж уже не мог отказаться от него, а вот меня он едва не прогнал.

— Но отчего он не пожелал объяснить нам, почему выбрал его?

— Он и сам не знает.

— А вы?

— Джордж хотел получить кандидата в вице-президенты, который производил бы худшее, чем он, впечатление. А компьютер выдал нам только одно имя — Куэйла.

— Как мне не хватает Ричарда Никсона.

— Мне тоже.

Услышав, как поворачивается ручка двери, все замерли и обратили к ней полные ожидания лица. Человек, покинувший их с таким уверенным видом, вернулся, семеня ногами, и весь его облик выражал забавное замешательство. Он легонько покачивал из стороны в сторону головой и ритмично похмыкивал в такт ее движениям.

— Ну, ребята, догадайтесь… Похоже, нам нынче не везет, — объявил он и засмеялся так, точно принес хорошую новость. — Маленький Принц в отставку уходить не желает. Говорит, что ему и так хорошо.

— Ничего веселого в этом нет.

— А по-моему, есть. Похоже, я неудачно выбрал время для разговора с ним. И, похоже, оторвал его от видеоигры. Первым, что я от него услышал,

было: «Др-р-р, др-р-р, др-р-р». Он говорит, что лучшего места, чем то, какое он сейчас занимает, и представить себе не может. И говорит еще, что ему рукой подать до президентства.

— А это какого дьявола означает?

— Он чью руку имеет в виду — вашу или свою?

— Забыл спросить. По его словам, если он уйдет из вице-президентов, ему, наверное, в лудильщики податься придется или снова начать сочинять пресс-релизы, а он боится, что уже утратил прежние чародейские навыки. И не знает, на что годится лучше, чем на роль лидера свободного мира и главы величайшей на свете промышленной державы. Я не думаю, что мы все еще остаемся величайшей на свете промышленной державой, но, возможно, ему известно больше моего. А оставшись вице-президентом, он, по его словам, окажется, когда я завтра уйду, первым в очереди моих преемников.

— Как он об этом узнал, черт побери?

— Кто-то ему проболтался!

— Может, он по моим губам прочитал[30]?

— Он вообще читать не мастак.

— Я знал, что это ошибка, и говорил вам: это

---

[30] Примечания: 30

В уже упомянутой речи Буша на съезде республиканцев прозвучали слова: «Читайте по моим губам: „нет“ новым налогам».

ошибка! — взвыл государственный секретарь, а затем застонал от пронзившей его боли. — Не следовало нам давать ему деньги на учителя чтения!

Последнее публичное деяние, совершенное им как президентом, было таким: Джордж Буш завернулся в государственный флаг и принес ему клятву верности[31].

— Это было позорищем, Джордж, — прямо сказал ему Чарли Стаббз. — Ты и себя унизил, и флаг осквернил.

— Спасибо, Чарли.

[31] Примечания: 31

Баллотируясь в президенты США, Джордж Буш ставил в вину своему сопернику Майклу Дукакису неприятие им закона, который требовал, чтобы все кандидаты на этот пост приносили клятву верности флагу.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАССКАЗЫ
Смеяться по утрам [32]

В Нью-Йорке тебя время от времени угощают ломкой, то есть запирают вместе с твоим ужасом в камеру и оставляют наедине с собой — им все равно, выплачешь ты глаза в попытках заснуть или сойдешь с ума от кошмарного, мучительного, медленного пробуждения, постепенного осознания того, где ты и чего жаждешь. Тебя кормят, а если ты слишком шумишь, накачивают успокоительным — толку от него мало, однако это никого не волнует, а когда ты выходишь на волю, осматривает тебя не врач, но бесцеремонный мясистый сержант, который глядит на тебя с презрением и который глазом не моргнет, если ты рухнешь замертво через минуту после того, как он подпишет твои бумаги. Потому он и поехал в Кентукки. По крайности, в тамошних заведениях твою дозу снижают постепенно, отчего ломка отсрочивается и сводится к минимуму, да и колют тебя каждый день бесплатно, и ты знаешь, что тебе не придется внезапно сесть на сухой паек. В

---

[32] Примечания: 32
Рассказ написан между 1946 и 1949 гг.

его районе кто-нибудь всегда собирался в Кентукки. Один или двое из них и вправду надеялись вылечиться, другие ехали смеху ради, вроде как в отпуск, потому что остались без денег, а там их кололи бесплатно.

Он поехал, чтобы вылечиться.

На обратном пути ему пришлось провести три часа в Вашингтоне. Он стоял, не понимая, что делать, посреди автовокзала, ему было не по себе и от здешней сутолоки, и от того, что он один. Все его пожитки лежали в армейском вещмешке, одет он был в привезенную им из армии зеленую летную куртку. Он был стрелком. Краем глаза он поглядывал на свое отражение в зеркале, висевшем за торговым автоматом. Кожа плохая, широкое лицо выглядит усталым и осунувшимся. Он быстро отвернулся от зеркала, смущенный мыслью, что кто-то мог заметить, как он изучает себя в зеркале. Потом поднял с пола вещмешок и вышел из вокзала.

И сразу же начал потеть. Стояла зима, холодный воздух, ледяной ветер, а у него пот выступал на лице. Он давно уже пытался понять, что бы она такое значила, эта его потливость в самые холодные дни, но додумался лишь до одного: потом он обливался всегда, сколько помнил себя, всегда

был таким. В одном из его карманов лежал список докторов, которые, как правило, выписывают тебе рецепт, если ты платишь им за прием. Эти сведения он получил от людей, с которыми лечился, и в том, что двенадцать перечисленных в списке врачей жили всего в пятидесяти милях от клиники, присутствовала мрачноватая ирония. Ему нужно было потратить на что-то три часа, и он решил заглянуть к одному из них — не потому, что нуждался в чем-либо или чего-то хотел, а просто чтобы время убить. Он не любил одиночества в чужом городе, он его и в Нью-Йорке-то не любил. Особенно туго приходилось ему по этой части в ресторанах. Иногда он даже есть не мог.

Офис доктора находился на первом этаже старого, построенного из песчаника дома. Лимонные шторы на окнах, табличка с именем и часами приема. Как только на пороге появилась медицинская сестра, Нат пожалел, что пришел сюда. Дорогой он придумал, что будет говорить, однако стоило ей посмотреть ему в глаза, как его охватило чувство вины, стыд и он все придуманное забыл.

— Я… мне нужно повидаться с врачом, — пробормотал он.

Сестра провела его в приемную. Это была ху-

дощавая женщина средних лет, с жесткими седеющими волосами и сухим лицом, не способным, как показалось Нату, выражать радость или сочувствие. Она уселась за свой рабочий стол, подняла взгляд на Ната.

— Вам назначено?

Он покачал головой.

— Вы постоянный пациент?

Он снова покачал головой. Сестра положила перед собой чистый бланк, спросила, как его зовут.

— Натан Шолль, — ответил он и, только теперь сообразив, что вопросов будет еще немало, нервно подступил к ее столу. — Я… я не из Вашингтона. Просто проходил мимо, увидел табличку доктора. Можно мне с ним поговорить? Я… у меня личное дело.

Она встала, ушла внутрь офиса. И Ната мгновенно охватило желание сбежать. Он шагнул к двери, но остановился из страха, что сестра вернется, увидит его уходящим и велит вернуться. Ему оставалось лишь беспомощно ждать. В конце концов она возвратилась и отвела его в кабинет врача.

Кабинет был темным, мрачноватым, с тяжелыми, обтянутыми коричневой кожей креслами и коричневыми шкафами. И костюм на докторе

— невысоком лысеющем мужчине с пронзительными черными глазами — тоже был коричневый. Он разглядывал Ната, ожидая, когда тот заговорит.

— Я… — неуверенно начал Нат. — Я тут проездом из Кентукки. Слышал там, что, если мне что-то понадобится, я могу обратиться к вам за рецептом.

Доктор насторожился:

— Боюсь, я вас не понял.

— Я был там на лечении, — сказал Нат. Он понимал: доктору необходимо время, чтобы приглядеться к посетителю, понять, можно ли ему доверять. — И один человек дал мне ваш адрес. Сказал, что вы поможете, если… если мне потребуется укол.

Доктор продолжал вглядываться в его лицо, пытаясь определить, нет ли тут какого подвоха. Перед ним стоял исхудалый сконфуженный молодой человек, явно безденежный и забывший большую часть того, чему его когда-то учили. Наконец доктор придвинул к себе по столу рецептурную книжку, взял ручку.

— Ваше имя?

— Натан Шолль.

Доктор попросил произнести фамилию по

буквам.

— Что вам требуется?

— Героин.

Писал доктор быстро. А закончив, оторвал рецепт от книжки и подтолкнул его по столу к Нату. Нат медленно протянул к нему руку.

— Сколько с меня?

— Десять долларов.

— Я… десяти у меня нет, — пристыженно признался Нат.

А сколько есть?

Нат полез в карман. Он точно знал, сколько у него денег, но притворился, будто пересчитывает их. За автобусный билет он уже заплатил, и теперь в кармане осталась пятерка, две долларовые бумажки и около доллара сдачи. Других денег у него не было, и расставаться хотя бы с частью их ему нисколько не хотелось. Вообще-то он и не собирался просить доктора о рецепте. А собирался, когда дело дойдет до денег, громко рассмеяться и уйти, однако пока доктор изучал его, решимости в нем поубавилось. В присутствии врачей ему всегда становилось не по себе.

— Шесть долларов, — сказал он.

— Давайте.

Нат отдал ему деньги. Доктор опустил две

бумажки на стол, разгладил их, внимательно осмотрел. Потом сунул пятерку в карман, а доллар вернул Нату.

— Возьмите, — сухо сказал доктор. — Он вам в аптеке понадобится. Заплатить придется больше доллара, но я совершенно уверен, что в кармане у вас найдется еще кое-что.

Нат, чувствуя, что краснеет, замялся, но затем схватил свой доллар и выскочил из кабинета врача. Выйдя на улицу, он разорвал рецепт в клочки, постаравшись, чтобы они получились поменьше, и когда покончил с этим, ему немного полегчало.

В Нью-Йорке Нат оказался уже после полудня, там он доехал подземкой до последней станции, сел в автобус, шедший до улицы, на которой он жил. День стоял безотрадный, сырой. Прохожих на его улице было не много. Да он и знал здесь очень немногих, хоть и прожил всю жизнь в одном и том же доме. В таких местах люди надолго не задерживаются. Семьи перебираются сюда и, пожив несколько месяцев, уезжают. Только его семья и пустила здесь корни. Приближаясь к своему дому, Нат испытывал чувства противоречивые. Он радовался возвращению домой, но тем не менее, поднимаясь по лестнице, ощущал

странную подавленность.

Сестру Нат нашел на кухне. Он любил Мэй. Ей было без малого тридцать, и когда она увидела брата, ее миловидное лицо вспыхнуло от изумления.

— Боже мой! — воскликнула она, переходя вместе с ним в гостиную. — Мы думали, тебя еще несколько месяцев не будет. Почему ты не сообщил о своем приезде?

Нат, еще продолжая улыбаться, пожал плечами. Он подошел к стулу, сел, поставив вещмешок на пол между своими ступнями.

— А где мама?

— По магазинам пошла. Ты почему не написал нам ни разу? Она места себе не находила, беспокоилась за тебя.

Нат снова пожал плечами, улыбка его стала натянутой.

— Я вам открытку из Кентукки послал, проездом. Вы ее не получили?

— Получили, но… — Мэй усмехнулась. — А ты там совсем недолго пробыл. Тебе не понравилось во Флориде?

Нат опустил глаза к цветочному узору линолеума.

— Да нет, ничего, — сказал он.

— Ты, наверное, много работал. Совсем с лица спал.

— Да, — сказал он, мысленно поблагодарив сестру за невольную подсказку. — Я там целыми днями под крышей сидел. Хотя делать мне было почти нечего. Потому и вернулся. Хочу подыскать какую-нибудь постоянную работу.

Ладони его вспотели, он вытер их о брюки.

— А малыш где?

— Дик? Только не говори мне, что ты по нему соскучился.

— Похоже, что так, — нехотя признался Нат. Детей у сестры было двое — малышка, которой не исполнилось еще и года, и почти девятилетний Дик. — Я ему подарок привез.

Он пошарил в вещмешке, нащупал коробку с купленными по пути домой коньками. Упаковочная бечевка на ней была завязана слишком тугим узлом, и Нат нетерпеливо разорвал ее.

— Детские коньки, — со стыдливой гордостью сказал он, показав подарок сестре.

Мэй грустно улыбнулась.

— Детские. Из таких он уже вырос, Нат, — мягко сказала она. — Дик вот уж несколько недель как на взрослых катается.

Нат молчал. Коньки, которые он так и держал

в руке, вдруг показались ему очень тяжелыми.

— Да, — неловко выдавил он, — а идея казалась мне такой хорошей.

— Она и была хорошей, — торопливо сказала Мэй. — Ничего, скоро они пригодятся нашей принцессе. Ну вот, слышишь? Это она меня зовет.

И действительно, до гостиной донесся детский плач. Мэй встала, вышла. С минуту Нат вертел коньки в руках, потом вернул в коробку. Он все еще смотрел на них, когда вернулась Мэй.

— Нат, — сказала она, — ты это всерьез говорил — насчет постоянной работы?

Он кивнул, бросил на сестру удрученный взгляд и с горечью ответил:

— Ты же знаешь, Мэй, я не люблю бездельничать. Только я не умею ничего.

— А чем бы ты хотел заняться?

— Освоить какую-нибудь профессию посолиднее; может быть, даже в колледж поступить. — Он снова сел. Мысль эта взволновала его, и говорил он теперь с жаром: — Ты знаешь, я могу поступить в колледж. Правительство оплатит учебу. Я писал в школе хорошие сочинения. Может быть, я смогу делать что-то в этом духе — работать в газете, что-нибудь такое.

Он умолк. Сестра ничего не ответила. Нат потупился, натужный оптимизм его сменился пониманием пустоты этой надежды.

— Как Фред? — негромко спросил он.

— Хорошо. Я еще не говорила тебе, что мы подыскали квартиру?

Нат покачал головой. Новость его обрадовала, он был счастлив за сестру.

— Когда переезжаете?

— Я вообще-то не уверена, что нам стоит переезжать, — сказала Мэй. Лицо ее стало печальным. — По-моему, оставлять маму в одиночестве неправильно.

— Почему же в одиночестве? — удивился Нат. — С ней я буду.

— Так-то оно так, но тебя же вечно нет дома. Я не виню тебя за это. В твоем возрасте никому дома не сидится. Ну и не известно еще, как отнесется к этому мама. Мы ей ничего пока не говорили. Если она узнает про квартиру, так просто заставит нас снять ее.

Нат сидел неподвижно, ему было стыдно за себя — до отвращения. Наконец он встал, медленно пересек гостиную и остановился прямо перед сестрой.

— Снимите ее, Мэй, — сказал он. — О маме буду

заботиться я.

Мэй молчала.

— Я серьезно, — настаивал он.

— Я знаю, — ответила Мэй, посмотрела ему в глаза, коротко улыбнулась и протянула руку к пачке сигарет. — Давай поговорим об этом, когда Фред придет домой. Ты душ принять не хочешь? Там одежда малышки висит, но я могу ее убрать, дело недолгое.

— Нет. Я, пожалуй, пойду прогуляюсь.

Мэй проводила его до двери.

— Нат, — сказала она, — возвращайся пораньше. Маме захочется увидеть тебя.

— Конечно, Мэй, конечно.

У самой двери сестра взяла его за локоть.

— Тебе деньги не нужны? — ласково спросила она.

Нат поколебался, ему было стыдно. Его охватила неуверенность в себе, унижение такое же, какое он испытывал в приемной доктора. Брать у сестры деньги ему не хотелось, однако у него осталась лишь пара долларов, а сколько времени он проведет вне дома, сказать было невозможно.

— Найдется у тебя пара долларов? — спросил он, не глядя на сестру.

Мэй кивнула, пошла туда, где обычно стояла ее

сумочка. Назад она вернулась с пятидолларовой бумажкой. Нат поблагодарил ее, повернулся, чтобы уйти, но сестра снова остановила его.

— Ты ведь вернешься домой к ужину, правда, Нат? — обеспокоенно спросила она.

Он сказал, что вернется.

Пройдясь немного по улице, он обернулся, постоял, вглядываясь в свой дом. Дом был одним из многих, выстроившихся вдоль улицы длинной чередой, вплотную друг к другу, так что между ними не осталось и дюймового просвета, неотличимых один от другого в их тусклой монотонности, если не считать последнего: запыленного, старого, построенного из желтого кирпича, с черными мусорными баками перед ним, из которых ветер выдувал золу. Несколько мальчишек играли на улице в футбол. Нат вспомнил, что был когда-то неплохим футболистом. Он хорошо проявлял себя и в других играх — в панчболе, в хоккее, — однако все это было в те времена, когда от тебя только одно и требовалось: быть хорошим спортсменом. А перейдя в среднюю школу, он неожиданно попал в среду ребят с самыми разными интересами, и к испытанному им тогда замешательству добавилось жутковатое понимание того, что и район, в котором он живет,

плох, и семья у него бедная, и сам он нескладен, неуклюж — деревенщина, да и только. В спорте Нат был хорош, но не настолько, чтобы его взяли в одну из сборных школы, и потому он стушевался в роении незнакомых лиц, не понимая, что ему следует делать и к чему стремиться.

Он дошел по своей улице до авеню, огляделся кругом. В двух кварталах слева от него стояла закусочная, служившая местом сбора для всех, кого он здесь знал. А сразу за ней — бильярдная. Идти туда ему не хотелось — ни в закусочную, ни в бильярдную, — но больше податься было некуда.

Перед закусочной толклось на холоде небольшое людское сборище — букмекер, несколько его клиентов, парочка заведомых бандитов и державшаяся чуть в стороне компания преждевременно повзрослевших мальчишек. Нат вошел в закусочную, взял сандвич и кофе. Ел он очень медленно. Каждый раз, как открывалась дверь, он поглядывал в ее сторону, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых и испытывая, однако же, облегчение при виде неизвестного ему человека. Поев, он вышел на улицу. И, недолго помедлив, зашел в бильярдную.

Людей здесь было не много, но среди них имелось несколько знакомых Ната; впрочем, же-

лания поговорить с ним никто не проявил. Зато владелец бильярдной, Карл, едва увидев Ната, направился к нему. Карла Нат не любил. Карл был по-раблезиански вульгарным коротышкой, круглобоким и очень волосатым, с обложенным языком, который он часто показывал тем, кому, как полагал, это может подействовать на нервы. Голос у него был тонкий, а говорил он по преимуществу колкости.

— Смотри-ка, кто к нам пришел.

— Привет, Карл, — сказал Нат.

Карл был человеком, способным на все, и потому продолжения разговора Нат ждал с опаской.

— Где это тебя черти носили?

— Уезжал из города, — ответил Нат. — Пожил немного во Флориде.

Карл, слегка склонив голову набок, окинул его взглядом и насмешливо улыбнулся.

— Во Флориде, — презрительно произнес он. — Во Флориде, чтоб я сдох. Не пудри мне мозги. Не был ты ни в какой Флориде. Знаешь, где ты был, а? В Кентукки ты был, лечился там с другими ширялами. А то — во Флориде. Кого ты надуть-то пытаешься?

Нат виновато потупился, но заставил себя улыбнуться и снова поднял взгляд на Карла.

— Черт, откуда ты это знаешь? — спросил он со слабым подобием бравады.

— Откуда я знаю? — недоверчиво переспросил Карл так, точно вопрос Ната его изумил. — А Карл все знает. Ты этого не знал?

Он торжествующе хохотнул и отошел к столу в глубине бильярдной. Нат боялся даже пошевелиться, уверенный, что все слышали их разговор, но, оторвав наконец взгляд от пола, обнаружил: никто в его сторону и не смотрит. Через несколько минут Карл с нарочитой неторопливостью вернулся. Физиономия у Карла была жирная, пухлые щеки обращали его глаза в щелки, из которых сочилась ядовитая злоба.

— Бизнес нынче ни к черту. Вшивый бизнес. И знаешь почему? Карл скажет тебе почему. Потому что холод стоит, а это помещение не протопишь. Каждый, кто приходит сюда, жалуется Карлу на холод. Каждый, кроме тебя. Ты приходишь и потеешь как свинья. Как тебе удается потеть на такой холодрыге?

Нат вышел на улицу.

Там успело похолодать, а в скором времени должно было и темнеть начать. Зима всегда такова — едва-едва за полдень, и уже темно. Летом воздух здесь был хороший, чистый, люди со всего

города съезжались сюда на пляж. Ночами стоял шум, и ничего не стоило познакомиться с девушкой, но зимой люди все больше помалкивали, выглядели одинокими, да и все здесь стихало, замирало, обращаясь в суровое напоминание о безнадежности жизни.

Нат, кляня свою неприятную особенность, со злостью отер лицо и, пройдя несколько ярдов, укрылся в темном проходе к двери давно закрытого магазина. Это маленькое замкнутое пространство и давало ему ощущение небольшой, но все-таки безопасности и позволяло наблюдать за дверью бильярдной, оставаясь никем не замеченным. В дверь вошли и вышли из нее несколько человек, и наконец Нат увидел человека, который заставил его выступить из темноты на свет.

— Сол! — позвал он. — Сол!

Сол, увидев его, удивился. Однако улыбнулся и тепло пожал руку.

— Здравствуй, Нат, — сказал он.

— Здравствуй, Сол. Как поживаешь?

Сол покивал. Он был на несколько дюймов выше Ната — довольно красивый, с приятными глазами и очень тонкими черными волосами. С мгновение он озадаченно вглядывался в укрытие

Ната, затем обернулся к бильярдной и, похоже, все понял.

— У тебя время есть? — небрежно спросил он. — Я хочу сделать ставку, это недолго.

Нат кивнул. Встреча с Солом обрадовала его. Сол был умный, очень, три года в колледже проучился. Когда-то они крепко дружили, но в последнее время Сол держался особняком. Приятели Ната его не любили, им казалось, что он дерет перед ними нос, а их это обижало, и они время от времени отпускали на его счет шуточки. Нату эти шуточки не нравились, однако Сола он от приятелей никогда не защищал. Сол вернулся через несколько минут.

— Где ты пропадал, Нат? Давно я тебя здесь не видел.

Нат помолчал, недолго.

— Уезжал на время во Флориду.

— И как там живется?

— Совсем неплохо, — ответил Нат.

Они неторопливо пошли по авеню, миновали бильярдную, пересекли поперечную улочку и в следующем квартале присели на ступеньки перед входом в один из домов. Сол протянул Нату сигарету, какое-то время они молча курили.

— Сол, — произнес Нат и посмотрел в сторону,

ему было стыдно. — Не был я ни в какой Флориде. В Кентукки ездил.

Сол негромко хмыкнул.

— Знаю, — сказал он. — На лечение?

Нат кивнул.

— Они меня вообще в порядок попробовали привести. Похоже, на наркоту я подсел не так уж и сильно. Мне даже на полный срок оставаться там не пришлось.

— Тяжело было, Нат? — спросил Сол.

— Да. Поначалу очень. — Нат издал нервный, смущенный смешок. — А ты еще покуриваешь, Сол? Ты кури, если хочешь.

— Тебя это доставать не будет?

Нат покачал головой. Сол достал из кармана тонкую сигаретку, и через несколько секунд по воздуху поплыл очень сильный, густой и сладкий запах марихуаны. На боковой улочке стояли в дверном проеме, разговаривая, юноша и девушка. В лице юноши было что-то знакомое, однако внимание Ната привлекла девушка. Издали она показалась ему красивой — очень красивой и очень счастливой, — и Нат позавидовал близости юноши к ней, его способности делать ее счастливой. Сол, куря, причмокивал, и Нат время от времени поглядывал на него с жадностью. План

— штука хорошая, говорил он себе. План просто встряхивает тебя, а когда он кончается, ты на стену не лезешь, это все-таки не герыч и не кокаин, нет, план — это вещь. Он попросил Сола дать ему затянуться, тот поколебался, посомневался, но дал. На душе у Ната мгновенно полегчало. Он затянулся, задержал немного дыхание, затем вернул сигарету Солу и с наслаждением выдохнул дым.

— Знаешь, занятно, как действует на человека травка, когда он под газом, — сказал Нат. — Одна сигарета может с копыт свалить.

— Да, — отозвался Сол, — мне говорили.

— Как тебе удалось не подсесть, Сол? — серьезно спросил Нат.

Сол неторопливо покачал головой.

— Героин — дрянь, Нат, — убежденно сказал он. — Думаю, ты и сам теперь это знаешь. Ты ведь был здесь, когда он только-только появился. Помнишь, как это произошло?

Нат все помнил отчетливо. Один морячок смылся с деньгами, выданными ему на покупку фунта марихуаны. Потом он вроде бы появился снова, и двое ребят отправились к дому, в котором он снимал комнату, чтобы подстеречь его. Однако морячок не появился. Они взломали замок на

двери его комнаты, переворошили все его вещи, но нашли только старательно упрятанный среди них мешочек с капсулами. Какой-то инстинкт подсказал им, что находка их имеет немалую ценность, и они вернулись с ней в этот район. А здесь нашелся человек постарше, опознавший содержимое капсул и знавший, как с ними следует обращаться.

Их было около дюжины, свернувших с авеню в темную боковую улочку, — некоторые, как Нат и Сол, пошли туда просто посмотреть, что будет. Они стянули в закусочной столовую ложку, а зажигалок их хватило бы и для того, чтобы выпарить все капсулы до единой. Шприца у них, разумеется, не имелось, пришлось обойтись подкожным введением наркотика. Они по очереди прокалывали себе булавкой кожу предплечья и втирали в ранку получившийся после выпарки порошок. Некоторые делали это не очень ловко, так что крови пролилось немало. Процедура была медленной, и еще до того, как последний из них управился с ней, первого начало рвать. Через несколько минут рвало уже всех — каждый из них впервые попробовал настоящую «дурь». Картина эта сохранилась в памяти Ната как живая, и сейчас, снова увидев ее, он ностальгически

улыбнулся.

— Да, — сказал он, — то еще было зрелище.

— Жуткое, — с чувством согласился Сол. — Ничего тошнотворнее в жизни не видел. Как ты ухитрился подсесть после этого, Нат?

Нат давно уже размышлял над этим вопросом, однако и теперь довольно долго молчал, прежде чем ответить Солу.

— Не знаю, — очень тихо сказал он. — Думаю, мне просто нечем больше было заняться.

— Ну да, — согласился Сол. — Наверное, все дело в этом.

Оба замолчали. Нат снова взглянул на разговаривавшую в проеме двери парочку. Они не прикасались друг к дружке, но слегка покачивались, сближаясь и отстраняясь в упоенной, изящной, бессознательной игре соблазна, обещания, отказа, составлявшей фон их разговора.

Девушка была светловолосой. Нат подумал, как приятно было бы коснуться мягких прядей ее волос, вдохнуть их сладкий, свежий аромат. Вот кто ему нужен, решил он, девушка — не шлюшка, а хорошая девушка, кто-то, с кем можно будет смеяться по утрам. Однако с хорошей девушкой он и заговорить-то не смог бы. С проститутками Нат затруднений не испытывал — не бегал за

ними, конечно, а вступал в игру уже после того, как их снимал кто-то другой, но о чем можно разговаривать с хорошей девушкой, и ведать не ведал. И потом, с хорошей девушкой нужны деньги. В подъезде с ней не посидишь, в парк ее тоже не потащишь, и даже если бы у него были деньги, чтобы поехать с девушкой в центр города, куда бы он мог ее повести? Ничего, кроме кино, в голову ему не приходило, а там он всю ночь цепенел бы от мучительной уверенности в том, что девушке скучно, что ничего он с этим поделать не может, что он потерпел жалкую неудачу.

Все это пронеслось в голове Ната, и он вдруг резко повернулся к Солу.

— А где Берри, Сол? Ты давно его видел?

Сола вопрос удивил.

— Я думал, ты вылечился, — сказал он.

— Я и вылечился. По крайней мере считал так. Не знаю, Сол. — Нат с несчастным видом потряс головой. Он сжимал и разжимал пальцы, глядя на темный асфальт под ними. — Знаешь, стоило мне вернуться в Нью-Йорк, у меня с первой же минуты нервы поехали. В дороге все было хорошо, но как только я вошел в наш дом, меня всего заколотило внутри. Не знаю, что произойдет, когда я увижу Берри. Мне в общем-то и не укол

нужен, но что-то нужно, и я не знаю, что случится, когда я его увижу.

— Так, может, тебе уехать, Нат? — Сол сжал его руку, серьезно взглянул в глаза. — В другой город. Тебя же ничто здесь не держит.

— Я думал об этом, Сол. Но куда мне ехать? Только во Флориду или в Калифорнию, где у меня знакомые есть. А там все начнется сначала.

— Поезжай туда, где у тебя нет знакомых.

Нат горько усмехнулся.

— Не могу, Сол. Знаешь, как плохо одному в чужом городе?

— Да, — тяжело вздохнул Сол. — Наверное.

Оба примолкли. Нат снова начал потеть, даром что изнутри его наполняла холодная, всепроникающая неуверенность. Он оторвал взгляд от тротуара, посмотрел в сторону дверного проема, туда, где стояла парочка. Девушка уже исчезла, юноша медленно шел к авеню. Нат смотрел, как он приближается к уличному углу, и внезапно узнал его и даже глаза вытаращил от изумления. Это был Берри, и Нат ощутил страшное разочарование.

— А вот и твой дружок, — негромко произнес Сол.

Нат хмуро кивнул. Он снова взглянул на опу-

стевший проем, попытался припомнить, как выглядела девушка, но не смог — память его не сохранила ни облика ее, ни даже цвета волос. Берри уже шел по другой стороне авеню. Нат окликнул его.

Берри неторопливо пересек улицу. Он был высок, худощав, по бледному лицу его расплывалась широкая, самодовольная улыбка. Солу он просто кивнул, а Нату сказал:

— Я думал, ты в твоем летнем лагере.

— Только что вернулся, — ответил Нат.

— Ненадолго тебя хватило. — В тоне Берри проступила презрительная нотка. — Ты, случаем, не лечиться ездил, а?

— Лечиться, чтобы их всех, — ответил Нат. Он ощущал на себе взгляд Сола, но смотреть на Берри ему было легче. — Сбежал оттуда, как только меня перестали колоть.

— Да-а-а? — недоверчиво протянул Берри. — Ник и Чарли уехали до тебя, а их так до сих пор и колют.

— Выходит, им повезло больше моего. Ты куда сейчас?

— Домой, ужинать. А что?

— У тебя с собой есть что-нибудь?

— А ты заплатить можешь?

— У меня есть пять долларов.

— Ну, значит, и у меня что-нибудь найдется, — усмехнулся Берри.

Нат, ощущая усталую покорность судьбе, поднялся со ступеньки, сошел на тротуар. На миг он встретился глазами с Солом и тут же смущенно отвернулся.

— Пока, Сол. Рад был тебя видеть.

— Да, — ответил Сол.

Нат пошел следом за Берри. Они дошли до угла, и тут Нат остановил его, попросил подождать и вернулся к крыльцу. Сол так там и сидел. Нат, склонившись к нему, заговорил со страдальческим надрывом:

— Сол, то, что я сказал ему, неправда, все было иначе. Я поехал туда лечиться, натерпелся там черт знает чего, и, похоже, зазря.

— Да все в порядке, — ответил Сол. — Ты не обязан мне ничего объяснять.

— Просто я хотел, чтобы ты знал, Сол.

— Конечно, Нат. Я понимаю.

Нат распрямился, отступил, полный печали, на шаг.

— Ну, пока, Сол. Увидимся.

— Да, — сказал Сол. — Ты, главное, не переживай.

День за городом [33]

Бильярдная была почти пуста. Несколько старшеклассников шумно играли за одним из передних столов в девятку, побросав учебники на длинные деревянные скамьи, что тянулись, одна напротив другой, вдоль желтых, покрытых пятнами стен во всю угрюмую длину узкой комнаты. Нат быстро окинул скамьи взглядом, разочарованно поморщился и направился к Карлу, сидевшему в самой глубине заведения. На ходу он беспокойно облизывал губы. Он миновал Чокнутого Джорджа — тот одиноко сидел, уставив перед собой пустой взгляд, — тихий и вполне довольный своим обществом, жуя сандвич, запивая его шоколадным молоком из бутылки. В воздухе пахло пылью. Бильярдная была старой, старше двадцатишестилетнего Ната. Он помнил, как еще мальчишкой околачивался у ее двери, выспрашивая у каждого выходившего результаты бейсбольных матчей. Однажды там убили человека, давно, во времена «сухого закона», — застрелили, пока он, готовясь к сложному удару,

---

[33] Примечания: 33
Рассказ написан между 1950 и 1952 гг.

натирал мелком кончик кия и прикидывал углы, под которыми должен отскакивать от бортиков шар. Почему его застрелили, не знал никто. Давние завсегдатаи вроде Чокнутого Джорджа любили рассказывать эту историю. «Хватит уже, Христа ради! — однажды рявкнул Нат Чокнутому Джорджу. — Это что, главное событие твоей жизни?» Он хорошо помнил обиду, засветившуюся в глазах старика.

— Мне нужны деньги, Карл.

Карл неподвижно сидел за шкафом с застекленными дверцами, в котором он держал кии, шары и крошечные кусочки мела. Лицо у Карла было пустое, скучающее. Он был толстым коротышкой с крепким широким лбом и обвислыми щеками, вдоль которых спускались к маленькому бескровному рту обманчиво веселые складочки. Нату он ничего не ответил.

— Совсем немного, Карл.

Несколько секунд Карл смотрел на него без всякого интереса, а затем пожал плечами и покачал головой.

— Почему? — спросил, повысив голос, Нат.

От стола на другом конце бильярдной долетел взрыв смеха — один из игроков умудрился ударить по шару так, что тот перескочил через борт

и, звучно врезавшись в пол, подкатился к стене и глухо ударил по ней.

— Чертова ребятня, — пробормотал Карл.

— Ради Бога, Карл!

— Это ведь ты на игле сидишь, — спокойно произнес Карл. — Не я.

— Я тебе никогда ни в чем не отказывал. И никогда не обманывал тебя ни на цент.

— А завтра чего от тебя ждать прикажешь? — спросил Карл медленно, с прежней монотонной отрешенностью.

Несколько минут Нат смотрел на него, ритмично сжимая и разжимая кулаки, потом резко развернулся и пошел прочь. Он знал Карла и знал, что дальнейшие уговоры бессмысленны. Дойдя до ближайшей двери, Нат вышел на боковую улочку. Холодный сырой воздух заставил его остановиться. «Господи Иисусе Христе, — мысленно постанывал он. — Времени почти не осталось!» Страх, словно притянутый этой мыслью, всколыхнулся в его душе, начал набирать ураганную силу, и Нат торопливо пошел по улочке, а выйдя на авеню, остановился и огляделся вокруг. Сообразить, куда теперь идти, он не мог и потому начал неуверенно пятиться, оказавшись в итоге у парадной двери бильярдной.

Что удручало Ната сильнее всего, так это пустая трата. Трата времени, трата денег, отданных за проезд в автобусе, вся его страшная борьба с немыслимой болью, ужасом, тоскливым отчаянием, в которой его хватило лишь на три дня (одно уж то, что он вел им счет, могло бы сразу сказать ему о многом) и которая началась после того, как он заприметил на улице Куки. В понедельник он стоял вот здесь, на углу, с Солли Харрисом и, смеясь, ощущая неудержимый прилив счастья и гордости, рассказывал ему о своей победе в том, что он шутливо называл «битвой при Лексингтоне». И вдруг заметил Куки, молча стоявшего на другой стороне авеню. Лицо у него было землистое, все в морщинах, тело — тощее, покрытое жалкими отрепьями — подрагивало, он появился точно какой-то безжалостный, неумолимый призрак, и на этом все закончилось. Битва при Лексингтоне оказалась проигранной.

— Не подходи к нему, Нат, — мрачно предостерег его Солли Харрис.

— Да я просто поздороваться хочу.

— Ты пожалеешь об этом, Нат.

— Не сходи с ума, Солли, — усмехнулся Нат. — Я вернусь через минуту.

— Нет, Нат, не вернешься. Ты никогда уже не

вернешься.

Нат отбросил сигарету, в отчаянии взглянул на тусклое, безрадостное небо. Стоял серенький ветреный декабрьский день. Редкие рваные облака неслись по сумрачному небу, гонимые холодным шумным ветром, порывы которого налетали каждые несколько минут точно вспышки гнева, обуревающего тирана, и мстительно хлестали все, что попадалось им на пути. По авеню тянулась торжественная, зловещая, беспорядочная процессия незнакомых Нату мужчин, женщин, детей и стариков, укутанных в теплые одежды и оттого неповоротливых, передвигавшихся в тяжелом молчании со склоненными навстречу ветру головами, — все они, даже дети, казались уныло-серыми, а лица всех покрывала старческая, безжизненная бледность. Он побывал сегодня повсюду: стучал в двери, жал на кнопки звонков, — но никого не застал дома, никого и не ждали домой раньше вечера. А щеки его уже начинали зудеть, их уже покалывали злобные, острые иголочки. Нат ожесточенно стиснул зубы и пошел к своему дому.

Дорогой он никого не встретил. Как только он увидел издалека дом доктора Вайнера — знакомое серое двухэтажное здание, стоявшее чуть

поодаль от угла улицы, за хилыми кустиками и лужайкой шириной в несколько шагов, — в душе Ната на миг вспыхнула надежда, однако храбрость в ту же минуту покинула его, он даже перешел на другую сторону улицы, чтобы не столкнуться случайно с изящным белоголовым доктором, который почти тридцать лет обслуживал его семью и с которым он был когда-то в таких хороших отношениях. Миссис Куперман, мать Ната, и сейчас еще регулярно посещала его со своими варикозными венами и угрожающе высоким давлением, обращавшим для нее жаркие летние месяцы в чистый ад. Визиты эти она оплачивала тем, что оставалось от денег, которые выдавали ей сестра и старший брат Ната — они были людьми семейными и жили отдельно. С матерью жил только Нат. Миссис Куперман была женщиной голосистой, упрямой, вспыльчивой, она сама положила строгие пределы суммам, которые соглашалась принимать от детей, и в суровом молчании горевала о том, что Нат и его старший брат не разговаривали друг с другом.

Когда Нат пришел домой, матери не было. Его комната оказалась прибранной, чистой, пропылесосенной: одежда, обувь, даже мокасины, которые он предпочитал держать под кроватью,

были аккуратно убраны в платяной шкаф. Он постоял немного, желая окончательно убедиться, что в квартире никого нет, и начал открывать ящик за ящиком, дверцу за дверцей, переходя с лихорадочной решимостью от комода к комоду, заглядывая в каждый стенной шкаф, обыскивая квартиру с дотошным, продуманным усердием. Руки его неудержимо тряслись. Время от времени Ната обуревало смятение, заставлявшее его разбрасывать вещи, однако эти приступы паники проходили, и он, сделав над собой мучительное усилие, складывал все в прежнем порядке. И все это время лицо Ната никакого воодушевления не выражало — казалось, что он заранее смирился с поражением. Внезапно он обессилел и замер на месте посреди спальни матери. Он с самого начала знал, что ничего не найдет. Во всей квартире была только одна ценная вещь — зимнее пальто матери, да и то она надела уходя.

Нат сокрушенно потащился в свою комнату, лег на кровать, прикрыл рукой лицо. Боли пока не было, но первые предвестники ее уже появились. Из кухни доносилось «кап-кап-кап» подтекавшего крана. Страх, наполнивший душу, принес с собой собственную боль, и Нат начал громко стонать.

Таким и нашла его мать — растянувшимся на кровати, издававшим жутковатые, мучительные звуки, глядевшим в потолок оцепенело, неотрывно, как впавший в транс человек. Испуганный вскрик матери удивил Ната, и он повернулся к ней и увидел ее толстые, бесформенные ноги в эластичных бинтах, на которые никогда не мог смотреть без горестного чувства и которых стыдился из-за того, что их могли увидеть и другие люди. Он виновато взглянул на мать, нервно провел языком по губам, а затем приподнялся, опершись на локоть, и торопливо произнес, задыхаясь:

— Мне нужны деньги, мам.

На глаза миссис Куперман набежали слезы, она смотрела на сына с ужасом, отказываясь верить. Несколько секунд она даже говорить не могла.

— Опять, Натан?! — наконец воскликнула она. — Опять? Ты сказал, что покончил с этим. Ты говорил мне. Говорил, что все кончено.

— Не кончено, мам. Я старался, не получилось.

Она слабо покачала головой, провела красной от холода рукой по лицу.

— Сходи к доктору Вайнеру, Натан, — попросила она дрожащим голосом. — Пожалуйста, Натан. Сходи к нему. Он знает, что надо делать.

— Я уже был у докторов, — яростно выкрикнул Нат, разгневанный тем, что разговор этот затягивается, а время уходит. — Черт подери, почему ты думаешь, будто они хоть на что-то годятся?

Глаза миссис Куперман расширились от нового потрясения, губы задрожали. Сдерживаться и дальше она не смогла. Горестный вопль вырвался из ее груди, она начала раскачиваться из стороны в сторону, прижимая бумажный пакет, с которым вернулась домой, к груди, точно умирающего ребенка.

— Мама! — яростно и нетерпеливо закричал Нат. — Мама!

— Где я их возьму? — словно оправдываясь, воскликнула она. — Откуда я возьму деньги?

С мгновение миссис Куперман негодующе смотрела на сына, затем настроение ее снова переменилось, и она быстро шагнула к нему, глаза ее вспыхнули, лицо раскраснелось.

— У меня есть деньги! — крикнула она и поджала дрожавшие губы. — Подожди, сейчас ты их получишь.

Она сунула руку во внутренний карман пальто, вытащила кожаный кошелек и презрительно бросила его на кровать.

— Вот! Вот твои деньги!

Нат жадно схватил кошелек. Там лежало всего лишь несколько мелких монет, и когда Нат поднял на мать непонимающий взгляд, кошелек выскользнул из его пальцев и упал на пол.

— Сорок три цента, — с тем же страстным сарказмом объявила она после того, как Нат поднял кошелек и пересчитал монеты. — Сорок три цента. Если тебе нужно больше, у меня есть больше. Подожди! Если этих денег не хватит, я дам еще. Держи! Вот они.

Она шагнула к сыну, протянула ему бумажный пакет:

— Пожалуйста! Здесь на шестьдесят центов мясного фарша. Бери его. Ну, бери! Отнеси его мяснику. Вот и будут тебе деньги! Шестьдесят центов за фарш, который я купила на ужин!

Нат вырвал пакет из ее рук, стремительно перекатился на кровати и врезал пакетом по стене. Глаза его были полны слез. Он зажмурился, яростно сжал веки с такой силой, что кровь взревела в ушах. Миссис Куперман замолчала, наступила тишина, которой он не замечал, пока мягкая ладонь матери не легла ему на руку.

— Где я возьму их, Натан? — повторила миссис Куперман, но на этот раз тихо, с нежностью и жалостным сожалением. — Откуда я возьму

деньги?

Нат присмирел, успокоенный легким прикосновением матери и мягким, утешительным страданием, звучавшим в ее голосе. Он отвернулся от стены, взглянул на мать. Она стояла над ним, тихо кивая, не сводя с него влажных любящих глаз, грустно улыбаясь с трагической и вечной мольбой о прощении.

— Мне нечего дать тебе, Натан. Иди к доктору Вайнеру, иди, Натан, прошу тебя. Вот увидишь, он поможет.

Ни на что другое времени не осталось. Нат уже чувствовал, как в его теле рождаются очаги онемения, омертвелые, словно припорошенные пеплом участки тканей, которые, помедлив немного, оживут и наполнят его раздирающей тело, пронзительной болью, и она свалит его, вопящего, с ног и в конце концов лишит, словно смиловавшись, сознания.

— А я застану его на месте, мам? Он сейчас принимает?

Миссис Куперман кивнула, помогла сыну надеть пальто, поторапливая ободряющими словами, нервно похлопывая по спине, в глазах ее разгоралась все нараставшая и нараставшая тревога.

— Хочешь, я пойду с тобой, Натан? Подожди, я сейчас.

Он отчаянно потряс головой и выскочил из квартиры.

Серый угловой дом доктора Вайнера отделяли от дома Ната пять кварталов — один, очень длинный, тянулся вдоль авеню, за ним следовали четыре других, покороче, и Нат, едва выйдя на улицу, понял, что столь долгий путь ему не одолеть. Щеки снова наполнил пульсирующий, злобный, нескончаемый зуд, еще более острый и мучительный из-за его неотвязности, — Нат уже знал, что теперь счет времени идет на минуты. Первый удар боли настиг его, когда до цели оставалось два квартала. Он припустился бежать, но остановился — слепящий, рвущий тело удар повторился. Нат все же засеменил дальше, его мотало из стороны в сторону, он то разводил, не вынимая из карманов пальто, руки в стороны, то впивался всеми десятью пальцами в ноги. В висках стучало, ему было трудно дышать. Наконец он оказался перед домом доктора Вайнера, взлетел на крыльцо и привалился к двери. Несколько мгновений он не мог оторваться от нее, истерически глотая воздух и молясь о том, чтобы ему хватило сил устоять на ногах. Проделанный путь

вымотал его окончательно, и когда он ввалился в приемную, перед глазами у него все плыло. Где-то далеко-далеко зазвенел звонок, сидевшая в приемной очень толстая женщина с грубым красным лицом и огненно-ярким ячменем на левом глазу провожала Ната, описывавшего по приемной круги, враждебным взглядом. В конце концов Нат увидел проносившееся мимо кресло и упал в него.

Очнулся он уже в кабинете доктора Вайнера. В ноздрях стоял запах чего-то едкого, лившийся из двух окон тусклый свет резал глаза.

— Что с тобой, Нат? Говори скорее.

Доктор Вайнер смотрел на него неотрывно и озабоченно. Увидев тонкие пряди белых волос доктора, узнав его худое, полное сострадания лицо с усталыми серыми глазами, бледной и нежной кожей, точно у младенца, Нат ощутил прилив умиротворения и облегчения. Он благодарно улыбнулся, но тут к нему вернулась еще какая-то малая часть сознания, а с нею и боль. Теперь она заполнила собою все его тело, кромсая, точно ножом, почки, печень, желудок, выкручивая и раздирая орган за органом, врываясь в их заповедные глубины.

— Мне нужна доза! — крикнул он.

— О чем ты, Нат?

Он попытался ответить, но не успел произнести даже одно слово, как внезапная судорога свела его нижнюю челюсть, жутко исказила лицо, наполнив уши скрежетом сминаемых хрящей и выворачивая мышцы шеи. Доктор Вайнер изумленно отшатнулся, глаза его помрачнели — он все понял.

— Это ужасно, Нат, ужасно! — сдавленным голосом произнес он.

Нат молчал, стиснув зубы и умоляюще глядя на него.

Доктор Вайнер, покачивая в горестном ошеломлении головой, обогнул свой рабочий стол.

— Поверить не могу, — печально продолжал он, с давно вошедшей у него в привычку неторопливой тщательностью выговаривая каждое слово. — Просто не могу поверить.

— Доктор Вайнер! — взмолился Нат.

— Тебе нужно лечиться, — наставительно произнес доктор. — Ничего другого не остается. Только лечение. Я дам тебе денег на него.

Нат в отчаянии подскочил к столу, схватил доктора за руку. Он попытался произнести какие-то умоляющие слова, однако губы зашевелиться не пожелали, и Нат просто подергал доктора за

руку, чтобы заставить понять. Он начал огибать стол, но потерял, зацепившись бедром за угол, равновесие и едва успел снова рухнуть в кресло, как на него опять навалилась тьма.

Очнувшись, он при первом же проблеске сознания понял, что его наполняет приятное ощущение бодрости. Что-то крошечное сильно холодило сгиб локтя, Нат остро чувствовал эту точку, которая так приятно возбуждала его, что он даже улыбнулся от удовольствия. Прошло несколько минут, прежде чем он пришел в себя окончательно, однако, еще только выкарабкиваясь из темноты, Нат принялся составлять план. Первый шаг сделан, это главное, все остальное не важно. Нужно же думать и о завтрашнем дне (Господи, Карл точно в воду глядел!), и о послезавтрашнем, и о дне, который наступит за ним, — да, но действовать следует быстро, пока полученный им укол не заработал в полную силу и не увлек его во мглу нереальности, заставив забыть обо всем на свете.

— Тебе лучше, Нат?

Доктор Вайнер стоял рядом с ним, еще держа в руке шприц. Нат кивнул. Доктор осмотрел метины, оставленные прежними уколами, и спокойно направился в угол кабинета, чтобы опустить

шприц в чашу с антисептическим раствором. Как только доктор повернулся к Нату спиной, тот принялся шарить по кабинету глазами. Он уже заметил стоявшую на столе бутылочку с жидкостью, и теперь торопливо оглядывал выстроившиеся вдоль стен кабинета стеклянные шкафы, высматривая на их полках другие такие же. Чувствовал он себя хорошо, просто-напросто хорошо, однако старался сохранять на лице удрученное выражение.

— В Кентукки, в Лексингтоне, есть федеральная лечебница, — сказал доктор Вайнер, устало усаживаясь за стол и проводя ногтем большого пальца аккуратную черту по странице перекидного календаря. — Думаю, ты о ней уже слышал.

— Я там был, доктор Вайнер, — ответил Нат, постаравшись, чтобы голос его прозвучал пожалостнее, и осторожно подвинулся вместе с креслом немного вперед, выжидательно глядя на доктора. — Не помогло.

— Поезжай снова, — сказал доктор Вайнер. — Только на этот раз сюда не возвращайся. Здесь у тебя дурное соседство. Ко мне раз в неделю, это самое малое, приходит кто-нибудь вроде тебя. Обычно я колю этим людям снотворное и звоню в полицию.

— Я же говорю вам, проку от этого не будет, — протестующе заявил Нат, чувствуя, как в душе его закипает неподдельное сварливое раздражение. — Я попробовал и только намучился зря. Я видел в этой лечебнице людей, которые приехали туда по девятому, по десятому разу. И видел тех, кто провел там большую часть жизни. Я не могу бросить. Некоторые могут, а я не могу. Я попробовал — не получилось.

— Значит, не поедешь, Нат? — негромко спросил доктор Вайнер.

Нат сокрушенно покачал головой.

— Но что тебе остается, Нат? Что ты можешь сделать? Нельзя же жить в таком аду.

— Есть еще вот это, — ответил Нат, прикоснувшись к ватке, так и лежавшей на сгибе его локтя, и взглянув доктору прямо в глаза.

— Это, Нат? — Доктор Вайнер улыбнулся, отчасти насмешливо, отчасти сочувственно. Он опустил взгляд на стол и продолжил, теперь уже иронически: — Твоя мать не была у меня почти два месяца. Тебе это известно? А она должна появляться здесь регулярно. Иначе ей грозит беда, она это знает, но не приходит ко мне. Не приходит, потому что у нее нет денег.

Нат слушал и чувствовал, как душой его овла-

девает тревога. Но все же решил дать доктору еще одну минуту.

— Как ты будешь добывать наркотики, Нат? Они не дешевы, а долго удерживаться на какой угодно работе ты не сможешь. Как же ты собираешься добывать их?

— Они есть у вас, доктор Вайнер, — ответил Нат и замер, ожидая ответа.

— Нет, Нат. Даже не думай. От этой мысли ты можешь отказаться, не сходя с места.

Нат поколебался, но совсем недолго. Осталось только одно. Он метнулся вперед, сорвал со стола бутылочку, быстро отскочил, наполовину ожидая, что доктор набросится на него, но тот не набросился, и Нат торжествующе поднял перед собой свою добычу и расхохотался. Доктор наблюдал за всем этим с холодным удивлением.

— Ты оскорбил меня, — негромко и неторопливо произнес он. — Впрочем, этого мне, пожалуй, и следовало ожидать.

Нат хохотнул ликуя. Он перекатывал бутылочку между ладонями. Голова его начинала кружиться, и он сжал добычу покрепче, словно желая убедиться, что она действительно у него в руках. И засмеялся снова.

— Если ты будешь валять с этим снадобьем

дурака, долго смеяться тебе не придется, — сухо сообщил доктор Вайнер. — Это всего лишь снотворное, однако большая его доза просто убьет тебя.

Нат замер, а затем его затрясло от гнева.

— Так вы мне его вкололи?

— Собирался, — ответил, поморщившись, доктор Вайнер, — но передумал. Решил, что лучше будет поговорить с тобой.

С мгновение Нат смотрел на него, тяжело дыша, затем одним мощным, звериным рывком обогнул стол, склонился над доктором, вперив в него свирепый взгляд, и яростно крикнул:

— Где оно? Проклятие, где?

— Ты сумасшедший, Нат! — заявил доктор Вайнер, гневно повысив голос почти до крика. — Слышишь? Сумасшедший, как все они!

Нат схватил доктора за грудки, поднял из кресла, и мгновенно весь кабинет завертелся и поплыл перед его глазами, он словно попал в западню — гротескный, демонический туман, которым он не мог управлять и которого не мог понять, окружил его, посверкивая, со всех сторон. Собственные крики долетали до Ната откуда-то из угла, он тряс доктора Вайнера — вверх-вниз, вверх-вниз, снова и снова, — и смешная белая

голова подпрыгивала перед его глазами словно попавший в аппарат для жарки поп-корна пинг-понговый мячик. Кулак доктора слабо ударял Ната в грудь, потом ладонь старика раскрылась, и Нат увидел в ней маленький пузырек, и сцапал его, и сунул в карман. Однако трясти доктора не перестал, белая голова снова замоталась перед ним, он завывал в правое ухо старика: «Еще! Еще!» — с силой, наверняка причинявшей доктору боль, и вдруг что-то взорвалось в груди Ната, наполнив ее теплым, золотистым сиянием, изумительным, трепещущим восторгом, который прокатился, точно некая гибкая теплая змея, пропитывая собою мышцы и кости, по всему его телу вниз, к ногам, к самым кончикам пальцев, оставив Ната онемевшим и счастливым, лишившимся и сил, и тревог.

Сонно улыбаясь, он отпустил доктора Вайнера, отвернулся от него, окинул взглядом комнату, которая, показалось Нату, дремала под мерцающим покровом мира и покоя. Способность ясно видеть вернулась к нему, но он простоял несколько секунд, глядя на дверь, и только по истечении их понял, на что глядит. Ему потребовалось время, чтобы добраться до нее. Он слышал, как кого-то рвет за его спиной, потом раздался придушен-

ный, с трудом произносивший слова голос:

— …полицию. Если… ты придешь еще… я вызову… полицию.

Нат захихикал, радуясь оттягивавшей его карман вожделенной добыче.

Когда он пересекал приемную, толстая женщина что-то произнесла, и Нат, воспитанно обернувшись на ее голос, ответил ей каким-то комплиментом (или ему так показалось, наверняка сказать он не смог бы). Теперь можно было пойти домой и завалиться в постель. У него был полученный от доктора Вайнера пузырек, он покажет этот пузырек матери, скажет, что доктор Вайнер велел ему лечь, а ее просил сына не беспокоить. Так он сможет валяться в своей комнате, и мать к нему лезть не станет.

Снаружи стоял такой же, как в кабинете, приглушенный покой — ни дать ни взять один из тех упоительных июньских дней его детства, в которые отец вывозил всю их семью в парк «Пэлисейдс», чтобы она провела день за городом, или морозное ясное утро, когда он просыпался и видел за окном улицу — чистую, спокойную, белую. Солнце согревало лицо Ната. Нет, скорее все-таки солнечный день за городом. Нат шел по авеню и с тихой радостью думал о том, что солнце

не сядет никогда.

С утра и до вечера [34]

Они неторопливо шли по парку, и наконец дорожка сделала поворот, открыв перед ними спуск к озеру.

— Прости, что я такая сегодня, — сказала она и виновато улыбнулась.

Энди тоже улыбнулся, но ничего не ответил. Несколько минут спустя они оказались у озера и пошли вдоль него, следуя извивам берега. Парк купался в волшебстве теплого осеннего дня, приглушавшем звуки, замедлявшем любое движение, отчего все вокруг выглядело далеким и нереальным. Небо светилось ясной синевой, солнце сияло, но было немного зябко, и Энди понимал, что к вечеру похолодает. Эстер остановилась, отломила от росшего при дорожке куста длинную ветку и, когда они пошли дальше, принялась неспешно постукивать ею по стволам деревьев, кустам и стоявшим вдоль дорожки скамьям.

Энди вглядывался в ее маленькое круглое ли-

---

[34] Примечания: 34
Рассказ написан между 1946 и 1949 гг.

цо, повернутое к озеру, по которому медленно перемещалась нелепая флотилия гребных лодок. Эстер осталась совершенно такой, какой была. Одетая как Бог на душу положит, она привлекала мужчин именно своей небрежностью — маленькая обаятельная женщина с бледным от недостатка сна и дурной пищи, которую она поглощала в ночных кафетериях, лицом. Она была красива, хотя и миниатюрна: чистые светлые волосы, на удивление полная для столь маленького тела грудь, непринужденная поступь и непосредственность манер, — все это таило в себе что-то неизъяснимо прекрасное. Прошло всего три месяца, а ему уже страшно хотелось вернуть ее.

За изгибом тропинки показались велосипедисты. Эстер и Энди на шаг отступили к озеру, подождали, пока шорох покрышек пронесется за их спинами и затеряется в шелесте палой листвы.

— У тебя вид человека, который что-то задумал, — сказала Эстер, пока они пересекали, направляясь к парку, Коламбас-Серкл.

Энди объяснил ей, что именно, и она приняла новость без удивления. Последовало долгое молчание, а когда Эстер наконец открыла рот, то заговорила о музыке Дебюсси. Энди с таким

нетерпением ждал ее ответа, что не сразу понял, о чем она говорит, а поняв, едва не расхохотался, потому что Эстер осталась такой же, какой была, и потому что поверил — все будет хорошо.

— Значит, ты возвращаешься на работу? — спросила она теперь.

Он кивнул.

— На ту же?

— Да, — ответил он. — На ту же.

Работа была препаршивая, и он это знал. Ты лезешь из кожи вон и в один прекрасный день понимаешь, что зря расходуешь время, не делая просто-напросто ничего. Тебе хотелось сделать столь многое, да и сейчас еще хочется, но ты ясно понимаешь, что не сделал ни того ни этого и никогда не сделаешь, и от таких мыслей охватывает отчаяние, ты начинаешь паниковать. Ты видишь, как огромен мир, понимаешь, как ограниченны твои возможности, понимаешь, что все тебя окружающее в конце концов пойдет прахом, и томишься желанием сделать что-нибудь поскорее, пока еще не слишком поздно. У тебя была работа и была женщина. Донимала тебя, разумеется, работа, на которой ты вынужден был писать статьи, хотя тебе следовало писать пьесы, однако избавиться от нее ты не мог, потому что

она давала тебе кусок хлеба и бокал вина, вот ты и избавился от женщины. А потом, подведя итоги, понял, что ничего не выиграл, зато потерял очень многое.

— Смотри, — сказала Эстер. Она легко стукнула его веткой по руке и указала на озеро. — Там рыбу удят.

На берегу у самой воды вырастал из земли большой валун, а за ним вдавалась в озеро короткая и плоская коса. Несколько мальчиков стояли на ней у воды, поводя в ожидании поклевки самодельными удочками. За их спинами расположилась парочка мамаш, любовно присматривавших за детьми, а по другую сторону косы двое влюбленных щелкали, смеясь, затвором дешевенькой фотокамеры.

— Хочешь, спустимся, посмотрим?

Эстер кивнула. Они оставили дорожку, сошли на косу, к мальчикам. Самый маленький из них, одетый в матроску, выхватил из воды крошечную рыбку, не без труда снял ее ручонками с крючка. Рыбка вывернулась из его пальцев, упала в грязь, захлопала по ней хвостом, издавая влажные шлепки. Мальчик подскочил к ней, сгреб ладошкой с земли и опустил в жестянку. Прочие рыболовы восхищенно наблюдали за ним. Он

гордыми, очень точными движениями насадил на крючок новую наживку и вернулся к воде. Рыбка так и продолжала биться в жестянке.

— Пойдем, — сказала Эстер и, отвернувшись от воды, начала подниматься по узкой тропке. — Жалко рыбешку. Я сегодня всех жалею.

Энди взял ее под руку, помог подняться на дорожку.

— Не хочешь на лодке покататься?

Она покачала головой:

— Мне сегодня что-то не по себе. Это не из-за встречи с тобой. Ты же знаешь, со мной такое случается время от времени.

Они шли по дорожке, а когда косу и мальчиков заслонили деревья, опустились на скамью. Эстер молчала, задумчиво глядя на озеро. Энди искоса посматривал на нее, на ее лицо, на темные печальные глаза. Хорошо было снова оказаться рядом с ней, так хорошо, что он и забыл на миг: она еще ничего ему не ответила.

Она медленно отвернулась от воды.

— Ты сколько времени пробыл за городом?

— С неделю, — ответил он.

— Я думала, ты там надолго задержишься.

— Да я и собирался. Но через неделю заскучал и вернулся. Я же знал: много времени переезд у тебя

не отнимет. Трудно было подыскать квартиру?

— Нет, — ответила она. — За два дня управилась.

Эстер водила веткой по пыли под скамейкой, вглядываясь в получавшийся у нее грубый рисунок.

— Перед отъездом я все прибрала в квартире, — вдруг с гордостью сообщила она. — Там ведь чисто было, правда?

— Да, — подтвердил он, — очень.

— И вещей никаких не оставила. Прошлась по квартире с пылесосом, подбирая все, что принадлежало мне, даже зубную щетку и ту не забыла. Ничего не оставила, так?

— Ничего. Ни одной вещи.

Квартира, когда он вернулся в город, и вправду блистала чистотой. За несколько прошедших после уборки дней кое-где успела осесть пыль, зато все было аккуратно расставлено по местам. Линолеум прихожей, плитки ванной комнаты, раковины, ванна — все было отскоблено дочиста, однако, укладываясь спать и взбивая подушки, он обнаружил под одной из них маленькую расческу, которую Эстер вечно теряла. Говорить ей о расческе сейчас он не стал. Она была так довольна тем, что сделала все как следует, а расческа

ровно никакого значения не имела.

Эстер медленно повернулась к нему.

— В глупом мире мы с тобой живем, правда? — безрадостно спросила она.

— Да, — согласился Энди. — В очень глупом.

Несколько минут они молчали. Потом Эстер порывисто встала и без всякого удовольствия огляделась по сторонам.

— Свежий воздух явно переоценивают, — сказала она. — Пойдем куда-нибудь.

— Хорошо, — согласился Энди. Он тоже встал, застегнул пальто. Солнце блекло, скользя по небу, предвечерние часы принесли с собой все усиливавшийся ветер. — Куда?

— Не знаю. Отыщем какой-нибудь бар и выпьем вина.

Энди кивнул нахмурившись. Пили они оба помногу, но никогда сверх меры и только по вечерам. Он взял Эстер под руку, и они направились к выходу из парка.

— Ты теперь и днем выпиваешь?

— Обычно нет. Просто сейчас мне захотелось вина. Настроение требует. В этом же нет ничего страшного, правда?

— Конечно, — согласился он. — Ничего.

Бар они нашли на Коламбас-авеню. Кроме

бармена, маленького, высохшего человечка, сидевшего с газетой на высоком табурете за стойкой, там никого не было. Когда они вошли, бармен поднял глаза и проводил их взглядом до кабинки, в которой они уселись. А затем неохотно слез с табурета и подошел. Он стоял у столика с нарочито пустым лицом, не произнося ни слова, острые глазки его внимательно изучали обоих.

— Что будешь? — спросила у Энди Эстер. — Вино годится?

— Конечно, — ответил он. — В самый раз.

— Сладкое, сухое?

— На твой вкус.

— А как насчет портвейна? Портвейн подойдет?

Он кивнул. Эстер повернулась к бармену:

— Два портвейна. Только забудьте о рюмочках. Налейте два бокала и принесите две содовых — сразу, чтобы нам было чем заняться, кроме курения.

Она умолкла. Бармен постоял еще немного у столика и, поняв, что Эстер ничего больше не скажет, отошел. Эстер откинулась назад, вздохнула, потом сняла пальто. Ее маленькие плечи точно вписались в угол кабинки. Тонкие пальцы Эстер уже нащупали рядом с пепельницей спичечную

книжечку. Энди раскурил две сигареты, протянул одну ей. Она покачала головой, опустила сигарету в пепельницу. Но миг спустя взяла ее.

— Ну так что? — спросил Энди, прождав несколько минут. Теперь книжечка была у него, он смотрел на свой большой палец, прорывавший ногтем ее бумажную заклейку.

— Тебе трудно было найти меня?

Он покачал головой:

— Нет. Просто порасспросил кое-кого.

Эстер печально смотрела на него.

— Все так запуталось, верно? — произнесла она.

— Да. Очень.

— Я говорю о вещах самых простых, очевидных и ясных, которым вообще запутываться не положено. А у нас из них какой-то клубок пряжи получился, ведь так?

— Так, — согласился он. — Получился.

— И теперь ты хочешь, чтобы я вернулась. — Она подождала его кивка. — Зачем тебе это?

Энди откинулся на спинку скамейки, смущенно пожал плечами.

— Ты же знаешь меня, — сказал он. — И знаешь, зачем мне это, правда?

— Знаю. Но хочу услышать это от тебя.

Он снова пожал плечами, неловко поерзал.

— Думаю, причина тут в пустоте моей жизни, — сказал он. — Стыд, пустота, разочарование, отчаяние. Весь тезаурус. Эти штуки накапливаются, пока не получится большая куча. Тебе хочется участвовать в чем-то значительном. Дотянуться до чего-то вечного, ухватить это. Но ты не получаешь ничего, совсем ничего. Тебе это не по силам, и ты начинаешь чувствовать: нужно что-то сделать.

— И потому ты избавился от меня, — сказала она и торопливо добавила: — Я тебя не виню.

— Я знаю, — сказал он. — Ты никогда никого ни в чем не винишь.

Эстер снова улыбнулась. Сейчас она выглядела еще более бледной, несчастной, маленькой, растерянной, и ему захотелось склониться над столом, обнять ее и уверить, что все у них было хорошо. Однако он лишь вертел в руке спички и ждал.

— Какой поганый мир, — вздохнула она. — Поганый и зловонный.

Он понимающе кивнул.

— Мы с тобой так все запутали, верно?

— Как клубок пряжи.

— Именно как клубок, — согласилась она. — И

без всякой на то причины. Без какой ни на есть причины сделали себя несчастными.

Он кивнул снова.

— А кроме того, — сказала она, — я влюбилась.

От удивления Энди выпрямился:

— В кого?

— Ты его не знаешь. Он художник. Много работает в журналах. Очень успешный, очень интеллигентный и очень несчастный. Хочет, чтобы я переехала к нему.

— И ты собираешься переехать?

— Не знаю, Энди, — ответила она и горестно покачала головой. — Я не понимаю, что мне делать.

Какое-то время оба молчали. А когда молчание стало совсем неловким, повернулись к бармену. Невесть почему тот разливал заказанное ими очень медленно и только-только составил все на поднос. Он приблизился к их столику, неторопливо и хмуро, поставил перед ними напитки. Вино оказалось налитым в рюмки. Эстер удивленно взглянула на них и, озадаченная, подняла глаза на бармена. Тот упорно хранил молчание, ожидая, когда они заговорят первыми.

— Мы просили большие бокалы, — сказала Эстер. — Вы забыли?

— У нас вино в больших бокалах не подают. — Каждое слово бармен произносил весомо и отчетливо — похоже, что эту маленькую речь подготовил заранее.

— Вы могли сообщить нам об этом, когда принимали заказ, — сказала она.

— Я много чего мог сделать, — ответил бармен, — но не сделал. Не нравится — уходите. Никто вас сюда не зазывал.

Энди испытующе, без гнева вгляделся в него и решил, что понимает, в чем дело. Эстер же, совершенно сбитая с толку, переводила недоумевающий взгляд с бармена на Энди и обратно.

— Нам здесь такие, как вы, не нужны, — продолжал бармен.

Эстер в отчаянии всплеснула руками.

— Так вот оно что! — воскликнула она и растерянно взглянула на Энди. — Опять то же самое. Каждый раз, как ты забываешь об этом, обязательно находится человек, готовый тебе напомнить.

Бармен, обретший окончательную уверенность в себе, удовлетворенно улыбнулся.

— Нам здесь такие не нужны, — повторил он.

— Это уже слишком, — сказала Эстер. — Мало нам собственных печалей, так еще и вы к ним в придачу. Убирайтесь.

— Это мое заведение, — ответил бармен. — Сами убирайтесь.

Энди выпрямился, расправил плечи — даже сидящий, он был почти так же высок, как бармен.

— Ладно, — сказал он. — Хватит. Ты высказался, мы тебя поняли. Я вдвое больше тебя и, если произнесешь еще хоть слово, возьму тебя обеими руками и переломлю пополам.

Сообщил он все это неторопливо, сурово, размеренно — в искренности его угрозы сомневаться не приходилось. Бармен испуганно отступил на шаг, побледнел, глаза его забегали, словно надеясь отыскать источник силы в каком-то совершенно неожиданном углу бара. Энди наблюдал за тем, как его одолевает страх, и жалел дурака.

— Пойдем отсюда, — сказала Эстер.

— Нет, — возразил Энди. — Ты хотела выпить, и ты выпьешь.

Он говорил с ней, словно забыв о присутствии бармена. Тот, смерив их напоследок угрюмым взглядом, обиженно вернулся на свой табурет, перевернул страницу газеты и углубился в чтение. Больше он в их сторону не смотрел.

— Вот теперь мне и вправду стало паршиво, — сказала Эстер. — По-настоящему.

— Забудь, — сказал Энди. — Ничего нового ты

не узнала. Как его зовут?

— Кого?

— Художника, в которого ты влюбилась.

— Пруст. — Она поняла, какой сейчас услышит вопрос, и усмехнулась. — Вообще-то его зовут Гарри. Гарри Пруст. Слышал о таком?

— Не думаю. Ты уверена, что любишь его?

— Я не знаю, — ответила она. — Правда не знаю. Если я вернусь к тебе, это ведь ничего не решит. Все так и будет идти по-прежнему. Ты опять захочешь, чтобы я ушла. Потом захочешь, чтобы вернулась, и это будет повторяться снова и снова, а я буду стареть, дурнеть, и в конце концов даже ты перестанешь хотеть меня и я останусь одинокой старухой.

Эстер смотрела на него так, точно собиралась добавить что-то еще, и он вглядывался в ее лицо, ожидая продолжения. Но затем, словно поняв, что больше ей сказать нечего, и удивившись этому, она слабо улыбнулась и отвела взгляд в сторону.

— Все не обязательно должно происходить именно так, — сказал Энди. — Теперь мы могли бы пожениться.

— Это ничему не поможет. Только хуже все сделает, разве нет?

— Да, — ответил он. — Наверное.

— Мы живем в поганом мире, Энди. Куда ни глянь, все ни к черту. Все неправильно, совершенно неправильно. Тебе так не кажется?

Он кивнул. Ему вдруг захотелось заплакать.

— И в этом нет нашей вины, — продолжала Эстер. — Просто он так устроен. Мир больше нас, и мы ничего с ним сделать не можем. Ведь так?

— Да, — сказал он. — Наверное, так.

Она ласково коснулась его руки:

— Прости меня, Энди.

— Да ничего.

— Нет, мне правда очень жаль. Я хочу, чтобы ты это знал.

— Я знаю. Но просить прощения тебе не за что.

— Давай уйдем, — резко сказала она. — Мне здесь не нравится. Темно, мрачно, и хозяину мы не по душе.

— Допивать не будешь?

Она ответила, что не будет. Энди оставил на столе долларовую бумажку, и они направились к двери — медленно, безмолвно, не замечая устремленный на них полный подозрений взгляд бармена. Снаружи похолодало. Откуда ни возьмись налетел ветер, погнавший перед ними по улице хаотичное облако палых листьев и газет. Он собрал этот мусор в круг, завертевшийся у

края тротуара, а после бросил под колеса внезапно увеличившихся в числе машин. Эстер и Энди, сами того не замечая, шли в сторону парка.

Стаю голубей в конце квартала они заметили одновременно, однако ни слова о них друг другу не сказали. Просто молчали. А подойдя к голубям поближе, остановились, чтобы понаблюдать за ними. Голубей было много, они вперевалочку прохаживались по мостовой, клюя насыпанные для них кем-то крошки, наполняя воздух негромким воркованием, тесня один другого в грязные лужицы, что стояли в тянувшейся вдоль тротуара канаве.

— Никогда не могла понять, красивые они или нет, — сказала Эстер. — Как по-твоему, голуби красивые?

— Не думаю. Мне они напоминают беременных женщин.

— И глупы они, по-моему, до безобразия. Только и знают, что сидеть на крышах да слетать вниз, чтобы покормиться. Могли бы найти своей свободе и лучшее применение, правда?

— Никакой свободы не существует, — сказал Энди. — Свобода — это иллюзия.

— Пруст так не думает. Он экзистенциалист.

— Какая мне разница, что он думает. Передай

ему, что свободы не существует, что его надули. И скажи, что, если он этому не верит, пусть придет сюда и понаблюдает за голубями.

— Вот канарейка нашла бы себе занятие, — сказала Эстер. — Отпусти канарейку на волю, и она сразу поймет, что следует делать.

Она вдруг замерла, словно пораженная внезапной мыслью. Поколебалась, задумчиво поджав губы, а затем взволнованно схватила его за руку:

— Давай так и сделаем, Энди. Это хорошая мысль.

Он, ничего не понимая, улыбнулся ее неожиданному порыву.

— Ты о чем?

— Давай отпустим канарейку на волю. Не бог весть что, но мне станет легче. Пожалуйста, Энди. Это недорого. На Коламбас-Серкл есть зоомагазин, мы с тобой проходили мимо него.

— Да, верно. — Энди с удивлением вглядывался в ее лицо. Эстер почти дрожала от прилива энтузиазма, и он, рассмеявшись, взял ее за руку и быстро повел в сторону авеню.

В такси она безостановочно говорила о канарейке. Печали ее как не бывало. Мир стал вдруг таким же прекрасным, какой была она сама. Сидеть спокойно Эстер попросту не могла и только

что не подпрыгивала на месте, будто маленькая девочка, от порывов охватившего ее веселья, сжимая и разжимая в восторженной радости ладони.

— Я подожду здесь, — сказала она, выйдя с ним из остановившейся перед зоомагазином машины. — Иди туда, Энди. Скорее.

Она нетерпеливо подтолкнула его в сторону магазина. Энди кивнул, направился к двери. Однако Эстер бегом нагнала его, остановила, дернув за руку. Лицо ее неожиданно стало серьезным.

— Чуть не забыла, Энди. Это очень важно. Какую мы возьмем канарейку, молодую или старую?

— Молодую, — сразу ответил он. — Очень молодую.

— Нет, старую. Самую старую, какая там найдется.

Эстер снова подтолкнула его ко входу в магазин.

— Не забудь, — сказала она ему в спину. — Самую старую.

Энди, не обернувшись, кивнул. Как только он вошел в магазин, к нему приблизился продавец, поздоровавшийся с ним и вопросительно улыбнувшийся.

— Мне нужна канарейка, — сказал Энди.

Продавец кивнул и повел рукой в сторону дальней стены магазина. Энди покачал головой:

— Выберете ее сами. Мне нужна молодая, самая молодая, какая у вас есть.

В глазах продавца мелькнуло удивление. Он снисходительно пожал плечами и ушел в глубь магазина. Вернувшись с зеленой клеткой в руке, зашел за прилавок, чтобы завернуть ее в ткань.

— Не нужно, — сказал Энди. — Я ее так возьму. Сколько с меня?

Он расплатился и пошел к двери, осторожно держа клетку перед собой, не сводя глаз с сидевшей в ней маленькой желтой птички. Но у самой двери остановился и, поколебавшись, медленно развернулся и возвратился к продавцу.

— Эта птаха… Скажите, что с ней будет, если она останется на улице в такую погоду, как сегодня? — негромко спросил он.

Продавец на мгновение задумался и ответил:

— Долго не протянет. Скорее всего помрет от холода.

Энди кивнул и снова пошел к двери. Нетерпеливо ожидавшая его Эстер подскочила к нему, едва он вышел из магазина, отобрала клетку, подняла ее перед собой. Несколько прохожих остановились, глядя на нее, однако Эстер их не

заметила.

— Какая маленькая, — сказала она, — и на старую совсем не похожа.

— Так уж они устроены, — соврал Энди. — Для канарейки она очень стара.

— Ну, — торжественно произнесла Эстер, — а теперь самое главное.

Она открыла дверцу клетки. С секунду птица так и сидела на своей жердочке, нервно подергивая головкой. Потом соскочила на пол клетки и подступила к дверце. Постояла, с подозрением выглядывая наружу. А еще миг спустя вспрыгнула на порожек дверцы и снова замерла, беспокойно озирая привольный мир. На миг Энди подумал, что она вот-вот вернется внутрь клетки, но тут канарейка с поразившей его стремительностью взвилась в воздух. Она повисела немного, быстро трепеща крыльями, над головами людей, словно ошеломленная чудом свободного пространства. Казалось, птичка испуганно колеблется, но вот она неравномерными, восхитительными рывками пошла вверх и вскоре поднялась выше кровель домов. Энди и Эстер, вытянув шеи, следили за ней. Канарейка исчезла за ближайшим домом, однако спустя секунду вернулась, пронеслась к другой стороне улицы и скрылась за

домами из глаз. Опустив взгляд, Энди увидел счастливо улыбавшуюся ему Эстер. Она взяла его под руку и сказала:

— Пойдем.

— Куда?

— Ко мне, — ответила она. — Поможешь собрать вещи.

Энди радостно стиснул ее руку. Они быстрым шагом пошли по улице. Ему хотелось громко смеяться, он чувствовал себя так, точно с плеч его свалилось огромное бремя. Впрочем, когда первое ликование миновало, его вдруг опечалила оказавшаяся неотвязной мысль, которая стояла, точно угрюмый часовой, за всеми его радостными чувствами. Он вспомнил слова продавца и думал, думал о том, что молодая птаха очень скоро замерзнет насмерть.

Конец умирающего лебедя [35]

До женитьбы Сидни Купер был заядлым игроком. Луиза часто корила его за это, но втайне была заинтригована. Выйдя за него, она принялась с завидным упорством искоренять эту

---

[35] Примечания: 35

Рассказ написан между 1946 и 1949 гг.

привычку мужа, а заодно уж избавлять Купера и от других, представлявшихся ей неприятными, и за восемнадцать лет брака сумела обратить его в такого человека, какого ей всегда хотелось иметь в мужьях, — преуспевающего, почтенного и демонстрирующего эти качества всем своим обликом. Поначалу Купер протестовал, однако с течением лет понял, что лучшие в конечном счете результаты дает ему послушание. Оставаясь пассивным, он по крайней мере достигал мира в семье, каковой вскоре начал доставлять ему редкостное удовольствие. Нельзя сказать, что Купер наслаждался жизнью, которую создала для него жена, но, как правило, и не возражал. Однако нынешним вечером жизнь эта стала казаться ему невыносимой.

Он взглянул на Эда Чандлера и медленно покачал головой, испытывая некоторое отвращение. Чандлер был в их компании человеком, добившимся большего, чем все остальные. Перед войной он занимался закупками скота для мясокомбината, а во время последовавшей за ее объявлением сумятицы ухитрился каким-то образом стать владельцем двух консервных заводов, кожевенной фабрики и целого состояния в наличных деньгах, размеров которого

никто, впрочем, не знал. Сейчас он, с удобством развалившийся в кресле, снисходительно поглядывавший на прочих гостей, поблескивавший большим бриллиантом, коим был украшен его левый мизинец, напоминал Куперу развращенного Будду. Купер иронически улыбнулся и снова покачал головой.

«Какое расточительство, — думал он. — Какое постыдное расточительство».

Вслух произнес едва слышно:

— Сидни Купер, интеллектуал, сибарит. Если бы стены этой комнаты могли говорить, сказать им было бы нечего.

Прием явно удался на славу. Одна из дам уже заблевала пол ванной комнаты, и Куперу было поручено навести там порядок. Покончив с этим, он мстительно закрыл окна, чтобы запах не улетучился, и возвратился в гостиную выпить чего-нибудь покрепче. Там все неумеренно пили и неумеренно болтали, из чего, думал Купер, и следовало, что прием удался на славу. Луиза уже успела сообщить ему об этом.

— Будь это еще чей-то прием, я ничего не имела бы против, — сказала она. — Однако мертвецки пьяный хозяин — это неприлично.

— Ладно, — ответил он. — Напиваться не буду.

— Я знаю, дорогой. — Она одарила мужа специально приберегаемой для приемов улыбкой. — Ну иди веселись.

И вот теперь он одиноко сидел в углу, довольный тем, что гости не уделяют ему никакого внимания. Дом переполняли Эды, Чандлеры и Луизы, предоставившие хозяина себе самому. Он чувствовал, что уже сыт всем этим по горло. Сыт скучнейшими правилами, которым подчинялось ведомое им искусственное существование, сыт тусклыми людьми, с которыми встречался на тусклых приемах, сыт любезностями, которые вынужден был говорить тем, кого втайне презирал.

Он тосковал по настоящим людям, жившим неподдельными страстями, наслаждавшимся самим фактом своего существования, — людям, которым приход смерти всегда кажется слишком ранним. Время от времени ему случалось встречаться с ними. Случалось видеть вечерами парочки, которые предавались любви по темным закоулкам или в открытую ссорились на улице. Он часто слышал беззаботный смех, вылетавший из открытой двери какого-нибудь бара. Слышал в автобусах людей, с пылом обсуждавших Хаксли или Шёнберга, и много раз видел студентов с

печальными, серьезными лицами, прохаживавшихся вдоль библиотечной стены, слепых ко всему, кроме страшного обаяния некой неосуществимой мечты. А во Франции, неподалеку от испанской границы, он увидел однажды то, что осталось от лоялистов, — сообщество одетых в лохмотья, умиравших от чахотки людей, заброшенных и забытых, день за днем исчезавшую популяцию никому не нужных героев, между тем как здесь, в гостиной, Купера окружали мужчины с бриллиантовыми перстнями на мизинцах и женщины, не прочитавшие за всю жизнь ни одной газетной передовицы.

— А, вот ты где! — Он поднял взгляд и увидел улыбавшуюся ему Луизу. — Что же ты сидишь совсем один?

— Отдыхаю, — ответил Купер. — По-моему, всем и без меня хорошо.

— И пьешь, как я вижу. Прошу тебя, не напивайся.

— Напиваться не буду, — пообещал он. Внятное произнесение слов давалось ему не без труда, из чего следовало, что он пьянеет. — Мне бы и в голову не пришло напиваться на нашем приеме. Это неприлично.

Пару секунд Луиза внимательно изучала его.

Затем весело улыбнулась, давая ему понять, что ничего особенно страшного не произошло, — она всегда улыбалась так, обнаружив, что мужа что-то раздражает.

— Я, собственно, не из-за этого к тебе подошла, — продолжала она. — Случилось нечто ужасное, дорогой. Я совсем уж собралась подать гостям мясную закуску и вдруг обнаружила, что у нас нет горчицы.

Она замолчала выжидающе.

— И ты хочешь, чтобы я сбегал за ней? — спросил он.

— А ты можешь?

— Конечно, — ответил он. — Ты же знаешь: большего удовольствия, чем бегать в магазин за горчицей, для меня не существует.

— Ну пожалуйста, дорогой, — жалобно произнесла она. — Я не стала бы просить тебя, если бы это не было совершенно необходимо.

— До встречи с тобой это было любимейшим моим времяпрепровождением.

Глаза ее гневно вспыхнули, однако лицо осталось спокойным.

— Ты слишком много выпил, — негромко, но строго произнесла она. — Я же просила тебя не пить слишком много. А теперь, будь добр, веди

себя разумно. Ведь не могу же я подать мясо без горчицы, верно?

— Нет, — ответил он. — Подать мясо без горчицы ты никак не можешь.

Он неторопливо поднялся на ноги, протянул ей свой бокал.

— И пожалуйста, дорогой, поторопись. Нельзя заставлять гостей ждать.

— Это верно, — согласился он. — Заставлять гостей ждать нельзя.

Купер вышел в прихожую и неспешно направился к уборной. Там он умылся холодной водой, причесался. А когда вернулся в прихожую, из гостиной выбралась на нетвердых ногах и приблизилась к нему женщина. Марсия Чандлер, жена Эда.

— А я тебя все ищу-ищу, — улыбаясь, сказала она. — Насилу нашла.

Он покорно улыбнулся ей и терпеливо стоял, пока Марсия укладывала ладони ему на плечи и чмокала в щеку.

— Ты всегда такой красавец, — хихикнув, сообщила Марсия. Женщиной она была рослой, худой, с острым лицом и крупными зубами. — Такой чистенький, и никогда ни капли пота. Поспорить готова, ты даже летом не потеешь.

Она вызывающе взглянула Куперу в глаза и, поскольку он ничего не ответил, добавила:

— Жалко, что ты не работаешь на меня. Господи, как мне хочется, чтобы ты был моим шофером.

— Это почему же? — спросил он.

— Потому что тогда я могла бы целоваться с тобой, сколько душа попросит.

Он слегка наклонился к ней:

— А тебе хочется целоваться со мной?

— Это было бы очень забавно, — негромко ответила Марсия. Она провела пальцами по его щеке, закрыла глаза и подняла к нему лицо. Купер положил ей на грудь ладонь и оттолкнул ее с такой силой, что она ударилась спиной о стену. Марсия изумленно ахнула, а он отвернулся от нее и пошел к двери.

Ночной воздух и алкоголь образовали подобие взрывчатой смеси, от которой в душе Купера вспыхнуло ощущение молодости и силы. Он перешел через улицу в середине квартала, чтобы пройти мимо стоявшего неподалеку от угла ресторанчика, и направился к нему неторопливой походкой бесцельно прогуливающегося человека, наслаждаясь безмолвной зыбью бодрящего, свежего воздуха, согревавшим душу ощущением одиночества, довольства, молодости и здоровья.

Теперь он жалел, что оттолкнул Марсию. Может, стоит завести с ней романчик, думал он, в виде извинения? Ему давно уж хотелось завести романчик с какой-нибудь женщиной, однако романчик потребовал бы слишком большой подготовительной работы. То же самое и с разводом: в самый последний миг на тебя нападает обманчивое чувство привязанности к жене, а затем — раскаяние.

Напротив ресторана стоял на краю тротуара, разговаривая с кем-то сидевшим в машине, мужчина. Машина отъехала, мужчина попятился и столкнулся с ним.

— Прошу прощения, — пробормотал, улыбаясь, Купер.

Мужчина развернулся, отступил на шаг, окинул его взглядом.

— Quo vadimus[36], друг? — громогласно спросил он.

Купер удивленно остановился. Мужчина был здоровяком, красное лицо его светилось хмельной отвагой. Куперу понравилось его открытое добродушие, и он, покопавшись в памяти, ответил:

---

[36] Примечания: 36
Куда идешь *(лат.)*.

— Ubinam gentium?

— Эрудит! — восторженно воскликнул мужчина. — Поскреби уличного прохожего — и увидишь эрудита. Зайдем внутрь, друг, выпьем.

Купер поколебался: соблазн был силен — в последний раз он проводил вечер в баре уже очень давно, так же как очень давно не играл.

— Не знаю, — сказал он, — мне нужно выполнить одно поручение.

— Поручение? Забудь. — Мужчина взял его под локоть и повел к двери ресторанчика. — Меня зовут Шволль. Вернее сказать, Гарри Шволль, король бюстгальтеров. Произвожу лифчики. Произвел их больше любого другого гражданина нашей страны, а это, надо полагать, означает, что и больше любого другого обитателя нашей планеты. Для тебя лифчик, может, ничего и не значит, но для института брака — очень многое.

Купер рассмеялся и позволил новому знакомцу провести его в бар. Подойдя к стойке, Шволль презрительно отпихнул бедром табурет, поставил ступню на шедшую по низу стойки подпорку для ног, оперся о стойку руками и наклонился к Куперу.

— Деньги, деньги, деньги, — громко произнес он. — А что в них толку? Тебя-то как зовут, друг?

— Купер. Сидни Купер. Издаю книги, и все, как одна, про лифчики. Ты этого, может быть, и не знаешь, но твой продукт — главный герой каждой книги, доставляющей наслаждение американским читателям.

— А толку? — спросил Шволль. Он подтянул к себе кресло, сел, лицо его стало серьезным. — Что бы ни говорили всякие там умники, в деньгах кроется огромный потенциал. Когда я мальчишкой продавал на улицах газеты, один дяденька дал мне десять центов, и это был счастливейший миг моей жизни. Столько счастья — и всего за десять центов! Я этому и по сей день поражаюсь. Теперь у меня есть жена и две дочери, да благословит их Бог, и ни одной из них даже в голову не приходит, что какая-то вещь может стоить меньше ста долларов. И что толку? Что будешь пить?

— Шотландское, с водой.

Шволль повернулся к терпеливо ожидавшему заказа бармену.

— Два таких, Фрэнк, — сказал он.

Бармен улыбнулся и отошел от стойки.

— Его зовут Фрэнк Костелло, — доверительно сообщил Шволль. — Правда, к держателю игорных притонов он никакого отношения не имеет.

— Очень жаль.

— Вот и он из-за этого ночами не спит.

Костелло вернулся с двумя виски, поставил их на стойку.

— Забыл у тебя спросить, — сказал ему Шволль. — Повезло мне сегодня?

— Да, — ответил Костелло. — Одну вашу лошадь сняли с заезда, так что вы на ней сэкономили. Грегг там, внутри. Пришел за своими деньгами.

— Ладно, — сказал Шволль. — Сейчас схожу повидаюсь с ним.

Он повернулся к Куперу, поднял свою стопку:

— За тебя, друг.

Купер залпом проглотил виски и улыбнулся, почувствовав жар, полыхнувший в желудке и начавший растекаться по телу. Человеком Шволль оказался компанейским, и на душе у Купера полегчало.

— Повторим? — спросил он.

— Закажи. Я скоро вернусь.

Он встал, прошел сквозь толпу посетителей бара и скрылся за перегородкой, отделявшей его от танцзала.

Купер заказал еще два виски, вылил свое в воду и надолго приложился к бокалу. Бар наполняли небольшие компании громко разговаривавших, смеявшихся людей, которые легко, без видимой

причины переходили из одной в другую, и никто их не удерживал. Эта свободная атмосфера всегда нравилась Куперу, однако сейчас он чувствовал себя в ней чужаком. В одной из кабинок сидели лицом друг к дружке юноша и девушка, явно собиравшаяся заплакать. Шум заглушал слова, произносимые юношей, но в жестикуляции его сквозила некая решимость, а девушка просто смотрела на него, и лицо ее слабо подрагивало, морщась и разглаживаясь, — свое сражение за самообладание она проигрывала. Неожиданно она подняла глаза и встретилась взглядом с Купером. Он быстро отвернулся, покраснев от стыда, пристыженный тем, что его поймали за подглядыванием.

У изгиба стойки сидела, куря, женщина, перед ней стояла заказанная выпивка, а она смотрела прямо перед собой с застывшим на лице выражением печали. Купер внимательно разглядывал ее, отмечая каждую подробность головы, плеч, плавного изгиба шеи. Какое-то мучительное переживание оставило на лице женщины несколько морщин. Тонкая красная линия губ болезненно выделялась на ее белом лице. Сидела она неподвижно, походя на изваяние, и Купера вдруг потянуло к ней. Он захотел ее — платони-

чески, это ему было понятно, — но все же захотел, потому что она томилась печалью. Он прошелся глазами по окружавшим женщину людям, пытаясь определить, одна ли она, но тут на плечо его опустилась ладонь, и он удивленно поднял глаза.

— Не нужна она тебе, — сказал на удивление трезвый Шволль. — У нее плохие зубы, и она слишком много разглагольствует о своем муже.

На миг Купер смутился.

— А где ее муж? — спросил он.

— Погиб. Убит на войне. Послушаешь ее, послушаешь, и на душе становится муторно.

Купер кивнул, все еще продолжая наблюдать за женщиной краешком глаза.

— Ты чужой в этом городе? — спросил Шволль.

— Да, — ответил Купер. — Вроде того.

— Знаешь здесь кого-нибудь?

Купер показал Костелло два пальца: повторите. Потом взглянул в зеркало за стойкой и медленно покачал головой:

— Ни единой души.

— А родом откуда?

— Отсюда.

— И все же совсем один?

— Вроде того.

— Но кого-то же ты здесь знаешь?

— Я знаю кучу народу.

— А друзей у тебя нет. Так?

— Так, — согласился Купер. — Друзей нет.

— Женат?

— Она сейчас дома. Я живу в этом квартале. У меня там большой прием. Люди, которых я не люблю. Она послала меня за баночкой горчицы. Не угощать же гостей мясом без горчицы.

— Я примерно так о тебе и думал. Удивительное дело. В моем доме сейчас тоже большой прием, однако жена приглашать меня на них уже и думать забыла. А у тебя несчастный вид. Как, говоришь, тебя зовут? Никогда не запоминаю имена с первого раза.

— Купер. Сидни Купер.

— Да, верно. У тебя несчастный вид, Купер. А я не люблю, когда меня окружают приунывшие люди. — Легкая улыбка изогнула его губы. — Я люблю, когда меня окружают люди толстые и счастливые. Потолстеть ты вряд ли когда-нибудь сумеешь, но, может быть, я смогу сделать тебя счастливым. Подожди здесь, и я приведу тебе кой-кого интересного.

И он удалился.

— Эта женщина, — спросил Купер у Костелло,

когда тот подошел поближе, — кто она?

— Шлюха, — жестко ответил Костелло. — Законченная.

— Она потеряла на войне мужа, верно?

Костелло кивнул.

— И теперь только о нем и говорит. Внезапно влюбилась в него. Раньше была шлюхой, и теперь шлюха. Парня убили, и она вдруг сообразила, что любит его. Вы ведь еще воды хотели, так?

Теперь кивнул Купер. Женщина повернулась к нему, взгляды их встретились, и какое-то время они смотрели друг дружке в глаза. Он ждал, что в ее глазах мелькнет хоть какое-то чувство, которое изгонит из них бесстрастность печали, покажет, что она не прочь познакомиться с ним. Однако женщина отвернулась, ничто в лице ее не изменилось, и Купер понял: она его попросту не видела. Он уже не желал эту женщину. Она была слишком чиста, чтобы даже коснуться ее, — сидящая в баре проститутка с черными волосами, сливающимися с сумраком ночи и табачного дыма, с белым, костлявым, полным уныния лицом, она была слишком чистой, чтобы он посмел коснуться ее.

А между тем в его доме самодовольные мужчины с бриллиантовыми перстнями на толстых

розовых мизинцах разглагольствовали о сексе и преуспеянии, а недалекие женщины судачили о модных модельерах и других женщинах, которые были еще богаче, чем они сами и их собеседницы. Человек погиб на войне, и дешевая потаскушка места себе не находит от горя. Другие подобные ему мерли как мухи во Франции, невдалеке от границы. Купер вспомнил вдруг, что они, помимо прочего, нуждались в протезах, в искусственных органах. Он видел в газете их фотографии — фотографии бородатых мужчин с тусклой апатией в глазах на истощенных лицах, в глазах, разучившихся выражать волю к жизни, надежду; на землистых лицах живых мертвецов с просвечивающими под грязной кожей лепными черепами, умученных, как эта женщина, горем до оцепенения. Они и в дантистах нуждались, вспомнил он, и вообще во врачах, в аппаратах искусственного дыхания, в хорошей пище, но более всего в месте под солнцем, в доме, в родине, в зеленом листке, в камне, в открытой для них где-то, а где неизвестно, двери — забытое всеми племя, вымиравшее на голой полоске голой земли, пожалованной им на погосты; люди, мершие как мухи от тихо пожирающей их чахотки. Наградой за их стойкость в борьбе с тиранией

стали гниющие зубы и стафилококки, а между тем в его доме уютно расположились Эд Чандлер, Луиза, Марсия с ее большими зубами и тощим холодным телом, согреваемым только слезами, которые она проливает, вспоминая о своем возрасте и своей посредственности. Чистилище же сомнений и уныния выпало на долю человека по имени Сидни Купер, который однажды огреб, поставив всего лишь десятку, восемнадцать сотен долларов, а на следующий день потерял все из-за питчера по имени Руби Марквард, выигравшего до того не то восемнадцать, не то девятнадцать матчей подряд. Той ночью он взглянул в небо, на мириады мерцавших звезд, и отыскал Большую Медведицу, и его обожгла мысль, что воздух, которым он дышит, создан для него, что мир вращается и минуты проходят лишь ради него одного, что он способен остановить их, вцепившись пальцами ног в экватор. К тому времени Байрон уже погиб в Греции, но существовал человек по имени Хемингуэй, написавший книгу, которую Купер понимал. И человек по имени Вагнер, сочинивший музыку, от которой Купер почти плакал. И человек по имени Купер, который смотрел в небо и впивал воздух, как вино, как некое болеутоляющее. И человек по имени Оскар Уайльд,

написавший несколько сказок и брошенный в тюрьму. А потом Сидни Купер вдруг обратился из хозяина мира в человека, терпеливо коротавшего время в ожидании смерти, — точно так же, как те, кто умирает неподалеку от границы Франции, но по другой, по совершенно другой причине.

Снова окинув бар взглядом, он увидел разговаривавшего с женщиной мужчину, который мгновенно напомнил ему Эда Чандлера, а девушка в кабинке уже плакала, и юноша пытался утешить ее, но безрезультатно, а радостный незнакомец, остановивший его на улице, приближался к нему, ведя с собой совсем молодую женщину. Печальная проститутка еще не покинула своего места у стойки, и юноша в кабинке еще не смирился с плачем подруги, и надежда еще существовала.

— Вот она, — сказал Шволль. — Присаживайся, голубка, выпей с моим другом.

Женщина окинула Купера взглядом и повернулась к Шволлю.

— Бьюсь о заклад, он думает, что я проститутка, — сказала она.

— Никак нет, не думает. С какой стати он должен считать тебя проституткой?

— С какой, я не знаю, но каждый мужчина,

с которым ты меня знакомишь, думает, что я проститутка.

— Только не Купер, — сказал Шволль. — Купер у нас специалист по разочарованиям.

И он спросил у Купера:

— Ну как она, на твой взгляд?

Тот смущенно улыбнулся:

— По-моему, она чем-то разочарована.

Женщина была молоденькой, миниатюрной; ее широкое округлое лицо выражало вялое отсутствие интереса к чему бы то ни было.

— Присаживайся, голубка, — повторил Шволль. — Это Эстер Гордон. А это мой одинокий друг Сидни Купер.

Женщина коротко улыбнулась Куперу и села.

— Каждый из друзей Гарри — выродок, — сообщила она.

Купер, поколебавшись немного, ответил:

— Чтобы увериться в этом, мне придется узнать вас поближе.

Она откинула голову назад, засмеялась, и он почувствовал себя немного увереннее. Шволль подмигнул ему из-за ее спины и удалился.

— Наш купидон упорхнул? — спросила женщина.

— Да, — ответил Купер. — Упорхнул.

— Так что же вас беспокоит? — спросила она. — Ваше либидо?

— У меня нет либидо. — Слова он подбирал тщательно, желая произвести на нее впечатление. — Думаю, меня преследуют мои детские сны.

— Это не редкость, — сказала она. — Такова жизнь. Та еще вонючка. Кликните его, пожалуйста. Я хочу выпить.

Купер поманил Костелло.

— Кальвадос, — сказала, как только он приблизился, женщина.

Костелло заморгал:

— А что это?

— Мне нужен бокал кальвадоса. Или бутылка. Я не знаю, как его принято пить.

— Но что это такое? — спросил Костелло.

— Да я и не знаю. В книжке о нем прочитала.

— Может, что-нибудь другое возьмете? — предложил Костелло. — А то мы тут книжки редко читаем.

— Ладно, — согласилась женщина. — Тогда принесите мне генциан-виолет.

Рассмеяться Куперу помешал повернувшийся к нему с немым вопросом Костелло.

— Мне еще одно шотландское, — спокойно

сообщил Купер.

Костелло снова повернулся к женщине.

— Леди, — умоляюще произнес он. — Может, закажете что-нибудь попроще? Пиво, к примеру.

— Хорошо, — согласилась она. — Несите пиво.

Костелло отошел, довольный. Женщина взглянула на Купера, улыбнулась, и он в тот же миг влюбился в нее. Пока им не принесли заказанное, оба молчали, да и после того произнести хоть слово Купер был не способен. Молчание нарастало, словно разделяя их, и когда женщина взглянула ему в глаза, он увидел на ее лице безразличие.

— Чем вы занимаетесь? — спросила она.

— Издаю книги. А вы?

— Танцую. До остервенения.

— Так вы танцовщица? — удивленно спросил он.

— Нет, — ответила женщина, и на этот раз в голосе ее прозвучала горестная нотка. — Не танцовщица. Вернее, танцовщица, которая не танцует. Я работаю на штепсельном коммутаторе. Но танцевать я умею. И хорошо.

— Тогда почему же вы не танцуете?

— Не хочу.

— А чего вы хотите?

— Я хочу танцевать на сцене «Метрополи-

тен», — негромко ответила она, глядя в какую-то точку, находившуюся за спиной Купера. На лице ее появилось мечтательное выражение. — Хочу скользить по ней на виду у всех. Замирать в балетной позе перед королем и королевой Англии. И я могла бы добиться этого, если бы не была дьявольски ленива.

— Вы действительно хорошо танцуете?

— Я училась этому всю жизнь. Знаю, что хорошо, что плохо, и знаю, что танцую хорошо.

— Тогда в чем же дело? — спросил он, отметив про себя пыл, с которым она это произнесла. — Почему вы все-таки не танцуете?

Она пожала плечами и подняла бокал с пивом.

— А какой в этом прок? Я умираю.

Купер потрясенно выпрямился:

— От чего?

Увидев его испуг, она усмехнулась.

— Да ни от чего. Просто умираю. Мы все умираем. Как только родимся, начинаем умирать. Колыбели и гробы делают из одного дерева. — Она протянула руку, коснулась его руки. — Не смотрите с такой печалью, Сидни Купер. Все зависит от точки зрения. Жизнь либо прекрасна, но смердит, либо смердит, но прекрасна. Не жалейте меня. На самом деле я очень счастлива — счаст-

ливее всех, кого знаю.

— Но вы действительно умеете танцевать?

— Богом клянусь, умею. И так хорошо, что иногда меня это пугает. Вы когда-нибудь видели балерину?

— Какую?

— Из балета «Лебединое озеро». Она делает тридцать два оборота. Тридцать два фуэте. Это не просто. Сделать тридцать два оборота, стоя на одной ноге и ни разу не сдвинувшись с места. Чем меньше она сдвигается, тем лучше балерина. Так вот, я могу проделать это, не сойдя с десятицентовика.

— Правда?

— Правда, — подтвердила она. — Клянусь Богом.

— Так проделайте.

— Здесь?

— Да. Здесь.

Она немного помолчала, размышляя, — Купер заметил, что уголки ее губ чуть подрагивают.

— Ладно, — наконец сказала она. — Ладно, Сидни Купер. Я станцую для вас. Станцую прямо здесь.

Она поднялась из кресла, нагнулась к полу.

— Вот кружок, — сказала она, рисуя пальцем

воображаемый круг. — Следите за моей ногой — выйдет ли она за его пределы.

Женщина выпрямилась, размяла ножные мышцы, привставая на цыпочки и опускаясь, сгибая и разгибая колени. Вокруг начали собираться любопытные.

— Отступите назад, — попросила она. — Пожалуйста. Прошу вас, отступите.

Она положила ладонь на руку одного из мужчин, мягко оттолкнула его — в движениях ее появилась лихорадочная решимость, — но вдруг остановилась и повернулась к Куперу.

— О Господи, совсем забыла. У меня же нет туфелек.

— А какая разница, во что вы обуты?

— Я не смогу подняться на кончики пальцев. Придется кружиться на подушечке стопы. Вас это устроит?

— Вполне. Подушечка так подушечка.

— Теперь смотрите, — сказала она и развела руки в стороны, дабы убедиться в том, что свободного места ей хватает. — Будете считать за меня.

— Идет. Буду считать.

Но тут к ним подскочил заволновавшийся Костелло:

— Что происходит?

— Запомните, — сказала она. — Тридцать два оборота. И наблюдайте за моей ногой.

— Ради Бога, леди! — воскликнул Костелло. — Что вы собираетесь делать?

— Танцевать собираюсь, — ответила она. — Танцевать как последний сукин сын.

— Танцевать? Здесь нельзя танцевать!

— Оставьте ее в покое, — сказал Купер.

— Это запрещено. Танцуют вон там.

— Да заткнитесь вы, ради Христа! — рявкнул Купер. И, повернувшись к женщине, улыбнулся: — Вперед, милая. Танцуйте.

— Ладно, — ответила она, слабо улыбнувшись ему. Лицо ее побледнело, пальцы нервно теребили юбку. — Я станцую — для вас.

Она подняла левую ногу и закружилась. В баре стало тихо, и даже Костелло вглядывался в нее с суровым любопытством. Купер смотрел на ее правую ногу, считая обороты. Она сделала их семь… восемь… девять, не сдвинувшись с места. Да, она танцевала на десятицентовике! На пятнадцатом Купер оторвал взгляд от ноги и, увидев ее лицо, улыбнулся. На лице застыло выражение непреклонности. Снова взглянув вниз, он обнаружил, что нога ее дрожит. По мускулам икры и бедра пробегали быстрые спазмы, нога начала

покачиваться. На двадцать пятом обороте он снова поднял взгляд. Лицо женщины искажала страшная боль. Она оскалилась так, что десны ее поблескивали вокруг зубов, точно облитые кровью. Единственным раздававшимся в баре звуком был астматический хрип ее дыхания. Тридцатый оборот… тридцать первый… тридцать второй — и она упала Куперу на руки, восклицая снова и снова:

— Я сделала это! О Боже! Сделала!

Женщина смеялась, лицо ее сияло, она походила на счастливую девочку. Вырвавшись из рук Купера, она стремительной пробежкой описала восторженный круг.

— Я сделала это! О Боже! Сделала!

Купер чувствовал, что ее радость вскипает и в его груди, ощущал теплый прилив любви к ней, печальной, трагической любви. Успокоившись, женщина села с ним рядом, глаза ее все еще сверкали от радости. Долгое время они всматривались друг в дружку, не произнося ни слова, любовь Купера росла и росла, пока он не почувствовал со сладкой истомой, что сейчас заплачет, и вот тогда-то — тогда он и вспомнил о Луизе и о баночке горчицы.

Он быстро взглянул в другой конец бара. Пе-

чальная вдова беседовала с похожим на Эда Чандлера мужчиной. Ладонь его лежала не ее руке, пальцы пощипывали кожу у края рукава. Женщина с заинтересованным видом улыбалась ему. В кабинке юноша сидел уже рядом с девушкой, обняв ее за плечи. Плакать она перестала и удовлетворенно улыбалась. Все было впустую. Купер вновь погрустнел, потому что во Франции умирали люди. И потому что сельские просторы Испании покрывала грязь, извлеченная из шахт Астурии, а он был издателем, пригласившим на прием людей, которые ждали сейчас, когда им принесут баночку горчицы. Он медленно встал. Женщина удивленно взглянула на него, а он постарался не встретиться с ней глазами.

— Куда вы? — спросила она.

— Простите. — Купер попытался улыбнуться, не получилось. — Мне нужно идти.

— Почему? Почему вам нужно идти?

— Мы еще увидимся, — быстро сказал он. — Я не могу объяснить, но мы еще увидимся.

— Когда?

— Здесь. Не знаю когда, но увидимся. Будьте здесь, хорошо?

— Хорошо, — сказала она. — Буду. Когда?

— Я не знаю когда, но вы будьте.

Он резко развернулся и пошел, не оглядываясь, назад. Выйдя из бара, он торопливо зашагал к авеню и поспел в магазин за пару минут до закрытия. Купив горчицу, он направился к своему дому, шагая как можно быстрее, потому что отсутствовал уже долгое время, а гости ждали горчицы. На середине пути он взглянул на часы и перешел на бег.

Звуки астмы [37]

Ночь была теплая, влажная. Питер, грузно восседавший в кресле, слишком узком для его дряблой туши, потел. Усталый, немного подавленный, он чувствовал, как теплый пот сочится из пор его тела и холодеет, высыхая под нижним бельем. Он сидел, склонившись над столом и бесцельно доскребывая его поверхность широкими желтоватыми ногтями. Из расположенной за коридором комнаты отдыха молодежной организации доносилось гулкое постукивание пинг-понгового мячика. Алекс говорил что-то, однако мысли Питера блуждали неведомо где, и

[37] Примечания: 37

Рассказ написан между 1946 и 1949 гг. Машинописный экземпляр его сильно почеркан, предположительно преподавателем Хеллера. Рассказ печатается здесь без этой правки — таким, каким написал его Хеллер.

вслушиваться ему было трудно.

— Не знаю, — сказал Алекс. — Иногда я просто не знаю.

Старый, согбенный, он сидел у стены на высоком деревянном табурете.

— Иногда я понимаю, что ни в чем не уверен.

Отвечать Питеру не хотелось, и потому он просто хмыкнул. За коридором играли в настольный теннис, Алекс говорил, говорил, а Питера мучила мысль, что какое-то время назад все распалось, умерло, а он не заметил это и жил рядом с трупом. То, что задумывалось как полная жизни и сил организация, непонятным образом оказалось хилым и вялым. И все стало иным, грустным и гнетущим.

— …веру, — сказал Алекс.

— Так уж все устроено, — отозвался Питер, не имевший никакого понятия, о чем говорит Алекс. — И всегда было устроено.

Алекс примолк, и некоторое время в комнате слышались только его затрудненное дыхание да перестук мячика. Все изменилось. Ты долгое время живешь совсем рядом с чем-то, уверенный в том, что хорошо знаешь, каково оно, а затем наступает день, когда ты приглядываешься к нему и видишь нечто совсем иное. Он стал стар-

ше, и Макс тоже, а многие просто ушли и места их заняли усталые, запутавшиеся старики вроде Алекса, насмешливые педанты вроде Кроуфорда и незадачливые юнцы с красными прыщами и эротическими переживаниями. Травматический идеализм, подумал он и улыбнулся — формулировка ему понравилась.

— Даже философы, и те не уверены, — грустно произнес Алекс. — И те продвигаются на ощупь.

Питер не ответил. Парная, думал он, вслушиваясь в стаккато мячика, парная игра. Его ненадолго посетила сумасбродная мысль: встать и пересечь коридор, чтобы выяснить, действительно ли там играют двое на двое, — сумасбродная, поскольку он понимал, что даже для выполнения столь пустяковой задачи сил ему не хватит. Он повернулся к окну, окинул взглядом, прислушиваясь к дыханию Алекса, хаотичный узор огней, крошечных заплаток на мягкой черной мантии ночи. Вдоль авеню строем шли фонари, дальше различалась площадь с желтовато светящимися окнами, узкие лучи автомобильных фар тянулись вперед подобно длинным белым пальцам и сплющивались, ударяясь о мостовую. Огней было множество, а если добавить к ним звезды, множество это станет неисчислимым.

Дверь открылась, вошел, пожевывая зубочистку, Кроуфорд в свисавшем с его покатых плеч старом твидовом пиджаке. Он кивнул взглянувшему на него без всякого выражения Питеру. Айра Кроуфорд был худощавым смуглолицым мужчиной, способным доказать или опровергнуть все, что угодно, используя для этого набор хранившихся в его голове статистических данных; человеком неизменно насмешливым и презирающим все на свете. Закрыв дверь, он пересек комнату и присел на угол стола. После чего вынул изо рта зубочистку и принялся выковыривать ею грязь из-под ногтей. Промолчав несколько минут, он взглянул на Питера.

— Видел сегодня твоего друга, — сказал он, неспешно сооружая на темном лице юмористическое выражение.

— У меня нет друзей, — ответил Питер, постукивая пальцами по столешнице. — Какого?

— Макса.

Питер выпрямился:

— Макса Хирша?

Айра кивнул:

— Макса Хирша.

— Где?

— В баре на западной стороне, — ответил Айра.

Он повернулся к Алексу и неторопливо, со старательно изображенным безразличием заговорил, обращаясь непосредственно к нему. Питер слушал, ощущая нараставшее раздражение.

— Я был там с юной леди, обладательницей на редкость плоского животика, пытался развеять ее нравственные сомнения с помощью нового метода. Совратить ее посредством диалектики и спиртного. Мы добрались уже до пятой кружки пива, она значительно повеселела, но тут дверь распахнулась, и вошел Макс. — Айра снова повернулся к Питеру. — Макс Хирш.

— Ты слишком много болтаешь, Айра, — сердито отозвался Питер. — Он был в форме?

— Он был в штатском, — ответил Айра.

— Что он там делал? Ты разговаривал с ним?

— Он покупал там пиво, кувшинчик. Я с ним не разговаривал.

— Ты за ним проследил?

— Я знал, что тебе понадобится его адрес, и потому проследил.

Айра повернулся к Алексу:

— Я последовал за ним с неохотой, с большой неохотой. Купил юной леди еще одно пиво, сказал, что скоро вернусь, и последовал. Вот его адрес.

Он извлек из кармана сложенный вдвое почтовый конверт, протянул его Питеру.

— А когда я вернулся, — продолжал он, снова обращаясь к Алексу, — то увидел рядом с ней здоровенного морского пехотинца, подхватившего оставленную мной эстафетную палочку. По тому, где находились к моему возвращению его лапы, я понял, что он достиг больших успехов. Мое пиво и моя диалектика, а награда досталась морпеху. Так уж оно устроено, а, Питер?

Питер поднял на него взгляд.

— Слишком много болтаешь, — повторил он.

— Правда? — радостно спросил Айра.

— Да, — ответил Питер. — Правда. И будь любезен, слезь, к чертям собачьим, с моего стола.

— Стул-то пришлось в ремонт отнести, — сказал Айра. Никакой попытки встать он не предпринял.

— Меня это не волнует, — ответил, гневно повысив голос, Питер. — Хочешь — сиди на полу, хочешь — стой, но со стола убирайся.

Глаза их ненадолго встретились, потом Айра отвел взгляд в сторону. Улыбка, в которую сложились его губы, подергалась, подергалась и угасла. Он неторопливо встал, перешел комнату и присел на подлокотник кресла.

— Слишком много болтаешь, Айра, — медленно и угрожающе повторил Питер. — Чертовски много.

Айра, самоуверенности которого как не бывало, старался не смотреть на него.

— Я всего лишь пошутил, Питер.

— И шутишь слишком много.

Некоторое время он слушал астматическое дыхание Алекса, размышляя о том, что скажет Максу, когда увидит его. Затем встал и, не сказав ни слова, вышел из офиса и направился к комнате отдыха посмотреть, вправду ли там идет парная игра.

* * *

Запахи пиленых досок, пыли, сухого прогретого воздуха щекотали его ноздри и горло, пока он поднимался по первому маршу лестницы, ведшей к квартире Макса. Он придерживался влажной ладонью за перила, кляня Макса, поселившегося на самой верхотуре, — чтобы добраться до нее, нужно было одолеть восемь таких маршей. Уже ко второму этажу все его толстое тело облилось потом, и Питер остановился, шумно хватая ртом сухой воздух. Постоял немного и полез дальше. Достигнув четвертого, он ощутил прилив благо-

дарного облегчения, даром что тяжелый подъем изнурил его, а под подбородком скопилась тепловатая влага.

В доме стояла тишина. Дверь в квартиру была открыта, он заглянул в нее, никого не увидел и вошел внутрь. Приближаясь к кухне, услышал голоса, остановился, вслушался. Один голос был женским. Питер улыбнулся, позабавленный, и отступил к двери.

— Макс? — позвал он.

Голоса смолкли. Скрипнул стул, из кухни вышел Макс, худое лицо его было встревоженным. Увидев Питера, он удивленно замер, помрачнел, на лице его проступило враждебное выражение. Питер почувствовал разочарование.

— Здравствуй, Макс, — иронически произнес он.

Макс продолжал молча смотреть на него. За спиной его появилась женщина, взглянувшая поверх его плеча. Макс взял ее за руку.

— Возвращайся на кухню, — сказал он.

Женщина попыталась возразить, но Макс взмахом ладони остановил ее.

— Уйди, Сара, — мягко попросил он.

Женщина, бросив на Питера любопытный взгляд, исчезла. Макс неторопливо направился

к гостиной.

— В чем дело, Питер? — негромко спросил он.

Питер с секунду вглядывался в него.

— Извини, что пришел незваным, Макс. Но я пришел как друг.

Макс немного поколебался, потом ответил:

— Прости. Садись.

Питер устало сел.

— Приятно снова увидеть тебя, Макс.

Макс неуверенно улыбнулся.

— Как твои дела? — спросил Питер.

— Вполне.

— Когда ты перестал писать, я испугался: подумал, что тебя убили. Ты был ранен?

— Нет, — ответил Макс. — Ранен я не был.

— А в боях участвовал?

— Недолго. Да и то лишь в воздушных налетах.

— Это хорошо, — сказал Питер.

Макс смотрел на него с подозрением, и Питера это обижало.

— Ты почти не изменился, Макс, — сказал он. — Кто эта женщина?

— Моя жена.

— Жена? — повторил, стараясь не показать удивления, Питер. — И давно ты женат?

— Семь месяцев.

— Это здорово, Макс. Позови ее. Я хочу познакомиться с ней.

— Не стоит, — ответил Макс. — Что тебе нужно, Питер?

— Не валяй дурака, Макс. Ты знаешь, зачем я пришел. Позови ее, прошу тебя.

— Ее это не касается.

— Но я хочу познакомиться с ней. Позови.

Макс смотрел на него размышляя. Потом медленно отвернулся.

— Сара! — позвал он. Женщина мгновенно вошла в гостиную. — Это Питер Уинклер, Сара.

Она посмотрела на Питера, безучастно кивнула.

— Здравствуйте, — сказал Питер, не потрудившись встать. — Я услышал, что Макс женился, и захотел познакомиться с его женой.

Женщина не ответила. Наступило недолгое молчание.

— Иди ужинай, — велел ей Макс.

Она направилась к двери, но остановилась в ее проеме и, обернувшись, сказала:

— Ты бы тоже.

— Я скоро приду. Вот только с Питером поговорю.

— Остынет же все.

— Да я уже и наелся, — сказал Макс.

— Иди, Макс, закончи ужин, — предложил Питер. — Я подожду.

Макс неуверенно помолчал и вышел вслед за женой из гостиной. Питер услышал, как они шепчутся, и ощутил довольство. Он обмяк на диване, размышляя. Макс выглядит лучше, чем прежде. Вес набрал, помолодел. О женщине сказать пока нечего. Простушка, смахивает на старую деву. Судя по чернильным пятнам на пальцах Макса, он где-то работает. Питер знал, что он должен сделать. Заставить Макса вернуться.

До появления Макса он неторопливо листал журнал, презрительно разглядывая рекламные картинки. Наконец Макс медленно вошел в гостиную. Остановился рядом с креслом, ожидая слов Питера, однако тот молчал. Только достал пачку сигарет, протянул ее Максу. Макс покачал головой. Питер извлек из нее сигарету, а пачку вернул в карман. Стряхнул с кончика сигареты табачные крошки, вздохнул. Раскурил ее, затянулся, выдохнул дым. В конце концов заговорил все-таки Макс.

— Давай перейдем к делу, Питер, — сказал он.

— Хорошо, Макс, — ответил Питер. — Перейдем к делу. Садись.

Макс сел.

— Почему ты перестал писать?

Макс ответил, тщательно подбирая слова:

— После того как я ушел в армию, произошло много чего. У меня появилась возможность оглядеться вокруг, подумать. И времени, чтобы думать, у меня тоже было достаточно. Мои взгляды переменились, Питер: я понял, что ты принадлежишь прошлому.

Он умолк, а Питер поджал губы, притворившись, что обдумывает услышанное. Именно этого он и ожидал.

— Чем занимаешься теперь? — спросил он.

— Работаю, — ответил Макс. — В типографии.

— И в профсоюз, надо думать, вступил, — усмехнулся Питер. Он дождался улыбки Макса и торопливо продолжил: — Знаешь, что ты сделал, Макс? Ты сбежал.

Макс неловко поерзал в кресле.

— Обратился в простого пролетария — вот что ты сделал.

— Я полагал, пролетарии тебе нравятся, — вызывающе произнес Макс.

— Нравятся. Но мне не нравятся трусы.

— Трусы? Ты это о чем?

— Я это о тебе, Макс. Ты сбежал с поля боя. Твои

убеждения не могли измениться настолько, чтобы оправдать подобный поступок.

— Вообще говоря, не так уж сильно они и изменились, — сказал Макс. — Просто я устал от борьбы, вот и все. Всю жизнь я только и делал, что боролся, а теперь хочу покоя. Хочу немного передохнуть, получить удовольствие от жизни. Столько удовольствия, сколько смогу.

— Очень мило, — с издевкой произнес Питер. — Ну просто очень. А как по-твоему: много ли удовольствия ты получишь, если все начнут думать, как ты?

— Все так думать не начнут.

— Тоже хороший довод. У тебя в запасе куча доводов, Макс. Долго ты так жить не сможешь, и знаешь это. Ты слишком умен, чтобы довольствоваться такой жизнью. А теперь послушай меня. Все складывается очень плохо, и потому нам нужны опытные люди вроде тебя. В этот понедельник мы проводим собрание. Я рассчитываю на твое присутствие.

— Оставь меня в покое, Питер. Почему ты не можешь оставить меня в покое?

— А это ради твоего же блага, Макс. Тебе лучше вернуться.

— Я не вернусь, — сказал Макс с выражением

решимости на худом остром лице.

— Вернешься, — ответил Питер. — Мне не хочется прибегать к угрозам, Макс.

— Вот и не прибегай.

— Здешняя жизнь не для тебя, Макс. Район грязный. В вестибюле дома воняет отбросами. У тебя ничего нет.

— У меня есть все, что необходимо для счастья.

— Для счастья! — негодующе воскликнул Питер. — А с каких это радостей ты должен быть счастливым? Весь мир несчастен, а ему счастье подавай. Я вот никакого счастья не испытываю. Почему же, к дьяволу, должен испытывать ты?

— На самом деле ты счастлив, — ответил Макс. — Как и все вы. Никто же не принуждает вас делать то, что вы делаете. Ваша работа дает вам счастье. Вы получаете от нее удовольствие.

Питер быстро встал.

— Ладно, Макс, — негромко сказал он. — Я хотел обойтись с тобой по-хорошему, но ты мне не позволил. У тебя нелады со зрением. Тебя ослепило женское тело и домашняя еда, и ты стал плохо видеть. Ну так я тебе вот что скажу. Ты придешь на собрание. А если не придешь, лучше сваливай из этого дома куда подальше — туда, где я не смогу тебя достать, иначе я устрою тебе очень

неприятную жизнь.

— Почему ты не можешь оставить меня в покое, Питер?

— Потому что не хочу. Так будешь ты на собрании или нет?

Лицо Макса словно осунулось, на миг он показался Питеру постаревшим, усталым, потерпевшим полное поражение.

— Ладно, — медленно произнес он. — Я приду на собрание.

— Вот и хорошо, Макс, — сказал Питер. Его тяжелое лицо расплылось в улыбке. Он сделал что требовалось и был доволен. Все отлично, Макс вернулся, они снова станут друзьями, все пойдет по-другому.

Ни один из них не заметил, как женщина вышла из кухни и остановилась в двери.

— Не ходи туда, Макс, — сказала она.

Мужчины удивленно обернулись на ее голос. Она стояла на пороге гостиной, руки вяло висели, зато лицо все время менялось от обуревавших ее чувств.

— Вернись на кухню, Сара, — сказал Макс.

— Нет, — ответила она тихим ломким голосом. — Я не позволю ему так поступить с тобой.

Лицо ее испугало Питера. Перед ним стояла

маленькая, жалкая, беспомощная, готовая заплакать женщина, и тем не менее, взглянув на нее, он вдруг почувствовал страх.

— Вели ей уйти, Макс, — сказал он.

Несколько секунд Макс молча смотрел на жену. Потом повернулся к Питеру.

— Вот тебе и ответ, — негромко сказал он. — Я не вернусь.

— Ладно, — ответил Питер. — Ты знаешь, что я собираюсь сделать.

— Знаю, — согласился Макс. — И помешать тебе я не в силах.

— Нет, не в силах. — Питер направился к двери, но остановился. Женщина преградила ему дорогу.

— Зато я в силах, — сказала она и заплакала.

Питер отступил, глядя, как слезы наворачиваются на ее глаза и скатываются по щекам, как подрагивают ее узкие плечи.

— Вели ей уйти, Макс!

Она зарыдала в голос, и Питер отступил еще на шаг.

— Убери ее отсюда!

— Иди на кухню, — сказал Макс.

— Не поддавайся ему, Макс, — взмолилась она, а затем выпрямилась, вызывающе взглянула на

Питера, но, словно поняв, насколько тщетны ее усилия, поникла и медленно пошла к кухне. Уже на пороге женщина обернулась, собираясь что-то сказать, однако рыдание сдавило ей горло, и она скрылась за дверью.

Питер смотрел ей вслед, вслушиваясь в приглушенный плач.

— Ты довел ее до слез, — сказал Макс.

Питер стоял, тяжело переступая с ноги на ногу, большой вес явно мешал ему.

— Прости, — сказал он, не отрывая глаз от кухонной двери. — Она всегда так плачет?

— Не знаю, — ответил Макс. — Плачущей я ее еще ни разу не видел.

Он подошел к Питеру, заглянул сбоку в его лицо.

— Ты можешь идти, — сказал он. — Теперь тебе никто не мешает.

Однако Питер так и стоял, глядя в сторону двери. Рыдания стихли, а он стоял, глядя туда и думая. И наконец повернулся к Максу.

— Я не буду донимать тебя, Макс, — сказал он. Макс не шелохнулся. — Ты меня понял? Не буду.

Лицо Макса радостно вспыхнуло, он улыбнулся:

— Ты это всерьез?

— Да, — ответил Питер. — Ладно, пойду. Прости, что потревожил тебя. Наверное, больше мы с тобой не увидимся. Прощай, Макс.

— Прощай, Питер, — отозвался Макс. Ему не терпелось побыстрее выпроводить гостя, потому что в присутствии Питера он никакой уверенности в себе не ощущал.

Питер повернулся к двери. Он понимал, что Макс ждет его ухода. Однако уже на самом пороге остановился, поколебался и снова повернулся к Максу.

— Макс, — заговорил он быстро, со странным смирением. — Как по-твоему, сможешь ты как-нибудь вечером пригласить меня на ужин?

Макс молчал, удивленно глядя на него.

— Я мог бы приодеться, — торопливо продолжал Питер. — У меня есть новый костюм, я надел бы его, и мы посидели бы, как старые друзья.

Макс, просияв от радости, подступил к нему.

— Конечно, Питер. Хочешь, поужинай с нами сегодня.

Питер едва не согласился. Но, взглянув в направлении кухни, покачал головой.

— Не сегодня, Макс, — сказал он. — Сегодня у меня назначена встреча. Может, где-нибудь на той неделе?

— В любое время, — сказал Макс.

— Ты позвонишь мне и пригласишь в гости, а, Макс?

— Обязательно, Питер. Позвоню.

Они обменялись радостными рукопожатиями. Питер вышел из квартиры, направился к лестнице. Положил ладонь на перила и начал медленно спускаться, чувствуя, что устал, снова начиная потеть и с грустью думая о том, что Макса он больше никогда не увидит. Думая о его женщине. Он жалел, что заставил ее плакать. Она была простой, совершенно чужой ему женщиной, однако Питер знал, что именно в такую он и мог бы влюбиться — мгновенно.

ПЬЕСА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ
Процесс Клевинджера [38]

Относительно переделки романа в пьесу мистер Хеллер рассказал следующее: «С самого начала было ясно, что изменения предстоит сделать значительные. Необходимо было исключить или сократить большие куски книги. Многие эпизоды ее изымались просто потому, что не имели достаточно близкой связи с основными темами пьесы — войной, смертью, гонениями и угнетением. Одни я отбрасывал с облегчением, другие неохотно. „Процесс Клевинджера“ был написан, а затем с сожалением удален из пьесы по причине скорее длины его, чем сути. Сцена занимала почти двадцать машинописных страниц — слишком много для персонажа второго плана, основная функция которого состояла в том, чтобы выйти на сцену доверчивым молодым идеалистом, а затем погибнуть. Как об-

---

[38] Примечания: 38
«Кродэдди», август 1973, с. 45–54.

наружили со времени публикации книги учащиеся бесчисленных курсов актерского мастерства, соответствующая ее глава была очень сценичной, и я знал, что скорее всего рано или поздно переделаю эту сцену в одноактную пьесу, поскольку большая часть работы по инсценировке главы была мной уже проделана». Одноактная пьеса «Процесс Клевинджера», основанная на главе восьмой «Поправки-22» и на армейских уложениях, касающихся сумасшествия, публикуется впервые.

На сцене стол, несколько стульев, короткая скамья. Стойка для стрелкового оружия, содержащая одну винтовку и одну лопату. Из-за кулисы медленно, точно караульный, выступает *Клевинджер*, на плече его висит громоздкая допотопная винтовка. С другой стороны сцены выходит *Йоссариан*.

Йоссариан. Ты почему в карауле?
Клевинджер. Я не в карауле.

Клевинджер производит поворот кругом и строевым шагом движется в противоположном направлении. Йоссариан марширует с ним ря-

дом.

Йоссариан. Так почему ты разгуливаешь взад-вперед с винтовкой?

Клевинджер. Выполняю штрафную маршировку. Я осужден на сто пятьдесят семь часов этого занятия.

Йоссариан. За что?

Клевинджер. Понятия не имею.

Йоссариан. Я предупреждал тебя, Клевинджер: выполняя все их приказы, ты в конце концов наживешь неприятности.

Клевинджер. Дело не в этом, Йоссариан. Как-то раз на репетиции парада я споткнулся в строю и даже глазом моргнуть не успел, как попал под трибунал.

Йоссариан. За запинку в строю? Это серьезное преступление.

Клевинджер. Я знаю, что заслужил наказание, в противном случае я его не получил бы. Не может же быть, чтобы я был ни в чем не повинен, правда?

Йоссариан. Ты олух, Клевинджер.

Клевинджер. Вот тогда-то все и началось. Когда ты назвал меня олухом.

Йоссариан. Я всегда называл тебя олухом.

Клевинджер. Я говорю о дне, когда лейтенант

Шайскопф вызвал всех нас к себе, потому что мы были такими несчастными, состоя под его началом. Помнишь?

Йоссариан. Конечно, помню.

Они подходят к скамье, садятся.

Клевинджер. Нет уж, я скажу ему, Йоссариан. Раз он спрашивает…

Йоссариан. Не будь олухом, Клевинджер.

Входит лейтенант *Шайскопф*, обезумевший, встрепанный. Говорит так, точно обращается к множеству сидящих перед ним солдат. В руке держит листок бумаги, в который время от времени заглядывает.

Шайскопф. Почему я? (*По сцене он расхаживает, как актер-трагик*.)

Йоссариан (*вполголоса*). А почему нет?

Шайскопф. Почему именно я, лейтенант Шайскопф, должен командовать самой несчастной на всей воздушной базе эскадрильей курсантов? Вы знаете, как мне нехорошо оттого, что всем вам плохо? Знаете, как называют меня другие офицеры?

Йоссариан. Дерьмолобый[39].

Шайскопф. А разве я в этом виноват?

Йоссариан. Да.

Клевинджер. По-моему, наш долг — сказать ему.

Йоссариан. Наш долг — помалкивать в тряпочку.

Шайскопф. Вы знаете, в чем состоит главная беда? Я знаю, в чем состоит главная беда. В вашей нравственности. Вы безнравственные... очень безнравственные. Я давно уже служу в армии, четырнадцать месяцев, и какой только нравственности не навидался, но ваша попросту ужасна. Худшая нравственность, какую я когда-либо видел.

Йоссариан. Это правда.

Шайскопф. У вас нет (*заглядывает в бумажку*) esprit de corps[40].

Клевинджер. Это правда.

Шайскопф. Разве я не делаю для вас все, что могу?

Йоссариан. Нет.

---

[39] Примечания: 39

Фамилия лейтенанта, Scheisskopf, состоит из двух немецких слов: «scheiss» — гадить *(вульг.)* и «kopf» — голова.

[40] Примечания: 40

Честь мундира, кастовый дух *(фр.)*.

Шайскопф. Разве не заставляю вас каждый день маршировать больше всех других эскадрилий, чтобы вы производили на воскресных парадах лучшее впечатление? А что происходит?

Йоссариан. Мы производим худшее.

Шайскопф. Вы производите худшее. Если вы идете мне навстречу, разве я не бегу к вам навстречу?

Йоссариан. Может быть, потому мы никогда и не встречаемся.

Шайскопф. Я вам так скажу. Больней, чем (*заглядывает в бумажку*) быть укушенным змеей, солдат неблагодарность[41].

Йоссариан. Неплохо.

Клевинджер. Если мы ему скажем, все будет проще.

Йоссариан. Не будь болваном, болван.

Шайскопф. Давайте поговорим открыто, как мужчина с мужчиной. Неужели среди вас нет ни одного человека, которому хватит мужества сказать мне (*заглядывает в бумажку*) правду.

Клевинджер поднимает руку. Йоссариан дергает ее вниз.

---

[41] Примечания: 41

«Больней, чем быть укушенным змеей, / Иметь неблагодарного ребенка». Шекспир, Уильям. Король Лир, акт I, сцена 4. Пер. Б. Пастернака.

Клевинджер. Я скажу ему.

Йоссариан. Сиди и не рыпайся, идиот.

Клевинджер. Ты не знаешь, о чем говоришь.

Йоссариан. Я знаю достаточно, чтобы сидеть и не рыпаться, идиот.

Шайскопф. Я хочу, чтобы кто-нибудь сказал мне. Если я в чем-то виноват, я хочу, чтобы мне сказали.

Клевинджер. Он хочет, чтобы кто-нибудь ему сказал.

Клевинджер поднимает руку. Йоссариан дергает ее вниз.

Йоссариан. Он хочет, чтобы все сидели и не рыпались, идиот.

Клевинджер. Разве ты не слышал только что?

Йоссариан. Слышал. Я слышал, как он громко и очень отчетливо сказал, чтобы каждый, кто желает себе добра, помалкивал.

Шайскопф. Я никого не накажу.

Клевинджер. Он говорит, что не накажет меня.

Йоссариан. Он тебя оскопит.

Шайскопф. Клянусь, я никого не накажу. Я буду благодарен тому, кто откроет мне правду.

Йоссариан. Он возненавидит тебя. И будет

ненавидеть по гроб жизни.

Клевинджер. Ты ошибаешься.

Йоссариан. А ты олух.

Шайскопф. Дверь моего кабинета всегда открыта для вас. (*Выходит.*)

Клевинджер. Я скажу ему.

Клевинджер бежит за Шайскопфом. Спотыкается. Йоссариан уходит в противоположном направлении. Клевинджера тут же выводят на сцену, уже арестованного, *Шайскопф* и майор *Меткаф*. Из-за другой кулисы выходят и усаживаются за стол *полковник* и *стенографист*.

Полковник. Ладно, пошли дальше. Майор Меткаф? Кто следующий?

Меткаф. Клевинджер, сэр.

Полковник. В чем его обвиняют?

Меткаф. Виновен.

Полковник. Хорошо. А каков приговор?

Меткаф. Говорил правду.

Полковник. Ужасно. Доказательства какие-нибудь есть?

Меткаф. Учился в университете, слушает классическую музыку, любит иностранные фильмы, задает вопросы, выражает несогласие…

Полковник. Я таких типчиков знаю. Введите

недисциплинированного сучьего потроха.

Меткаф. Он уже здесь.

Полковник. Хорошо. Как-никак война идет, а мы сэкономили драгоценное время. Который из вас, недисциплинированных сучьих потрохов, преступник?

Шайскопф (*поспешно*). Он, сэр. Я Шайскопф.

Клевинджер. Это не совсем верно, сэр.

Полковник. То, что он Шайскопф?

Клевинджер. То, что я преступник. Я всего лишь обвиняемый, сэр, и остаюсь невиновным, пока не доказана моя вина. Все, что я сделал, — споткнулся в строю и…

Полковник. Где это сказано?

Клевинджер. Везде, сэр. В Билле о правах, в Декларации независимости, в Своде армейских законов, в…

Полковник. Вы что же, верите во все это дерьмо?

Клевинджер. Да, сэр. Я свободный гражданин свободной страны и обладаю определенными правами, которые гарантированы мне кон…

Полковник. Ни черта подобного. Вы заключенный и сидите на моей скамье подсудимых. Вот и продолжайте сидеть и держите ваш дурацкий, молокососовый, наглый язык за зубами. Вы при-

плыли, понятно?

Клевинджер. Что значит «приплыл», сэр?

Полковник. Меткаф, что значит «приплыл»?

Меткаф. Не могу знать, сэр. Куда приплыл?

Шайскопф. Туда, куда приплывает корабль.

Меткаф. Какой корабль?

Полковник. Такой корабль, какой, если мы сейчас не поторопимся, повезет одного из вас на Соломоновы острова мертвецов закапывать. Через шестьдесят дней мы должны стать достаточно крутыми и достаточно крепкими, чтобы колошматить Билли Петролле. Думаете, он будет с вами шутки шутить?

Клевинджер. Нет, сэр. Я не думаю, что он будет шутки шутить.

Меткаф. Я тоже, сэр.

Полковник. Заткните вашу дурацкую пасть, Меткаф, и не лезьте не в свое дело.

Меткаф. Так точно, сэр.

Полковник. Вам известно, что значит «заткните вашу дурацкую пасть»?

Меткаф. Так точно, сэр.

Полковник. Тогда почему вы отвечаете: «Так точно, сэр», — когда я приказываю вам заткнуть вашу дурацкую пасть?

Меткаф. Не могу знать, сэр.

Полковник. Вы называете это затыканием вашей дурацкой пасти?

Меткаф. Никак нет, сэр.

Полковник. Хорошо. Начиная с этого дня затыкайте вашу дурацкую пасть, когда я приказываю вам заткнуть вашу дурацкую пасть.

Меткаф. Так точно, сэр.

Полковник. Еще лучше. (*Поворачивается к Шайскопфу*.) Курсант Клевинджер…

Шайскопф. Это он Клевинджер, сэр. А я Шайскопф.

Клевинджер. Это я Клевинджер, сэр. Все, что я сделал, — споткнулся в…

Полковник. Вам понятны выдвинутые против вас обвинения?

Клевинджер. Нет, сэр. Мне непонятны выдвинутые против меня обвинения. Все, что я сделал…

Полковник. Будьте добры, прекратите повторять одно и то же. Через шестьдесят дней вам предстоит колошматить Билли Петролле, а вы тратите время на болтовню о том, как споткнулись. Отвечайте на мои вопросы, вот и все. Понятно вам или непонятно?

Клевинджер. Что?

Полковник. Я забыл.

Меткаф. И это ваша вина.

Полковник. Хотите сказать что-нибудь в свое оправдание, перед тем как я вынесу вам приговор?

Клевинджер. Да, сэр! Сначала вы должны признать меня виновным.

Полковник. С этим мы за пять секунд управимся. Я признаю вас виновным. Вот.

Клевинджер. В чем? Я имею право взглянуть в глаза моему обвинителю, сэр, и получить офицера, который станет меня защищать.

Полковник. Он что, и вправду имеет?

Шайскопф. Я не возражаю против того, чтобы он взглянул мне в лицо.

Полковник. Можете полюбоваться на его лицо, коли вам приспичило. Только недолго. Налюбовались? Ладно. А кто у нас обвинитель?

Шайскопф. Я, сэр.

Полковник. Ладно, Дерьмолобый. В таком случае…

Шайскопф. Шайскопф.

Полковник. Что?

Шайскопф. Шайскопф, сэр. Это моя фамилия.

Полковник. Шайскопф? Что это за фамилия такая, Шайскопф? Я думал, вы Дерьмо…

Шайскопф. Шайскопф. Это моя фамилия. Она

немецкая.

Полковник. А мы разве не с немцами воюем?

Шайскопф. У меня только фамилия немецкая, сэр. Сам я не немецкий. Да и фамилия-то эта не моя. Я ее от отца получил. Если хотите, верну ему обратно.

Полковник. Да нет, не стоит. Лично я против Адольфа Гитлера ничего не имею. Собственно, мне вроде как нравится то, что он делает в Германии для искоренения антиамериканской деятельности. Будем надеяться, что и мы также успешно справимся с этим слабаком, потому как мы обязаны быть достаточно жесткими, чтобы выполнить стоящую перед нами задачу, а также достаточно крутыми и достаточно крепкими, чтобы колошматить Билли Петролле. Ну что, мы готовы начать?

Клевинджер. Кто мой защитник?

Полковник. Кто его защитник?

Шайскопф. Я.

Полковник. Это хорошо. Нам понадобится еще один судья — на случай если мы с майором Меткафом разойдемся, хе-хе, во мнениях.

Шайскопф. Я могу и судьей быть, сэр. Поскольку я и обвиняю его, и защищаю, у меня имеется возможность взглянуть на любой вопрос с двух

сторон и, полагаю, рассмотреть его беспристрастно.

Полковник. По-моему, он дело говорит. Стало быть, можно приступать. Так вот, если исходить из улик, с которыми я ознакомился, случай Клевинджера ясен. Все, что нам требуется, — подыскать для него обвинение.

Шайскопф. Думаю, что я уже подыскал его, сэр. Ввиду возможности вероятного скорее всего возникновения таковой непредвиденной задачи. В качестве обвинителя я возьму на себя смелость привлечь внима…

Полковник. Дерьмоло…

Шайскопф. Шайскопф.

Полковник. Переходите к отвратной сути дела.

Шайскопф. Есть, сэр.

Полковник. Что этот мелкий сучий потрох натворил?

Шайскопф. Я обвиняю заключенного Клевинджe…

Клевинджер. Я не заключенный. Согласно нормам…

Полковник. Порядок в богопротивном суде!

Шайскопф. Я обвиняю арестанта Клевинджера (*зачитывает*) «в неуместном спотыкании, на-

рушении строя во время пребывания в строю, нападении с преступным умыслом, наглом поведении, посещении школы, имагинативном нарушении закона…»

Стенографист. Сэр?

Меткаф. Имагинативном?

Шайскопф. И-МА-ГИ-НА-ТИВ-НОМ.

Меткаф. Это очень серьезное обвинение.

Полковник. А что оно значит?

Шайскопф. Похоже, этого никто не знает, сэр. Мне не удалось отыскать какое-либо толкование этого слова.

Полковник. В таком случае ему трудновато будет опровергнуть это обвинение, верно?

Меткаф. Потому оно и является столь серьезным.

Полковник. Меткаф, у вас, я так понимаю, брат в Пентагоне служит, а?

Меткаф. Так точно, сэр.

Полковник. Однако большого влияния он там не имеет, так?

Меткаф. Вообще никакого не имеет, сэр.

Полковник. И вряд ли когда-нибудь будет иметь, верно?

Меткаф. Перспективы у него очень скромные, сэр. Он рядовой даже не первого класса.

Полковник. В таком разе вам лучше вести себя здесь поосмотрительнее, черт бы вас побрал, иначе вы у меня мигом попадете под суд за имагинативную попытку сплавить этого наглого сучьего потроха на Соломоновы острова, чтобы он там мертвецов закапывал. Продолжайте, прошу вас, э-э…

Шайскопф. Шайскопф.

Полковник. Шайскопф. Продолжайте зачитывать обвинения, предъявляемые этому хитрожопому, шибко умному, полоумному, сучье-потроховому отродью такого же сучьего потроха, как он.

Шайскопф. Есть, сэр. «Посещение школы…»

Клевинджер. Он это уже говорил.

Полковник. Вы это уже говорили?

Шайскопф. Так точно, сэр. Но он посещал не одну школу. «В государственной измене, подстрекательстве, чрезмерном умствовании, приверженности классической музыке и… тому подобном».

Услышав последнее обвинение, полковник и Меткаф присвистывают.

Полковник. Ладно, Клевинджер. Вы прослушали выдвинутые против вас обвинения. Они вам

понятны?

Клевинджер. Не уверен, сэр. Там было не помню какое спотыкание и…

Стенографист. «Неуместное спотыкание».

Полковник. Неуместное спотыкание, нарушение строя во время пребывания в строю, нападение с чем-то там преступным…

Шайскопф. Нападение с преступным умыслом, наглое поведение, посещение школы, дважды…

Меткаф. Имагинативное…

Шайскопф. Имагинативное нарушение закона, государственная измена… э-э…

Стенографист. «В подстрекательстве, чрезмерном умствовании, приверженности классической музыке и… тому подобном».

Офицеры снова серьезно присвистывают.

Полковник. В спотыкании вы уже признались. Признаете ли вы себя виновным по всем остальным пунктам?

Клевинджер. Не признаю.

Полковник. А с какой стати вы решили, что нам это интересно? Знаете, почему вы здесь? Ваша виновность или невиновность никакого отношения к этому не имеет. Вы здесь потому, что вы смутьян, вот кто вы такой, смутьян, а

смутьянов никто не любит. Понятно? И не смейте мне возражать! Это тоже смутьянство.

Меткаф. Убейте его, сэр! Убейте!

Полковник. Заткните пасть, Меткаф, и не лезьте не в свое дело. Через шестьдесят дней, Клевинджер, вам придется колошматить Билли Петролле. Вы все еще думаете, что он станет с вами шутки шутить?

Клевинджер. Я так и раньше не думал, сэр.

Полковник. Не перебивать!

Клевинджер. Есть, сэр.

Меткаф. И говорите «сэр», когда не перебиваете.

Клевинджер. Есть, сэр.

Меткаф. Разве вам не приказано было не перебивать?

Клевинджер. Но я и не перебиваю, сэр.

Меткаф. Нет. Однако и «сэр» вы при этом не говорите. Добавьте это к выдвинутым против него обвинениям. Отказ говорить «сэр» старшим по званию при неперебивании таковых.

Полковник. Вы отпетый дурак, Меткаф. Вам это известно?

Меткаф (*с трудом сглатывая слюну*). Так точно, сэр.

Полковник. Ну так держите вашу мерзкую

пасть закрытой. Несете черт знает какую околесицу. Как вам понравится, Клевинджер, если вас вытурят из курсантов и отправят на Соломоновы острова, мертвецов закапывать?

Клевинджер. Никак не понравится, сэр.

Полковник. Это странно. Вы предпочли бы скорее стать мертвецом, чем закапывать их?

Клевинджер. Скорее я предпочел бы участие в боях, сэр.

Полковник. Возможно, для этого-то вы и не годитесь! А теперь просто скажите нам, что вы имели в виду, когда говорили, что мы не сможем вас наказать?

Клевинджер. Когда, сэр?

Полковник. Тут я задаю вопросы. А вы на них отвечаете.

Клевинджер. Так точно, сэр. Я…

Полковник. Думаете, вас привели сюда, чтобы вы задавали вопросы, а я на них отвечал?

Клевинджер. Никак нет, сэр. Я…

Полковник. Так зачем вас сюда привели?

Клевинджер. Чтобы отвечать на вопросы.

Полковник. Вы чертовски правы. Ну так будьте любезны, отвечайте, пока я не размозжил вашу гнусную башку. Так какого же дьявола вы имели в виду, когда заявили, ублюдок вы этакий, что мы

не сможем вас наказать?

Клевинджер. Не думаю, что я когда-либо делал подобное заявление, сэр.

Полковник. А погромче нельзя? Я вас не слышу.

Меткаф. А погромче нельзя? Он вас не слышит.

Клевинджер. Слушаюсь, сэр. Я…

Полковник. Меткаф?

Меткаф. Сэр?

Полковник. Я говорил вам, чтобы вы держали вашу дурацкую пасть закрытой?

Меткаф. Так точно, сэр!

Полковник. Вот и держите вашу дурацкую пасть закрытой, когда я велю вам держать вашу дурацкую пасть закрытой. (*К Клевинджеру*.) Вы не могли бы говорить погромче? Я вас не слышу.

Клевинджер. Слушаюсь, сэр. Я…

Полковник. Меткаф, это я на вашу ногу наступил?

Меткаф. Никак нет, сэр. Это, должно быть, нога лейтенанта Шайскопфа.

Шайскопф. Это не моя нога.

Меткаф. В таком случае это, наверное, все же моя нога.

Полковник. Уберите ее.

Меткаф. Слушаюсь, сэр. Только сначала вам придется убрать вашу ногу, полковник. А то она стоит на моей.

Полковник. Вы приказываете мне убрать мою ногу?

Меткаф. Никак нет, сэр. О, никак нет, сэр.

Полковник. В таком случае уберите вашу ногу и закройте вашу дурацкую пасть. (*К Клевинджеру*.) Вы не могли бы говорить погромче? Я вас все еще не слышу.

Клевинджер. Слушаюсь, сэр. Я сказал, что не заявлял, что вы не сможете меня наказать.

Полковник. О чем вы, черт подери, толкуете?

Клевинджер. Я отвечаю на ваш вопрос, сэр.

Полковник. На какой?

Стенографист. «Так какого же дьявола вы имели в виду, когда заявили, ублюдок вы этакий, что мы не сможем вас наказать?»

Полковник. Ладно. Так какого же дьявола вы имели в виду, ублюдок вы этакий?

Клевинджер. Я не заявлял, что вы не можете меня наказать, сэр.

Полковник. Когда?

Клевинджер. Когда что, сэр?

Полковник. Вы опять задаете вопросы.

Клевинджер. Виноват, сэр. Боюсь, ваш вопрос

мне непонятен.

Полковник. Когда вы не заявляли, что мы не сможем вас наказать? Этот вопрос вам понятен?

Клевинджер. Никак нет, сэр. Не понятен.

Полковник. Это вы уже говорили. А теперь будьте добры ответить на него.

Клевинджер. Но как же я могу на него ответить?

Полковник. Вы опять мне вопрос задаете.

Клевинджер. Виноват, сэр. Я не понимаю, как можно ответить на ваш вопрос. Я никогда не заявлял, что вы не сможете меня наказать.

Полковник. Это вы объясняете, когда вы так заявляли. А я просил сказать нам, когда вы так не заявляли.

Клевинджер (*набирает полную грудь воздуха — до него наконец дошло*). Я никогда не заявлял, что вы не сможете меня наказать.

Полковник. Уже лучше, мистер Клевинджер, хоть это и отъявленное вранье. Прошлой ночью в сортире. Когда вы решили, будто вы там одни и никто из нас у двери не подслушивает. Разве не прошептали вы, что мы не сможем вас наказать, а? Другому сучьему потроху, которого мы тоже не любим? Как его зовут?

Шайскопф. Йоссариан, сэр.

Полковник. Да, Йоссариан. Йоссариан, вот именно. Йоссариан? Что это, черт дери, за фамилия, Йоссариан?

Шайскопф. Это фамилия Йоссариана, сэр.

Полковник. Да, наверное. Так прошептали вы Йоссариану, что мы не сможем вас наказать?

Клевинджер. О нет, сэр. Я прошептал ему, что вы не сможете счесть меня виновным в…

Полковник. Может, я и дурак, но разницы что-то не вижу. Я, может, совсем дурак, потому как никакой тут разницы не усматриваю.

Клевинджер. Мы…

Полковник. Вы трепливый сучий потрох, ведь так? Никто у вас разъяснений не просит, а вы лезете ко мне с разъяснениями. Я сказал, что думаю, и разъяснений не прошу. Вы трепливый сучий потрох, ведь так?

Клевинджер. Никак нет, сэр.

Полковник. «Никак нет, сэр»? Вы называете меня мерзким вруном?

Клевинджер. О нет, сэр.

Полковник. Тогда вы трепливый сучий потрох, ведь так?

Клевинджер. Никак нет, сэр.

Полковник. Вы что, подраться со мной хотите?

Клевинджер. Никак нет, сэр.

Полковник. Так вы трепливый сучий потрох?

Клевинджер. Никак нет, сэр.

Полковник. Будь я проклят, если вы не нарываетесь на драку. Да я за два вонючих цента перескочу через этот поганый здоровенный стол и поотрываю ваши вонючие трусливые руки-ноги.

Меткаф. Поотрывайте! Поотрывайте!

Полковник. Меткаф, вы вонючий сучий потрох. Я же велел вам закрыть вашу вонючую, поганую, дурацкую пасть, так?

Меткаф. Так точно, сэр. Виноват, сэр.

Полковник. Вот и заткните ее.

Меткаф. Я учусь этому, сэр. Ученье — свет, неученье — тьма.

Полковник. Кто это сказал?

Меткаф. Все так говорят, сэр. Даже лейтенант Шайскопф.

Полковник. Вы это говорили?

Шайскопф. Так точно, сэр. Но так все говорят.

Полковник. Ладно, Меткаф, постарайтесь держать вашу дурацкую пасть закрытой — глядишь, вы этому и научитесь. Хорошо, на чем мы остановились? Прочитайте-ка мне последние записанные вами слова.

Стенографист. «Прочитайте-ка мне последние

записанные вами слова».

Полковник. Да не мои последние слова, болван. Еще чьи-нибудь.

Стенографист. «Прочитайте-ка мне последние записанные вами слова».

Полковник. Это опять мои последние слова!

Стенографист. О нет, сэр. Это мои последние слова. Я зачитал их вам секунду назад. Помните, сэр? Всего секунду назад.

Полковник. О Господи! Зачитайте мне его последние слова, болван. А кстати, как вас, к чертям собачьим, зовут?

Стенографист. Попинджей, сэр.

Полковник. Ну так вы у нас следующий, Попинджей. Как только закончится этот процесс, начнется ваш. Понятно?

Стенографист. Так точно, сэр! Какое обвинение мне предъявят?

Полковник. Да какая, к дьяволу, разница? Нет, вы слышали, о чем он меня спросил? Вам нужно много чему научиться, Попинджей, и вы начнете учиться через минуту после того, как мы покончим с Клевинджером. Курсант Клевинджер, что именно вы… Вы ведь курсант Клевинджер, так, а не Попинджей?

Клевинджер. Так точно, сэр.

Полковник. Хорошо. Что именно вы…

Стенографист. Попинджей — это я, сэр.

Полковник. Попинджей, ваш папаша миллионер или, может, сенатор?

Стенографист. Никак нет, сэр.

Полковник. Тогда вы сидите по уши в дерьме, Попинджей, и без лопаты. Постойте, он не генерал, не какая-нибудь шишка в нынешней администрации президента, а?

Стенографист. Никак нет, сэр.

Полковник. Очень хорошо. А чем он занимается, ваш папаша?

Стенографист. Он умер, сэр.

Полковник. Еще того лучше. Ну так вы и вправду по уши в дерьме, Попинджей. Попинджей — это настоящая ваша фамилия? И что это, черт подери, за фамилия такая, Попинджей? Мне она не нравится.

Шайскопф Это фамилия Попинджея, сэр.

Полковник. Ну так она мне не нравится, Попинджей, я просто жду не дождусь, когда мне удастся оторвать ваши вонючие трусливые руки-ноги. Курсант Клевинджер, будьте любезны, повторите, какую там чертовщину вы прошептали или не прошептали прошлой ночью в сортире вашему другу.

Клевинджер. Слушаюсь, сэр. Я сказал, что вы не сможете счесть меня виновным…

Полковник. Вот отсюда и начнем. Что именно вы имели в виду, курсант Клевинджер, говоря, что мы не сможем счесть вас виновным?

Клевинджер. Я не говорил, что вы вообще не сможете счесть меня виновным, сэр.

Полковник. Когда?

Клевинджер. Когда что, сэр?

Полковник. Проклятие, вы опять лезете ко мне с расспросами?

Клевинджер. Никак нет, сэр. Прошу прощения сэр.

Полковник. Тогда ответьте на мой вопрос. Когда вы не говорили, что мы не сможем счесть вас виновным?

Клевинджер. Прошлой ночью в сортире, сэр.

Полковник. Это был единственный случай, когда вы этого не говорили?

Клевинджер. Никак нет, сэр. Я никогда не говорил, что вы не сможете счесть меня виновным, сэр. Я говорил, что…

Полковник. Мы не спрашиваем у вас, что вы говорили. Мы спрашиваем у вас, что вы не говорили. А что вы говорили, никому решительно не интересно. Понятно?

Клевинджер. Так точно, сэр.

Полковник. В таком случае продолжим. Так что вы говорили?

Клевинджер. Я говорил, сэр, что вы не сможете счесть меня виновным в проступке, в котором меня обвиняют, и остаться при этом верными делу…

Полковник. Как-как? Что вы мямлите?

Меткаф. Прекратите мямлить.

Клевинджер. Есть, сэр.

Меткаф. И мямлите «сэр», когда мямлите.

Полковник. Меткаф, вы ублюдок!

Клевинджер. Так точно, сэр. Делу справедливости, сэр. Что вы не сможете счесть…

Полковник. Справедливости? Что такое справедливость?

Клевинджер. Справедливость, сэр, это…

Полковник. Это не справедливость. Это Карл Маркс. Я объясню вам, что такое справедливость. Справедливость — это удар коленом в брюхо, это бей лежачего сапогом по морде, это финка, с которой ты прокрадываешься ночью на склад боеприпасов военного корабля, это мешок с песком, которым глушишь втихаря кого ни попадя и без всякого предупреждения. Справедливость — это петля-удавка. Вот что такое справедливость, ко-

гда всем нам следует быть достаточно крутыми и достаточно крепкими, чтобы отколошматить Билли Петролле. Стрелять с бедра. Усекли?

Клевинджер. Никак нет, сэр.

Полковник. Вы мне не сэркайте.

Клевинджер. Слушаюсь, сэр.

Меткаф. И говорите «сэр», когда не сэркаете.

Полковник. Вы виновны, Клевинджер, иначе никто вам обвинений не предъявлял бы. А поскольку доказать вашу вину мы можем одним-единственным способом — признав вас виновным, — наш патриотический долг состоит в том, чтобы именно так и поступить. Так вот, Клевинджер, на основе единогласного голосования трех судей я объявляю вас виновным по всем предъявленным вам обвинениям и приговариваю к пятидесяти шести штрафным маршировкам.

Клевинджер. А что такое «штрафная маршировка»?

Полковник. Исправьте на пятьдесят семь. Штрафная маршировка — это шестьдесят минут маршировки взад-вперед по солнцепеку с незаряженной тяжелой винтовкой времен Первой мировой войны на плече. Желаете что-нибудь сказать, прежде чем я оглашу приговор?

Клевинджер. Вы же его только что огласили!

Полковник. Что? Это были только цветочки.

Клевинджер. Насколько мне известно, сэр, я имею право на апелляцию.

Полковник. Этого права я вас только что лишил. Исправьте на сто пятьдесят семь. Сначала ему обвинителя подавай, потом апелляцию. Желаете сказать что-нибудь еще, подать прошение о помиловании? Если желаете, я ваше наказание удвою. (*Клевинджер отрицательно качает головой.*) В таком разе берите винтовку — и шагом марш! Быстрее, быстрее. Я хочу, чтобы вы постарались выжать как можно больше из каждой минуты каждого часа.

Клевинджер (*начиная маршировать*). Не понимаю.

Полковник. Это я вижу. Всего через шестьдесят дней вам предстоит сражаться с Билли Петролле, а вы только и знаете, что расхаживать взад-вперед, взад-вперед с никчемной винтовкой на плече. Ну что, правосудие свершилось? С делами покончено?

Меткаф. Сэр? А кто такой Билли Петролле?

Полковник. Рад, что вы спросили об этом.

Шайскопф. Я тоже хотел об этом спросить, сэр.

Полковник. Не сомневаюсь, Де…

Шайскопф. Шайскопф.

Полковник. Шайскопф. Билли Петролле был профессиональным боксером, родившимся в Берике, штат Пенсильвания, в 1905 году. Он провел сто пятьдесят семь боев и выиграл восемьдесят девять, из них шестьдесят три нокаутами. Четвертого ноября тридцать второго года он выступил в Нью-Йорке на чемпионате мира среди боксеров легкого веса против Тони Коцонери и проиграл по очкам в поединке, который продолжался пятнадцать раундов. Он был также известен под кличкой Фарго-Экспресс. Город Фарго находится в штате Северная Дакота. Рад, что сегодняшний процесс оказался для всех вас столь поучительным. Объявляю перерыв в заседании суда.

Стенографист. А как же я?

Полковник. Вы? А вы кто такой?

Стенографист. Попинджей, сэр. Вы обещали и меня наказать.

Полковник. Верно, обещал, э-э…

Шайскопф. Шайскопф.

Полковник. Шайскопф. Посадите-ка его под арест, пусть наберется там ума-разума. Быстро соображаете, капитан, спасибо. Думаю, вы далеко пойдете.

Шайскопф. Я лейтенант, сэр.

Полковник. Я повысил вас в чине, капитан. А сейчас произвожу в майоры.

Шайскопф. Здорово! Надо же, как далеко я пошел. Пошевеливайтесь, Попинджей. Возьмете вашу зубную щетку, чистый носовой платок и явитесь с докладом к начальнику тюрьмы.

Шайскопф хватает Попинджея за руку и жестом велит убраться со сцены.

Полковник. Видите, как я был прав на его счет, Меткаф? Я сказал, что он далеко пойдет, он тут же и пошел.

Меткаф. Если он стал майором, то кем же стал я?

Полковник. Вы, Меткаф, стали тем самым малым, которому придется поплыть на Соломоновы острова и закапывать там мертвецов.

Меткаф. Мне?

Полковник. Это всего лишь мертвецы. Вы предпочли бы скорее стать мертвецом, чем закапывать их?

Меткаф отрицательно качает головой. Затем берет лопату, укладывает ее, точно винтовку, на плечо и покидает сцену, минуя вышагивающего ему навстречу Клевинджера. Шайскопф присоединяется к полковнику. На сцене появляется

Йоссариан. Клевинджер производит поворот кругом и вышагивает к кулисе.

Клевинджер (*Йоссариану*). Все равно не понимаю.

Йоссариан. Чего?

Полковник (*когда Клевинджер проходит мимо него*). Ненавижу тебя.

Клевинджер мерным шагом приближается к Йоссариану.

Шайскопф. Я тоже.

Клевинджер. Они меня ненавидят.

Полковник. Ненавидел до твоего появления у нас и ненавидел все то время, что ты здесь провел.

Шайскопф. Я тоже.

Полковник. И мы будем ненавидеть тебя до скончания наших дней.

Шайскопф. Я бы его линчевал, если б мог.

Клевинджер. Они трое взрослых людей, а я мальчишка, но они меня ненавидят.

Полковник. И желают тебе смерти.

Клевинджер. Мы говорим на одном языке, носим одну форму, но нигде на свете нет людей, которые ненавидят меня сильнее.

Полковник. И желают тебе смерти.

Шайскопф. Я тоже.

Полковник. Приятно видеть, как свершается правосудие.

Йоссариан (*маршируя вместе с Клевинджером*). Я пытался предостеречь тебя, малыш. Они ненавидят евреев.

Клевинджер. Так я же не еврей.

Йоссариан. А им без разницы.

Полковник. Мы еще до всех вас доберемся.

Йоссариан. Видишь?

Полковник. А знаете, почему мне приятно видеть, как свершается правосудие, а, Дерь…

Шайскопф. Шайскопф.

Полковник. Шайскопф? Потому что… (*Йоссариан строевым шагом проходит мимо него.*) Я сказал: до всех.

Йоссариан замирает, задумывается, усваивает смысл услышанного. Подходит к оружейной стойке, надевает на плечо винтовку и начинает выполнять штрафную маршировку вместе с Клевинджером.

Полковник. Потому что его совершаю я.

Полковник, хохоча, уходит со сцены вместе с Шайскопфом. Клевинджер, а следом за ним Йоссариан, покидают ее, маршируя в противопо-

ложном направлении.

ЗАНАВЕС

О «ПОПРАВКЕ-22»
Возвращение в «Поправку-22» [42]

Когда мы достигли Бастии, самого большого города Корсики, он оказался пустым, знойным и тихим. Времени было около часу дня, а корсиканцы, как и итальянцы, прячутся после полудня по домам и не выходят из них до позднего вечера, когда начинает спадать жестокая, удушающая летняя жара. Один из отелей Л'Иль-Руса, города на другой стороне острова, прислал за нами такси. Машиной этой управлял Франсуа, бывший полицейский, человек жизнерадостный, бойкий, коренастый, со смахивавшей на бочонок грудью, очень покладистый. Лет ему было за сорок, а наряд его состоял из белой сетчатой безрукавки, чистых, свободного покроя, штанов и новых кожаных сандалий.

Из Бастии в Л'Иль-Рус ведут две дороги, верхняя и нижняя.

— Поедем по нижней, — сказала моя боявшаяся

---

[42] Примечания: 42

«Холидей», № 41, апрель 1967, с. 44–60, 120, 141–142, 145. Перепечатано в «Поправка-22. Анализ» под ред. Фредерика Т. Кили и Уолтера Макдональда (Нью-Йорк: «Кроуэлл»), 1973.

смерти жена.

— D'accord[43], — согласился Франсуа и тронул машину с места.

Через минуту-другую Бастия оказалась прямо под нами.

— Это и есть нижняя дорога? — спросила моя жена.

Это верхняя, сообщил Франсуа. Он решил, чтобы порадовать нас, ехать в Л'Иль-Рус дорогой более живописной, ну а если мы так и будем настаивать на нижней, что же, ею можно будет вернуться назад. Франсуа и вправду был человеком покладистым — соглашался с любым нашим предложением, а затем делал то, что считал правильным.

Со времени службы в армии я помнил, что на Корсике есть горы, но никаких представлений о том, как их много и какие они высокие, у меня не сохранилось. К вашему сведению, там имеется пик в девять тысяч футов и еще восемь высотой больше восьми тысяч. Один из этих восьмитысячников мы теперь и переваливали. Чем выше мы забирались, тем больше окрестности напоминали американский Запад. Вскоре мы увидели

---

[43] Примечания: 43
Согласен *(фр.)*.

росший при дороге кактус, а затем в небе закружили орлы — под нами!

Примерно за два часа мы пересекли остров и приблизились к другому берегу, все еще оставаясь высоко над ним. Мы повернули на юг, миновали маленький пляж с несколькими немецкими дотами, которые никто не потрудился снести, и вскоре увидели в дымке под нами Л'Иль-Рус, раскинувшийся между горами и морем. Дорога неторопливо пошла вниз. Мы пересекли город и подъехали к стоявшему почти в самом конце его, на узком мысу, отелю.

Главная цель моего возвращения на Корсику состояла в том, чтобы снова посетить место расположения нашей авиационной базы, побродить по земле, на которой стояли наши палатки, посмотреть, какие изменения претерпела взлетно-посадочная полоса, с которой мы так часто взлетали и на которую так часто садились. База располагалась не в Л'Иль-Русе, а на другой стороне острова, милях в пятидесяти от Бастии. В Л'Иль-Рус я приехал потому, что во время войны здесь находился лагерь отдыха военно-воздушных сил. Увиденное меня разочаровало. «Наполеон Бонапарт» — роскошный отель, в котором селились офицеры, — закрыли. Отель,

отводившийся для рядовых, снесли. И разумеется, никакого шума, оживления и суматохи времен войны здесь не наблюдалось. За исключением Рима и Неаполя, почти во всех связанных с моим военным опытом больших и малых городах, которые мне еще предстояло посетить, меня ожидало такое же разочарование. Они уже не имели хотя бы какого-то отношения к войне, а только благодаря войне я с ними и познакомился.

В тот день мы пошли купаться. На берегу музыкальный автомат проигрывал записи Боба Дилана, «Битлз», «Роллинг Стоунз» и Нэнси Синатра. За столиками сидело множество молоденьких девушек и юношей, красивых и нарочито невозмутимых, приехавших сюда на отдых из Ниццы, Марселя и даже Парижа. Вид они имели томный, пресыщенный и были полны решимости уделять нам не больше внимания, чем друг дружке.

Вечером я обедал с человеком, который в течение восемнадцати лет занимал в Л'Иль-Русе видный пост, — занимал бы и дольше, если бы эта честь его не утомила. Мы проехали вдоль берега несколько миль, отделявших город от деревни Альгажола, и пообедали в маленьком новом отеле, притулившемся на обращенном к морю склоне горы. Мой хозяин познакомил меня со ста-

риком, который работал барменом в «Наполеоне Бонапарте», когда тот был домом отдыха американцев. Ничего сверхъестественного по части воспоминаний старик предложить мне не мог. Тогда было много спиртного и мало женщин, за исключением тех случаев, когда в отель с разных концов Корсики приезжали, чтобы потанцевать, армейские медсестры.

Гораздо больший, чем наш лагерь отдыха, интерес представлял мой хозяин — дородный щедрый смуглый мужчина пятидесяти с лишним лет, бывший в молодости истинным бонвиваном. Он учился в Париже и рассчитывал провести жизнь в удовольствиях и праздности, но затем потерял за короткое время отца, дядьев и деда и вынужден был вернуться на Корсику, дабы управлять здесь делами семьи. С того времени он и жил на Корсике. Он сказал мне, без особой, впрочем, убежденности, что по-настоящему полюбил этот остров, хоть и скучал по опере, балету, драматическому театру, хорошей еде, хорошему вину и возможности говорить о них с теми, кому они доставляли не меньшее, чем ему, наслаждение. Разговаривая со мной, он то и дело улыбался, однако веселость его омрачалась горестными сожалениями. У него был взрослый сын, который

должен был в десять вечера приехать за нами в своей машине. Он не опоздает, заверил меня мой хозяин. И сын действительно появился ровно в десять.

— Он всегда приезжает точно в срок, — печально сообщил мой хозяин, когда мы встали из-за стола. — Ему не хватает воображения даже на то, чтобы опаздывать.

Так я повстречался в маленькой корсиканской деревне с Итаном Фромом[44], и то, что он мне рассказал, и вправду было историей о несбывшихся надеждах и потраченных впустую годах.

На следующее утро мы отправились в обратный путь, собираясь отыскать старую авиационную базу. Франсуа дал нам послушать звуковой сигнал своей машины — это был настоящий клаксон. Франсуа установил его специально для поездки по нижней дороге, чтобы нам было спокойнее. Каждый раз, как наша машина влетала в закрытый поворот, я приказывал Франсуа: «Sonnez le Klaxon»[45], — и он с наслаждением подчинялся.

Нижняя дорога из Л'Иль-Руса поначалу шла

---

[44] Примечания: 44

Герой одноименного романа американской писательницы Эдит Уортон (1862–1937).

[45] Примечания: 45

Включите клаксон *(фр.)*.

очень высоко. Однако затем стала спускаться, и вскоре мы уже неслись по ровной земле. Я в шутку сказал Франсуа, что могу взять его с собой в Нью-Йорк, где он наверняка займет заметное место среди манхэттенских водителей. Франсуа ухватился за этот великолепный шанс с таким энтузиазмом, что я поспешил охладить его. Нью-йоркские таксисты, сказал я, работают на чужих людей, зарабатывают мало и n'est pas content, jamais content[46], а позволить себе машину с водителем могут лишь немногие очень богатые люди вроде Алана Аркина[47]. Франсуа все еще серьезно обдумывал эту информацию, когда из капота понесся бешеный стук — лопнул ремень вентилятора. Франсуа затормозил и остановил машину у обочины, прямо за уже стоявшим там грузовичком. Двое копавшихся в его двигателе мужчин подняли на нас испачканные смазкой удивленные лица. Оказалось, что наша вынужденная остановка произошла прямо перед единственной на многие мили вокруг автомастерской.

Через несколько минут неисправность бы-

---

[46] Примечания: 46

Недовольны (жизнью), всегда недовольны *(фр.)*.

[47] Примечания: 47

Алан Уорф Аркин (р. 1934) — американский актер, исполнитель роли Йоссариана в экранизации «Поправки-22».

ла устранена, мы могли отправиться дальше. Выясняя, как проехать к старой американской авиабазе, Франсуа сказал между делом, что я один из служивших на ней офицеров. Механики повернулись ко мне с улыбками до ушей, один даже позвал из дома жену, чтобы и та на меня подивилась. Франсуа их реакция потрясла: до него вдруг дошло, что он везет важную шишку, одно присутствие которой в его машине придает немалый вес и ему. Он выпятил грудь, вновь обратившись в наделенного властью полицейского, встал между мной и приветствовавшей меня толпой из трех человек и, приказав им отойти на несколько шагов, начал передавать мне их вопросы — не все, но некоторые, выбираемые им по собственному усмотрению. А через минуту отрывисто объявил как нам, так и им, что пора ехать. Мы поехали, а они махали нам вслед руками.

Мне все еще не удавалось отыскать что-нибудь более знакомое, чем заурядное Средиземноморье. Вместо памятных мне древних и вечных исторических вех я видел такие же, как на Файер-Айленде, коттеджи, которых во время войны здесь не было, — уж это-то я знал. Впрочем, вскоре показался поворот на Сервьон, еще одну горную деревню, в которую мы время от времени ездили

на джипе, чтобы выпить в ее прохладном темноватом баре по стакану вина. Бар так там и стоял. Правда, стал намного светлее. На стенах его висела реклама кока-колы, холодильная витрина предлагала gelati allemagne, немецкое мороженое, производимое итальянцами в Ливорно. Несколько сидевших в баре завсегдатаев были лет на двадцать моложе запомнившихся мне молчаливых смуглых стариков в рабочей одежде. Эти носили летние майки и брюки, гладить которые после стирки не требовалось.

Франсуа, вошедший в бар первым, объявил всем присутствующим, что привез американского офицера, который служил на располагавшемся ниже деревни аэродроме, а теперь, многие годы спустя, вернулся, чтобы навестить его, потому что любит и Корсику, и жителей Сервьона. Реакцию это сообщение вызвало бурную. Перед моей женой и детьми мигом появилось мороженое и холодная кола; передо мной — пиво, вино и иные ароматные спиртные напитки. Оказалось, что я единственный американец с авиабазы, какой когда-либо возвращался сюда, и это надлежало отпраздновать максимально торжественно. Из бара позвонили в ресторан, заказали еду, и минут через десять мы отправились туда пешком,

следуя за Франсуа, который вышагивал впереди всех, до того раздувшись от важности, что я не питал никаких сомнений: он очень сильно преувеличил роль, сыгранную мной в разгроме Гитлера и победе над Японией.

Единственный ресторан Сервьона находился на втором этаже единственного в этой деревне отеля и составлял, похоже, часть жилых помещений семьи, которая этим отелем управляла. В центре ресторана нас уже ждал большой стол. Едва мы уселись, как нам начали подносить еду, и некоторые из блюд выглядели, надо сказать, довольно странно.

— Воду не пейте, — предупредила моя жена детей, однако те никакого внимания на нее не обратили, поскольку умирали от жажды, а других напитков никто им не предложил.

— Воду не пейте, — сказал мне Франсуа и откупорил бутылку вина.

Жена и дети удовольствовались вареным окороком, хлебом и сыром. Я поедал все, что передо мной ставили, и просил добавки. Главным блюдом оказался большой ломоть того, что выглядело как жареная телятина, но было скорее всего козлятиной, поскольку мясо козленка — фирменный продукт острова.

Возвратившись в бар, мы выпили кофе, а затем состоялась странная, неожиданная церемония. Все вдруг примолкли, вперед застенчиво выступил молодой человек, тихим голосом попросивший дозволения поднести нам cadeau, подарок, — большую прекрасную керамическую вазу, изготовленную в местной мастерской, которая его и кормила. Я был тронут до того, что даже протрезвел, и пожалел, что не прихватил с собой ничего позволявшего ответить подарком на подарок.

После Сервьона аэродром, когда мы его наконец отыскали, стал еще одним разочарованием. Маяк, служивший ориентиром для возвращавшихся самолетов, не оставлял сомнений в том, что место мы нашли правильное, однако больше здесь ничего, кроме сорной травы и буйно разросшихся кустов, не наблюдалось. И стоять среди них под палящим солнцем было занятием не более осмысленным и не менее эксцентричным, чем благоговейное стояние где-нибудь в Канэрси посреди давно заброшенной стройплощадки. Возвращение сюда не принесло мне ни радости, ни печали, я чувствовал лишь одно: что свалял дурака.

— Ради этого мы сюда и приехали? — сварливо

осведомился мой сын.

— Здесь находился аэродром, — пояснил я. — Бомбардировщики, которые возвращались из Италии или Франции, садились вон там.

— Я пить хочу, — сказала дочь.

— Мне жарко, — сказала жена.

— Я хочу назад, — сказал сын.

— В Л'Иль-Рус мы уже не вернемся, — сказал я. — Заночуем в Бастии.

— Я про Нью-Йорк говорю! — сердито воскликнул он. — Меня не интересует твой дурацкий аэродром. Единственный аэродром, какой я хочу видеть, — это аэропорт Кеннеди.

— Не обижай папочку, — сказала ему, ехидно подмигнув, моя дочь. — Папочка пытается вернуться в свою молодость.

Я гневно окинул ее предостерегающим взглядом и снова начал озирать поле, пытаясь отыскать глазами пропеллер, крыло, самолетное колесо — какую-нибудь полную драматизма метку, которая отличила бы этот запустелый кусок никому не нужной земли от других таких же, разбросанных по побережью. И ничего не увидел, а и увидел бы, что мне это дало бы? Я был человеком, искавшим войну и искавшим ее не в том месте. Моя война давно закончилась, ушла

в прошлое, и даже моему десятилетнему сыну хватило ума, чтобы понять это. Чего брюзгливый мальчишка не понимал, так это того, что его воинская служба еще впереди, и я готов был заключить его, наполовину свисавшего с кислым, раздраженным видом из автомобиля, в объятия, чтобы уберечь от нее.

— Может, поедем? — умоляюще спросил он.

— Да, конечно, — ответил я и велел Франсуа везти нас прямиком в Бастию.

Машина его понеслась по дороге точно ракета, но очень скоро с визгом затормозила у первого увиденного им бара. Быстро пробормотав, что ему необходимо повидаться с тетушкой, он выскочил наружу прежде, чем мы успели запротестовать. Вернулся он через тридцать секунд, облизывающим верхнюю губу и значительно повеселевшим. В дальнейшем Франсуа останавливался еще у трех баров, чтобы повидаться с тещей, лучшим другом и отставным капитаном полиции, под началом которого он служил, и после каждого из этих коротких визитов походка его становилась пружинистей, а улыбка — шире.

Вернувшись в город, Франсуа насвистывал, мы же были еле живыми от усталости. Жарища в городе стояла несусветная. Возьмите ад, добавьте

к нему влажность, и вы получите климат Бастии в начале июля.

Франсуа и я отправились в ближайший бар, чтобы выпить на прощание. Он снова был весел и уверен в себе.

— Нью-Йорк? — с надеждой спросил он.

Я покачал головой. Франсуа философически пожал плечами и поднял свой стакан.

— Tchin-tchin[48], — произнес он и настоял на том, чтобы заплатить за выпивку.

Впервые я попал на Корсику в мае 1944-го, заменив в группе бомбардировщиков одного из потерянных в бою летчиков. И всего через четыре дня вылетел на первое мое боевое задание как бомбардир звена бомбардировщиков. Нашей целью был железнодорожный мост вблизи Поджибонси.

Бедный городок Поджибонси. Единственное его преступление состояло в том, что он оказался построенным невдалеке от Флоренции и рядом с одной из железных дорог, идущих через Апеннинские горы на юг, к Риму, который тогда еще удерживали немцы. И из-за такой-то мелочи меня перебросили через океан, чтобы я помог

---

[48] Примечания: 48
За ваше здоровье *(фр)*.

уничтожить железнодорожный мост.

На инструктаже мы услышали, что нам предстоит всего лишь «слетать за молоком», поскольку с зенитным огнем или вражескими самолетами мы столкнемся навряд ли. Меня это не обрадовало. Я жаждал сражений, а не безопасности. Жаждал увидеть небо, заполненное боевыми схватками бесшабашных смельчаков и раскрывающимися парашютами. Мне был двадцать один год. И я был балбесом. Я старался утешиться мыслью, что по пути нам все же подвернется кто-нибудь достаточно любезный, чтобы нас обстрелять. Никто не подвернулся.

Моя задача, задача бомбардира ведомого самолета, состояла в том, чтобы не спускать глаз с ведущего бомбардировщика нашего звена. Увидев, что его бомбовые люки открываются, я должен был открыть мои. А увидев, что из него посыпались бомбы, должен был нажать на кнопку, сбрасывавшую мои бомбы. Все было очень просто — во всяком случае, выглядело очень простым.

Полагаю, я заскучал. Поскольку зениток в Поджибонси не было, ведущий бомбардир звена открыл бомбовой люк довольно рано и начал заходить на цель по длинной прямой. Прошло,

как мне показалось, немало времени. Я взглянул на землю, чтобы понять, далеко ли до цели, а оторвав от нее взгляд, увидел уже летевшие вниз бомбы других самолетов нашего звена и на секунду-другую испуганно замер. Потом нажал на кнопку. Потом закрыл дверцы бомбового отсека и снова посмотрел вниз, дабы увидеть, куда упадут мои бомбы, молча молясь при этом, чтобы законы гравитационного ускорения немного смягчились и позволили моим бомбам нагнать все остальные.

Бомбы других самолетов полетели вниз аккуратным плотным строем и пробили в мосту здоровенную дыру. Мои пробили здоровенную дыру в одной из гор, возвышавшихся в нескольких милях за ним.

Я наивно надеялся, что никто моей оплошности не заметит, однако в грузовике, который вез нас с летного поля, какой-то малый в парашютной сбруе спросил:

— Кто был бомбардиром второго самолета?

— Я, — робко ответил я.

— Ты припозднился, — сообщил он мне так, точно это обстоятельство ускользнуло от моего внимания. — Ну ничего, мост мы все же разбомбили.

«Ну да, — подумал я, — а я разбомбил гору».

Через несколько дней после того, как наша семья вернулась с Корсики в Италию, мы, направляясь в Сиену, чтобы поприсутствовать там на празднике, именуемом «Палио», проехали через Поджибонси. Железнодорожный мост отремонтировали, теперь он стал еще и лучше прежнего. Дырища в горе осталась где была.

Когда мы вселялись в наш переполненный сиенский отель, его портье, краснолицая бойкая женщина, улыбнулась и сказала:

— Берегитесь карманников! Они у вас все украдут — деньги, чеки, украшения, фотоаппараты! В прошлом году у нас обворовали трех постояльцев!

Последние статистические данные женщина выкрикнула с таким торжеством, точно ее отель соревновался с каким-то другим, а тот мог похвастаться всего лишь двумя жертвами воров. Женщина баюкала на руках младенца, своего внука; ее дочь, примерно лет двадцати, высокая и неразговорчивая, производила какие-то подсчеты на маленьком арифмометре. Наших детей посетило чудесное интуитивное озарение, и они решили на «Палио» с нами не ходить, а остаться в отеле.

Около сорока тысяч человек столпились на отведенной для зрителей части большой площади, чтобы посмотреть кульминацию традиционного состязания, в котором участвовали семнадцать contrade, то есть районов города. Очень скоро многие зрители начали падать, получив тепловой удар, а передвигавшиеся рысцой команды санитаров — оттаскивать их под трибуны. Затем в последнем ряду нашей трибуны внезапно появился большой, жирный, пьяный, ревущий, двухсотфунтовый гусь с какими-то крошками на губах и лягушкой на шее. Не настоящий, конечно, гусь, а жирный омерзительный забулдыга в зеленом и белом цветах его contrada, называвшегося, насколько я понял, не то гусем, не то уткой, не то еще какой-то птицей. Он пробился, отпихнув билетера, на самый верх, и теперь орал, приветствуя свой contrada, проходивший парадным строем мимо трибуны, и хрипло матеря все остальные. Прямо за нами и прямо перед ним сидели рядком старшеклассницы из Северной Каролины, путешествовавшие по Европе под присмотром тощего молодого американского джентльмена, очень скоро приобретшего вид человека, которому сильно хочется находиться не здесь, а в каком-нибудь другом месте. Одна из

девушек принялась занудно пилить его, выговаривая слова с сильным южным акцентом:

— Как по-итальянски «полицейский»? Позовите полицейского, слышите? Этот итальянец, когда кричит, оплевывает меня. К тому же от него воняет. Я не хочу, чтобы этот вонючий итальянец стоял за моей спиной.

На «Палио» вместе с нами пришли профессор Нью-Йоркского Сити-колледжа Фредерик Карл, специалист по Конраду, и его красавица жена, графиня Д'Орестильо, итальянка из Казерты. Обладавшая взрывным темпераментом графиня уже готова была произнести гневный монолог, но никак не могла решить, к кому с ним обратиться. Обе стороны конфликта представлялись ей равно отвратительными. Впрочем, прежде чем она успела открыть рот, начались скачки и толпа взревела, заглушив все разговоры.

Кто победил, мы не разглядели, да нас это не особо и интересовало. Однако для других людей исход состязания имел, судя по всему, очень большое значение, поскольку, едва скачки закончились, трое мужчин набросились на одного из проигравших жокеев и принялись дубасить. И тут же по всей толпе вспыхнули кулачные бои, и тысячи вопящих людей заметались во всех на-

правлениях сразу. В воздухе запахло настоящим побоищем, и никто из нас, занимавших сидячие места, не решался спуститься с трибуны. Мы сидели на наших скамьях, перепуганные, такие же беззащитные и беспомощные, как тряпичные куклы в ярмарочном тире, и вдруг кто-то коротко взвизгнул за моей спиной, а следом на меня рухнуло нечто тяжелое.

Это был пьяный гусь, решивший присоединиться к своим сражавшимся внизу товарищам и избравший для этого кратчайший путь. Он просто рванул вперед сквозь ряд девушек, едва не сбив одну из них на пол, и повалился на нас. Я и профессор Карл машинально с отвращением перевалили его на тех, кто сидел под нами, а они отправили дальше. Таким манером пьяный гусь в конце концов приземлился, раскорячившись, в самом низу. Там он кое-как поднялся на ноги, сжал кулаки, и на миг мне показалось, что он снова бросится к нам, но тут людской поток утащил его с собой.

Непонятно как, но минут через десять побоище сменилось всеобщим шумным весельем, люди из разных contrade обнимались, пели и начинали пробиваться к выходу с площади, чтобы влиться в шествие по городу, во главе которого выступа-

ла победившая лошадь. Ощущение опасности спало. Через некоторое время мы спустились с трибуны и тоже пошли к выходу, минуя бледных как мел людей на носилках и, время от времени, любопытную Варвару мужеска пола, пристально изучавшую ноги еще оставшихся на трибунах женщин. Покинув площадь, мы, держась поближе к стенам домов, не выпуская из рук деньги, украшения и фотокамеры, возвратились в отель, где наши заскучавшие и отдохнувшие дети объявили, что желают сию же минуту отправиться назад, во Флоренцию, а женщина-портье рассказала нам, восторженно вскрикивая, все-все-все о скачках и героической троице побивших жокея мужчин.

Пока жена укладывала наверху вещи, я завел с этой женщиной разговор о войне. «Расскажите мне о ней, — попросил я. — Вы же тогда здесь находились?» Нет, не здесь. Во время войны она работала в Болонье, что представляло для меня еще больший интерес, поскольку в тот день, когда американские бомбардировщики нанесли по этому городу массированный удар, она находилась вместе с маленькой дочкой на железнодорожном вокзале. Она выбежала из вокзала и пролежала всю бомбежку на земле, укрывшись за невысокой

стеной. А когда налет закончился, вернулась к вокзалу, однако найти его не смогла — не смогла отличить оставшуюся от него груду обломков от таких же груд, в которые обратились стоявшие с ним рядом дома. И только тогда она испугалась по-настоящему. Ее привела в ужас мысль — она и теперь это помнила, — что ей не удастся сесть в свой поезд, поскольку неизвестно, когда и откуда он отправится.

Впрочем, все это было далеким прошлым. Дочь ее, в ту пору маленькая девочка, выросла, стала высокой, неразговорчивой и научилась управляться со счетной машинкой, да и сама женщина предпочитала рассказывать о «Палио» или о Сиене, которую обе воюющие стороны пощадили тогда по просьбе самого папы, мотивированной тем, что в Сиене родилась святая Екатерина, — немецкие войска закрепились немного севернее, в Поджибонси, который американцы в результате почти сровняли с землей.

Бедный Поджибонси. В те первые недели мы вылетали, чтобы бомбить железнодорожные и автомобильные мосты, в Перуджу, Ареццо, Орвието, Кортону, Тиволи и Феррару. Большинство из нас никогда об этих местах даже не слышали. Мы были очень молоды, и лишь немногие из нас

успели поучиться в колледжах. Полеты были по большей части недолгими — около трех часов — и относительно безопасными. Наша эскадрилья, к примеру, потеряла первый самолет только 3 июня, в Ферраре. И только 3 августа во Франции, над Авиньоном, я наконец увидел падавший, охваченный пламенем бомбардировщик, и только 15 августа, опять-таки над Авиньоном, мой самолет получил пробоину, отчего второй пилот ненадолго спятил, а до меня впервые дошло: Боже милостивый, они же и меня пытаются убить! И уж после этого мне стало не до смеха.

Если мы не вылетали на боевые задания, то купались или играли в бейсбол либо баскетбол. Еда была вкусной — вкуснее, по правде сказать, всего, что большинству из нас довелось когда-либо попробовать, — деньги мы получали для двадцатиоднолетних ребят немалые. Как и все хорошие солдаты, мы делали то, что нам велели. Если бы нам приказали разбомбить сиротский приют (нам не приказали), мы задали бы только один вопрос: «Сколько там зениток?» Мы брали в гараже машины и ездили в Сервьон, чтобы выпить по стакану вина, либо в Бастию, чтобы скоротать вторую половину дня или вечер. Жизнь представлялась нам до поры до времени

вполне приличной. У нас были лагеря отдыха — на Капри и в Л'Иль-Русе.

4 июня 1944-го американские войска вошли в Рим. И всего в двух шагах, думаю я, за ними следовал расторопный квартирмейстер нашей эскадрильи, так как мы одновременно получили две важные новости: союзники взяли Рим, а наша эскадрилья сняла в нем две большие квартиры — одну, пятикомнатную, для офицеров, другую, пятнадцатикомнатную, для рядового состава. Обе были укомплектованы горничными, а в распоряжении солдат и сержантов, привозивших продукты с собой, имелась еще и кухарка.

Меньше чем через неделю мои друзья вернулись из Рима с фантастическими рассказами об удовольствиях, которые поджидали их в большом, полном приключений городе, — о девушках, кабаре, еде, напитках, развлечениях и танцах. После того как настал мой черед поехать туда, я обнаружил, что каждый из их увлекательных рассказов был правдивым. Не думаю, что там уже стоял тогда Колизей, поскольку о нем никто ни разу не упомянул.

Когда немцы ушли из Рима, а американцы вошли в него, это был город, живший нормальной жизнью. У людей имелись жилье и работа, в

городе были открыты магазины, рестораны, даже кинотеатры, по нему ходили автобусы. Конечно, о процветании говорить не приходилось — еды, сигарет и сладостей недоставало, денег тоже. Одежда была в дефиците, хотя большинству девушек как-то удавалось придавать своим платьям привлекательный вид. Электричество подавалось лишь в определенные часы, что затрудняло работу лифтеров; комендантский час изгонял жителей города — мужчин, женщин, детей и теноров — с улиц как раз тогда, когда они начинали получать удовольствие от вечерней прохлады.

В то время, как и теперь, самой оживленной частью Рима была Виа-Венето. Меня очень удивляет то обстоятельство, что нынешний Рим почти не отличается от того, каким он был тогда. Самое большое различие сводится к тому, что летом 1944-го людьми в форме были преимущественно американцы, а людьми в штатском — итальянцы, теперь же форму носят итальянцы, а штатское платье — главным образом, американцы. Самое большое удовольствие доставляла тогда людям и доставляет сейчас общая атмосфера этого города, чем он разительно отличался от Неаполя, в котором невозможно было не столкнуться с убожеством, нищетой и человеческими страда-

ниями, и помочь мы тут ничем не могли, разве что небольшими деньгами. В этом отношении и Неаполь тоже не изменился.

Сегодня на Виа-Венето стоят те же самые здания, и служат они примерно тем же самым целям. Американский «Красный Крест» находился в отеле «Бернини-Бристоль» (мы забегали туда, чтобы позавтракать и почистить ботинки), в самом начале Виа-Венето; домами отдыха американцам служили отели «Эдем», «Амбацьятори» и, по-моему, «Мажестик». Отель «Квиринал» на Виа-Национале занимали новозеландцы; портье его и поныне хранит полученное от их командования благодарственное письмо. В гараже американского посольства работают сейчас те же люди, которые тогда работали штатскими шоферами у американского военного командования. Они с готовностью делятся воспоминаниями о времени, наступившем после освобождения города. Они могут расходиться в отношении точного адреса клуба офицеров-союзников — огромного ночного заведения с танцевальным залом, называвшегося, по-моему, «У бродвейского Билла». Если же вас интересовала собственно война, вам следовало покинуть центр Рима и поехать к Ардеатинским пещерам, в которых немцы расстреляли больше

трехсот заложников-итальянцев.

Во время войны мы прилетали сюда с Корсики самолетом и проводили в Риме пять-шесть суток. Днем мы нередко совершали короткие прогулки в поисках всякого рода курьезов и новых впечатлений. Как-то раз на узенькой улочке знойная темноглазая красавица соблазнительно поманила меня и моего приятеля к себе из-за бисерной занавески. Мы вошли в дом, и там нас постригли. В другой раз довольно полный напористый молодой человек сцапал нас прямо на улице, затолкал в свою лавочку и быстро пририсовал к отпечатанным на бумаге торсам наши карикатурные физиономии. Затем спросил, как нас зовут, и написал на одной картинке «Голливудский Джо I», а на другой — «Голливудский Джо II». А получив наши деньги, выставил нас на улицу. Лавочка его называлась «Смешная рожица», а самого художника звали Федерико Феллини. С тех пор картинки у него стали получаться немного лучше.

Только один раз за все время моей воинской службы я совершил серьезную попытку осмотреть римские достопримечательности и оказался в автобусе, битком набитом седовласыми майорами и медицинскими сестрами из военных

госпиталей; все они были лет на двадцать, самое малое, старше меня. Остановка у катакомб была для нашей экскурсии всего лишь второй, однако едва войдя в них, я понял, что с меня хватит. Пока вся группа углублялась во тьму, я улизнул из катакомб, и больше меня там ни разу не видели.

Разумеется, теперь Рим вызывает у меня другие чувства, и думаю, благодаря присутствию в нем Микеланджело. Он часто жаловался на жизнь, но дело свое знал. От его «Моисея» захватывает дух — в особенности если вам удается осмотреть эту статую до того, как ее обступят туристы во главе с экскурсоводом, который примется угощать их обычными апокрифическими объяснениями касательно рожек на голове и тонкого шрама на мраморной ноге. О последнем рассказывается, что Микеланджело, пораженный жизнеподобием изваянной им статуи, запустил в нее резцом и закричал: «Говори! Почему ты молчишь?»

Это неправда. Я видел статую и знаю: если бы Микеланджело метнул в нее резец, Моисей подобрал бы его и метнул обратно.

А вот с потолком Сикстинской капеллы у меня вечно возникают затруднения. Эту гигантскую фреску называют самой огромной работой, когда-либо выполненной одним художником. Никакой

летний турист ни подтвердить, ни опровергнуть это суждение никогда не сможет, поскольку никакой летний турист никогда не сможет увидеть ее: фреску будут загораживать от него сотни стоящих вокруг людей. Очередь желающих попасть в капеллу не уступает по длине той, что неизменно тянется к дверям мюзик-холла «Радио-Сити», и входные билеты стоят дорого. А получив билет, ты еще должен, чтобы оказаться в капелле, прошагать около мили. Войдя же в нее, ты попадаешь в настоящую давку, в толпу создающих оглушительный гомон людей. Вдоль стен лежат на носилках, понемногу очухиваясь, попадавшие в обморок женщины. Служители орут на тебя, требуя чтобы ты не шумел или пошевеливался. Иегова протягивает руку к Адаму и попадает пальцем в макушку стоящего перед тобой корейца. Ты задираешь голову вверх, и вскоре у тебя затекает шея. В идеале изучить эту потолочную фреску можно, только лежа на полу в центре капеллы. Но и при этом расстояние до потолка окажется скорее всего слишком большим, чтобы ты смог толком осмыслить кружащий над тобой вихрь. Э.М. Форстер определил произведение искусства как нечто большее, чем сумма его частей; я подозреваю, что в отношении потолка Сикс-

тинской капеллы справедливее скорее обратное — части ее превосходят величием целое.

Впрочем, Микеланджелов «Страшный суд», занимающий целую стену той же капеллы, — дело совершенно иное. Стена имеет сорок четыре фута в ширину и сорок восемь — в высоту, а покрывает ее самая мощная живопись из всех, какие я знаю. Это лучшая из когда-либо снятых кинокартин. В ее бурном подъеме и падении присутствует вечное движение, в ее страданиях и гневе — вечная драма. Побыть рядом со «Страшным судом» — то же, что побыть рядом с Эдипом и королем Лиром. Я хочу эту стену. И хотел бы обзавестись когда-нибудь деньгами и временем, достаточными для того, чтобы летать в Рим и смотреть на нее каждый раз, как у меня появится такая потребность. Я знаю, любая из этих поездок непременно окупится. А еще бы лучше — перенести стену в мою квартиру, чтобы она всегда была у меня под рукой. Впрочем, мой домовладелец этого наверняка не позволит.

После взятия Рима квартирмейстером моей эскадрильи бои быстро откатились на север. К середине июня французы заняли Ливорно, остатки каменной брусчатки, разбитой во время тогдашнего сражения, и сейчас еще валяются в

окрестностях городского порта, да, верно, и будут валяться всегда. Тринадцатого августа американцы вошли во Флоренцию. Прежде чем покинуть город и укрепиться в горах за ним, немцы взорвали мост через Арно; Понте-Веккьо заставил их призадуматься, и в конце концов они подорвали подъезды к нему, а сам древний мост оставили нетронутым. Взрывы разрушили и дома, которые стояли на обеих концах Понте-Веккьо, однако их отстроили заново, сохраняя стиль соседствующих с ними, уцелевших, и лишь очень внимательный глаз способен заметить следы порожденных войной разрушений.

Перуджа, Ареццо, Орвието, Сиена и Поджибонси — все они находились теперь по нашу сторону линии фронта. Пизу взяли 2 сентября, и немцы отступили по равнинной прибрежной земле, чтобы занять позиции в горах за Каррарой. Так образовалась Готская линия, протянувшаяся через Италию до самого Адриатического моря; немцам удалось удерживать ее всю зиму и большую часть весны. Только в середине апреля союзники смогли прорвать их оборону и выйти к Болонье, а к тому времени война в Европе уже почти завершилась.

Рим, Сиену и Флоренцию немцы сдали в до-

вольно приличном состоянии, зато в крошечной деревне Санта-Анна, стоявшей высоко в горах, за мраморными карьерами Каррары, они перебили в отместку за убийство двух своих солдат семьсот человек, почти всех жителей деревни. Когда срок ультиматума истек и деревня не выдала повинных в смерти солдат партизан, в ней подожгли каждый дом, а людей, выбегавших на улицы, расстреляли из автоматов. Остается только дивиться, почему люди, столь безразличные к жизням других человеческих существ, щадили города, в которых те жили. Может быть, потому, что рассчитывали вернуться в них?

Теперь они и возвращаются, каждую весну, — изголодавшиеся по солнцу немецкие туристы. Незамужние девицы слетаются, как я слышал, большими агрессивными стаями в Римини и другие расположенные вдоль адриатического берега города ради неустанных поисков солнечных ожогов, секса и сна — именно в этом порядке. На западном побережье, где мы провели несколько недель вблизи растянувшегося на четырнадцать миль песчаного пляжа, именуемого Версильянской Ривьерой, меню, вывески, извещения и ценники выполнены на четырех языках — итальянском, английском, француз-

ском и немецком. В этом же регионе находятся Виареджо, Камайоре, Пьетразанта, Форте-дей-Марми. И самый большой контингент июньских приезжих составляют здесь, вне всяких сомнений, немецкие семейства. Правда, к началу июля они практически исчезают. Каждый год, как нам рассказали, они приезжают пораньше и уезжают перед наступлением июля. Тосканцы, которые немцев недолюбливают, хоть и стараются свою неприязнь не выказывать, время от времени позволяют себе намекать, что немцы уезжают так рано потому, что июль — это разгар сезона, сопровождающийся ростом цен. Я подозреваю, впрочем, что тут есть и другая причина: к июлю в Италии наступает жара, а в Германии всего лишь теплеет.

Отель «Байрон» в Форте-дей-Марми — это недорогая жемчужина в короне семейных отелей. Номера в нем дешевы, еда готовится особенно тщательно, окрестности очень живописны, однако еще прекраснее, чем все это, его владелец, управляющий, портье, да и весь штат горничных и слуг, на редкость милых, вежливых, услужливых и участливых. Они впадали в печаль, если мне случалось обругать дочь или если мой сын напускал на себя несчастный вид. Зато корот-

кого комплимента, сделанного любому из них, довольно было, чтобы все остальные озарились благодарными улыбками. Впрочем, сказанное мной справедливо в отношении практически любого ресторана и отеля Италии. В этой стране слова похвалы, особенно похвалы за старания оказать тебе личную услугу, достаточно, чтобы сделать того, к кому оно обращено, счастливым очень надолго.

Владелец отеля служил в той части итальянской армии, что стояла в Африке, и рассказать мне о происходившем во время войны в самой Италии не мог. Я тоже никому в отеле о моем военном прошлом не рассказывал, поскольку мы много раз прилетали в эти места, чтобы поражать указанные нам цели. Мосты Виареджо мы бомбили по меньшей мере один раз, мосты Пьетразанта — по меньшей мере четыре.

Вскоре мне захотелось съездить в Пьетразанта, посмотреть на странный военный мемориал, стоящий там рядом с автомобильным мостом. Мост этот, новый и прямой, был перекинут через мелкую речку, не превышавшую шириной городской улицы, что и объясняет, почему мы бомбили его столь часто, — починить такой ничего не стоило. А военным мемориалом оказался стоявший

вблизи моста разбомбленный дом — жители Пьетразанта решили сохранить его как вечное напоминание о немецкой оккупации. Эта несообразность едва не заставила меня улыбнуться — дом находится так близко к мосту, что разрушили его почти наверняка бомбы, сброшенные американскими самолетами. На самом новом мосту я увидел мемориал иного рода, показавшийся мне более трогательным, — табличка в память о девушке по имени Роза, совсем недавно погибшей здесь под автомобилем.

В один прекрасный день моя жена признала в человеке, который завтракал в нашем отеле, прославленного английского скульптора Генри Мура. Управляющий ее догадку подтвердил. Это действительно был Генри Мур. В Фортедей-Марми у него имелся дом, а в окрестностях Виареджо и Пьетразанта — множество знакомых. Через некоторое время мы повстречали Стенли Блейфилда, скульптора из Уэстона, штат Коннектикут, и его жену. То есть за совсем небольшой срок мы увидели здесь сразу двух скульпторов; впрочем, Блейфилд рассказал мне и о других — о Жаке Липшице, владельце живописной горной виллы, которая стоит над дорогой в Лукку, о Бруно Луччези, которому удается, как уверяют его

многочисленные завистники, продавать любую сделанную им вещь, и еще о многих скульпторах, каждое лето приезжающих в эти места, чтобы поработать и поразвлечься. Работают они в бронзе, а скульптуры свои отливают в Пьетразанта, в мастерской Луиджи Томмази, который считает их всех чокнутыми.

Чокнутыми Томмази считает их всех и из-за того, что они лепят, и из-за денег, которые платят ему, чтобы он отливал их работы. Томмази — улыбчивый красивый мужчина лет сорока, в синих бермудских шортах. Основной источник его дохода образуют предметы религиозного культа и, насколько я могу судить, перекошенные Пизанские башни — вещицы долговечные и пользующиеся постоянным спросом. Однако каждое лето при появлении скульпторов он с огромным удовольствием забрасывает свою основную работу. Ни он, ни его рабочие никак не могут поверить, что глиняные скульптуры, которые они получают, слеплены именно так, как задумали их ваятели, однако Томмази давно отказался от попыток исправлять ошибки, которые в них находит, поскольку знает по опыту, что благие намерения подобного рода скульпторами отнюдь не приветствуются. Его литейная мастер-

ская — сокровищница изваяний, пребывающих на различных стадиях завершенности. Когда мы осматривали ее, Блейфилд не смог удержаться от нервной попытки отодрать ногтем большого пальца окалину с отливки одной из его собственных работ и получил в ответ холодный взгляд молодого рабочего. Во дворе мастерской стояла высокая замысловатая скульптура Липшица, наводящая на мысли о плодородии и плотской любви, — вещь невероятной силы и красоты; в скором времени ей предстояло занять постоянное место перед одним из калифорнийских зданий.

Флоренция — самый близкий к Форте-дей-Марми большой город; мы часто ездили туда, чтобы еще раз полюбоваться творениями Микеланджело и Боттичелли и купить сережки для моей дочери. Флоренция — лучший в мире город для ничегонеделания, поскольку предлагает массу возможностей что-нибудь сделать, но только не моему сыну, — ему там делать было решительно нечего, кроме как осматривать разного рода малоприятные места, которые мы посещали. Как-то вечером все мы пошли на флорентийский ипподром посмотреть рысистые бега. Дети туда допускаются, и многие из них благовоспитанно играют на травке за трибунами или сидят вместе

с родителями на скамьях и наблюдают за заездами. Минимальная ставка мала. Бега — место семейного отдыха, общедоступное и безопасное. Сын угадал четверых победителей и выиграл восемь долларов. На следующий день выяснилось, что возвращаться домой он уже не хотел. Он хотел снова пойти на бега. Однако рысистые состязания в тот вечер не проводились, и я повел его в оперу. После чего он снова запросился домой. И очень скоро на шаг приблизился к нему — мы покинули Италию и отправились поездом в Авиньон. К нашему приезду там установилась изнурительная жара, на несколько дней придавившая всю южную Европу. До того моя семья ни от кого об Авиньоне ни слова не слышала — разве что от меня, — точно так же как и бóльшая часть нас, стоявших на Корсике, услышала об Авиньоне только тогда, когда мы получили приказ разбомбить тамошний мост через Рону. Одно из немногих исключений составлял штурман из Новой Англии — до войны он преподавал историю и страшно радовался всякий раз, как оказывался неподалеку от мест, игравших видную роль в его лекциях. Когда наши самолеты долетели до Оранжа и начали поворачивать на юг, к цели, он объявил по переговорному устройству:

— Справа от нас город Оранж, родовое гнездо королей Голландии и Вильгельма Третьего, который правил Англией с тысяча шестьсот восемьдесят восьмого по тысяча семьсот второй.

— А слева от нас, — ответил ему по радио полный омерзения голос родившегося в Чикаго стрелка-радиста, — зенитки.

Мы с самого начала знали, что налет скорее всего окажется опасным для нас, поскольку трем самолетам предстояло идти перед основным нашим строем и разбрасывать кусочки фольги, чтобы сбивать с толку радары зенитных орудий. Мне, бомбардиру одного из этих самолетов, заняться было особенно нечем — только сидеть, накрыв голову металлической каской, которая защищала ее от осколков снарядов, а когда зенитки смолкли, посмотреть назад — выяснить, как чувствуют себя наши бомбардировщики. Один из них, горевший, шел вниз по пологой спирали, вскоре обратившейся в неуправляемое вращение. И я наконец увидел раскрывавшиеся парашюты. Трое летчиков покинули этот самолет. Трое других остались в нем и погибли. Одного из первых троих нашли и спрятали жители Авиньона, и в конце концов доставили целым и невредимым назад бойцы французского Сопротивления. Пят-

надцатого августа, в день вторжения в южную Францию, мы снова полетели бомбить Авиньон. На этот раз немцы сбили три наших самолета, и никто из их экипажей не уцелел. Стрелок моего самолета был серьезно ранен в бедро. Я оказал ему первую помощь, а на следующий день навестил его в госпитале. Выглядел он хорошо. Ему сделали переливание крови, он должен был вскоре поправиться. Зато я чувствовал себя ужасно — мне предстояло совершить еще двадцать три боевых вылета.

Вот где шла настоящая война — в Авиньоне, не в Риме, не в Л'Иль-Русе, не в Поджибонсе, даже не в Ферраре. Там я был еще слишком неопытным, чтобы испытывать страх. Теперь же все разговоры вертелись в Авиньоне вокруг только что закончившегося, весьма успешного летнего фестиваля искусств. Людей на него съехалось больше, чем когда-либо прежде, и воодушевленные этим городские чиновники, отвечавшие за привлечение туристов, уже начали строить на следующий год планы, которые позволили бы им добиться еще большей удачи.

Авиньон, объяснили мне, существует главным образом благодаря туристам, и я удивился, услышав это, поскольку город маленький — такой

маленький, что окна нашего номера, находившегося в тыльной части отеля, выходили на узкую улочку прямо напротив заведения, которое я принял было за салун и которое, если верить намекам отельных служителей, было борделем. Какая-то женщина, хриплая и громогласная, хохотала, кричала и пела в нем до четырех утра. А когда она наконец заткнулась, в соседней с заведением булочной начали рубить тесто. Утром я попросил, чтобы нам дали другой номер, и портье мгновенно понял меня и посоветовал не заходить в расположенное за отелем заведение.

— Это очень плохое место, — сообщил он с сожалением, из которого можно было вывести, что сам-то он посещает другое, намного лучшее. Портье перевел нас в номер, находившийся во фронтальной части отеля. Из окон его открывался вид на прелестное уличное кафе с огромным, затенявшим столики деревом посередке.

День спустя мы снова ехали в поезде — мое турне по полям сражений закончилось. Оно приводило меня лишь в места самые мирные и сводило с людьми, нисколько не озабоченными угрозой какой-либо новой войны. Странно сказать, но мою войну я нашел, и совершенно неожиданно, в маленькой нейтральной Швейца-

рии, уже после того как сдался и почти утратил к ней интерес. Она внезапно явилась мне в обличье дородного дружелюбного француза средних лет, с которым мы познакомились в одном из игрушечных швейцарских поездов, усердно одолевавших горы, которые отделяют Монтре от Интерлакена.

Он не говорил по-английски, курил сигарету за сигаретой и уберег нас на одной из станций от пересадки в поезд, который завез бы нас неизвестно куда. Он тоже ехал в Интерлакен провести отпуск у друга, которому принадлежало шале, стоявшее в деревне под этим городом. В то утро он простился в Монтре с женой и сыном, посадив их на поезд до Милана, — сыну хотелось побывать в Италии.

О семье своей француз говорил так непринужденно, что я без каких-либо колебаний поинтересовался, когда он собирается присоединиться к жене.

И получил поток приглушенных, произнесенных сдавленным голосом французских слов, ставших ответом на вопрос, которого я не задавал. Он начал рассказывать нам о сыне, и глаза его заблестели от слез.

* * *

Единственный сын этого француза, приемный, получил на войне в Индокитае ранение в голову, лишившее его возможности жить без постороннего ухода. Ни пойти, ни поехать куда-нибудь один он не мог. Он пролежал в госпитале семь лет, сейчас ему тридцать четыре. «Это плохо», — сказал француз, подразумевая рану сына, весь наш мир, погоду, настоящее и будущее. А затем, не знаю почему, пообещал мне: «Вы еще поймете, вы поймете». Голос его задрожал. Из уголков глаз поползли по щекам слезы, он ужасно смутился. Мальчик был слишком молод, неловко закончил он, словно извиняясь за свою несдержанность, чтобы получить увечье, которое останется с ним до конца его дней.

Он повернулся и ушел в другой конец вагона. Моя жена молчала. Дети притихли; впрочем, их одолевало любопытство.

— Почему он плакал? — спросил мой сын.

— О чем он говорил? — спросила дочь.

Что можно рассказать сегодняшним детям, не напугав и не опечалив?

— Ни о чем, — ответил я.

Джозеф Хеллер рассказывает об экранизации «Поправки-22» [49]

Превращение «Поправки-22» в фильм[50] было для меня делом нисколько не трудным, потому что я в нем не участвовал. Я очень легко решил эту проблему еще в 1962-м, просто-напросто отойдя в сторонку. После того как я продал роман киностудии «Коламбиа пикчерс» и получил первый чек, мне стало решительно наплевать, что с ним произойдет.

Кого-то это может удивить, кому-то показаться враньем, но я действительно думаю, что хороших фильмов вообще было снято совсем немного, и потому не мог всерьез ожидать, что таковой удастся сделать из моей книги. Меня нисколько не заботило, снимут ли его вообще, — если бы книгу превратили в разудалую комедию, я и то глазом бы не моргнул.

Конечно, в следующие четыре-пять лет мне пришлось старательно актерствовать, потому

---

[49] Примечания: 49
«Одиенс», № 2, июль — август 1972, с. 48–55.

[50] Примечания: 50
У нас он известен под названием «Уловка-22».

что большинство людей, которых я встречал, отчаянно заботило то, что «они» могут испортить мой роман или не смогут воссоздать его в полной мере на экране, — ну и мне приходилось изображать равную озабоченность, однако на деле я такой не испытывал. На деле я вообще никакой не испытывал, и, обладая правом написать первый сценарий — использовать его киностудия была не обязана, ей надлежало лишь заплатить мне за труды, — очень скоро от него отказался. Я не хотел писать сценарий «Поправки-22», поскольку, написав таковой, был бы вынужден принять на себя заботы о дальнейшей его участи. А я знал, что сценарист имеет очень мало влияния на процесс съемки фильма.

После публикации романа в 1961 году многие начали интересоваться правами на его инсценировку и экранизацию. Продюсеры и режиссеры звонили моему литературному агенту и спрашивали: «Права на экранизацию еще не проданы?» — она отвечала: «Нет». Они говорили: «Хорошо, мы вам скоро перезвоним», — и больше она о них ничего не слышала.

Истина состояла в том, что никого и ни на какой студии права на экранизацию «Поправки-22» не интересовали, поскольку сотрудники студий,

которым полагается читать книги, а затем рекомендовать их начальству, ничего на самом-то деле не читают. Они всего лишь просматривают списки бестселлеров, а покупать рекомендуют права на экранизацию книг, которые продаются лучше других, и пьес, которые пользуются наибольшим успехом. А «Поправка-22» в публикуемый «Нью-Йорк таймс» список бестселлеров так и не попала и была для студийного начальства сущей бедой, чумой, назойливым комаром, потому что все больше актеров и режиссеров приставали с просьбами купить права на эту книгу и позволить снять по ней фильм. Студии же не желали иметь с ней никакого дела. Во-первых, она, как я уже говорил, не была бестселлером, а во-вторых, тем, кто занимал в студиях самые важные посты, никак не удавалось понять, что это, собственно, за книга. Если кто-то из них и пытался ее прочитать, такие смельчаки останавливались, в чем я нисколько не сомневаюсь, примерно на восьмой странице и говорили себе: «Про любовь тут ничего нет. Этой книге не хватает девушки, которая умерла бы, едва дожив до двадцати, от лейкемии и принесла бы нам миллионы долларов».

И потому, встречаясь с важными шишками

какой-нибудь кинокомпании, я улавливал источаемую ими активную неприязнь еще до того, как успевал продемонстрировать им те неприглядные стороны моей личности, которые могли бы ее оправдать. Я был проблемой, с которой им не хотелось связываться.

С другой стороны, существовали люди, которым книга очень нравилась и которые видели в ней возможность снять хорошее кино. Орсон Уэллс, к примеру. В 1962-м или 1963-м я был в Лондоне, и Уэллс позвонил мне по телефону. Та неделя получилась какой-то странной, потому что за день до его звонка мне позвонил Бертран Рассел, хотевший познакомиться со мной. Я поехал к нему в Уэльс и провел там один из самых незабываемых дней моей жизни.

А теперь еще и Орсон Уэллс объявил, что ему нравится моя книга и что он готов сделать что угодно, отдать что угодно, лишь бы ему предоставили возможность экранизировать ее. Он попросил меня поговорить с мистером Майком Франковичем, работавшим в то время в «Коламбиа пикчерс», сказать ему, что он, Орсон Уэллс, был бы рад приехать в Лондон и на коленях просить позволения снять фильм по «Поправке-22». Я передал его просьбу Франковичу, но не успел про-

изнести и двух фраз, как Майк покачал головой и сказал: «Он выйдет из рамок бюджета, затянет съемки и, сняв половину фильма, передумает и бросит его. Орсон Уэллс для нас снимать ничего не будет, тут и разговаривать не о чем». А уже возвратившись в Штаты, я прочитал в еще издававшейся тогда нью-йоркской «Геральд трибюн» два интервью, которые Орсон Уэллс дал Джону Кросби, — в обоих Уэллс говорил, что он жаждет, страстно желает экранизировать «Поправку-22». Он просто чувствует, сказал Уэллс, что из этой книги может получиться фильм, по которому будут судить о кино середины столетия.

Нельзя не заметить самой настоящей иронии в том, что в итоге Орсон Уэллс сыграл в снятом по моему роману фильме крошечную роль, для которой подошел бы любой актер.

Ну-с, тогдашнему моему адвокату — он сильно похож на Свенгали[51] — удалось в конце концов заманить в свои сети две киностудии, которые начали, без особой, впрочем, охоты, соперничать за права на «Поправку-22». Я не то чтобы нуждался в деньгах — у меня была очень хорошая работа в одном рекламном агентстве, — я отчаянно жаж-

---

[51] Примечания: 51
Роковой гипнотизер из романа Джорджа дю Морье «Трильби» (1894).

дал денег, потому что, как ни хороша была эта прекрасная работа, меня от нее с души воротило. Затем, когда дело дошло до торгов, человек, ведший переговоры от имени одной из тех студий, скоропостижно скончался. Претендент на права остался только один, а именно «Коламбиа», — эта студия их в итоге и приобрела.

Конечно, все было не так просто. Связанные с фильмами переговоры длятся целую вечность. А когда обе стороны ударяют наконец по рукам, каждая предпринимает попытку тайком протащить в договор нечто такое, о чем никто до той минуты и думать не думал. Насколько я знаю, в договоре, заключенном мной и «Коламбиа», учтено и предусмотрено все. Даже права на футболки и овсянку к завтраку. И те и другие принадлежат студии. Зато у меня остались права на телевизионные и театральные постановки, которыми я как раз сейчас вовсю и пользуюсь.

А затем пошло-поехало то, что можно уподобить сну, становящемуся явью, — сну из тех, что, становясь явью, неминуемо разочаровывают. Я начал знакомиться с очень известными и значительными людьми — голливудскими актерами. Они звонили мне или договаривались через общих знакомых о встрече, и каждый шепотом

заверял, что только он во всем свете и может сыграть в «Поправке-22» ту или иную роль — как правило, центральную.

Хорошо помню первый из таких звонков — от человека по имени Сэм Шоу, знавшего в Голливуде множество людей. Сэм сказал: «Тут Тони Куинн появился. Он вот-вот уедет в Югославию, но хочет сначала переговорить с тобой. Прямо сейчас». Я ответил: «Хорошо. Где встретимся?» И услышал: «В ресторанчике „Стейдж деликатессен“». Я удивился: «Какого черта Энтони Куинн делает в „Стейдж деликатессен“?» Он ответил: «Беседует с девушкой, которую хочет нанять в секретарши». Ну я поехал в «Стейдж деликатессен», и, как только Куинн нанял секретаршу и отправил в Югославию, мы сели за маленький столик и начали разговаривать о «Поправке-22». Оказалось, что единственное сомнение, которое Куинн испытывал относительно исполнения им роли Йоссариана, состояло в том, что он был для нее староват. Он спросил у меня: «Как по-вашему, я не слишком старый?» И я ответил: «Конечно, нет. Собственно, описывая его, я как раз вас в виду и имел».

То же самое я произносил еще раз двадцать — тридцать, разговаривая с другими актерами

— от Уолли Кокса до Джека Леммона и Мела Брукса. И каждый раз действительно верил в то, что говорил. Я действительно верил, что Йоссариана может отличнейшим образом сыграть любой актер в мире — для каждого потребуются лишь незначительные изменения в роли. Не знаю, объяснялось ли это тем, что я искренне считал «Поправку-22» настолько легкоадаптируемой и несокрушимой, что для нее годится любой хороший актер, или же просто моей нравственной нечистоплотностью.

Одна из причин, по которой «Коламбиа» не приступила к съемкам фильма сразу, состояла в том, что получило у меня название «года двойной войны». Бедная компания попала в тот год в неудобное положение, финансируя сразу два антивоенных фильма, и Пентагону это не нравилось. По-видимому, каждой киностудии дозволяется снимать только по одному антивоенному фильму в год. Но не по два. А тут все сложилось так, что «Коламбиа» финансировала «Доктора Стрейнджлава» Стенли Кубрика, а еще одна независимая компания финансировала «Систему безопасности». Между двумя этими фильмами существовало определенное сходство, началась судебная тяжба, и самым простым

способом ее разрешения была для «Коламбиа» покупка «Системы безопасности». В результате у студии оказалось на руках два антивоенных фильма, и добавлять к ним третий она отнюдь не стремилась.

А между тем страдала — и чем дальше, тем сильнее — моя репутация, поскольку поползли слухи, что «Поправку-22» адаптировать для экрана не удается. Человек вроде Гарольда Роббинса или Ирвинга Уоллеса продает права на экранизацию своего романа в ту самую минуту, когда садится за письменный стол, чтобы его написать. Просто-напросто опыт уже доказал, что их книги легко переносятся на экран. А на меня легло позорное пятно, грозившее стать несмываемым. Многие говорили: «Из книг Хеллера хороших сценариев не сделаешь». Меня перестали приглашать на вечеринки. Лишили кредита в магазине «Брукс бразерз» и в «Танцевальной школе Артура Мюррея». В общем, сложилось мнение, что «Поправка-22» экранизации не поддается. Но я, разумеется, знал, что никто ее на экран перенести и не пытался.

В конце концов «Коламбиа» перекупила у другой студии Ричарда Брукса. Брукс сделал две успешные картины — «Элмер Гантри» и «Кошка

на раскаленной крыше» — и, насколько я знаю, заявил «Коламбиа», что согласится работать в ней, лишь если ему позволят экранизировать два его любимых литературных произведения — «Лорда Джима» и «Поправку-22». Ладно, согласилась «Коламбиа», ибо «Коламбиа пикчерс» давно знала о слабости, которую он питал к Джозефу Конраду. И Брукс принялся за «Лорда Джима». Брукс из тех режиссеров, что очень серьезно относятся к мельчайшим деталям. Он все делает сам. Когда в съемках «Лорда Джима» наступил перерыв, он прилетел в Нью-Йорк, и мы провели вместе около недели. Брукс сказал, что ему необходимо понять самую суть «Поправки-22». И добавил, что хотел бы просмотреть все мои наброски, заметки и различные варианты, — не могу ли я собрать их для него? Я ответил: «Ну, это потребует изрядных усилий». А он: «Мы вам за них заплатим». А я: «Ну, это потребует очень больших усилий». На самом деле все материалы к роману были у меня уже каталогизированы и разложены по порядку, поскольку я передал их на хранение библиотеке Университета Брандейса. Снова начались переговоры — в итоге я получил от «Коламбиа пикчерс» двадцать, не то двадцать пять тысяч долларов за передачу ей копий материалов, которые уже

отдал университету.

Я понимаю, разговоры о деньгах вульгарны, однако в киноиндустрии искусство и деньги — это одно и то же, и, рассказывая о деньгах, я на самом деле рассказываю об искусстве. Надеюсь, вы не думаете, что сейчас я богат, — все это происходило десять лет назад, и в богача я не обратился. Я потратил все те деньги и все искусство. И сожалею, что теперь у меня их нет.

Так или иначе, Ричард Брукс вернулся к съемкам «Лорда Джима». Они заняли два или три года, экзотические места вроде Бангкока, Лондона и Беверли-Хиллз совершенно измотали его. Когда же фильм вышел на экраны, то рецензий он удостоился неутешительных, огорчивших Брукса настолько, что тот объявил «Коламбиа» о своем нежелании снимать прямо сейчас еще один требующий большого труда фильм.

В итоге «Поправка-22» снова оказалась на руках у «Коламбиа», а желающих экранизировать ее не наблюдалось. Во всяком случае, в «Коламбиа».

Примерно в то время начал приобретать репутацию серьезного режиссера Майк Николс. Николса я обожал. Собственно говоря, посмотрев поставленную им пьесу Мюррея Шигала «Лав» (с Аланом Аркином в главной роли), я позвонил

в нью-йоркское отделение «Коламбиа пикчерс» и попросил передать Майку Франковичу, что лучшего, чем Алан Аркин, актера на роль Йоссариана и лучшего, чем Майк Николс, режиссера нечего и искать. Ответа от Майка Франковича я не получил. А Николс снимал другие фильмы — среди них «Кто боится Вирджинии Вулф?».

Опять-таки примерно в то же время на сцене появился продюсер Марти Рансохофф, бывший, по мнению некоторых, едва ли не самым неприятным в киноиндустрии человеком, превзошедшим по этой части даже Джо Ливайна, а это серьезное достижение. Так оно было или не так, но Рансохоффу хотелось экранизировать «Поправку-22». Он переговорил с Майком Николсом, сказал ему, что хотел бы поручить ему постановку какого-нибудь фильма. Николс ответил, что у него есть только одно условие: этим фильмом должна быть «Поправка-22». И Рансохофф перекупил у «Коламбиа» права на экранизацию книги.

О том, что Николс собирается снимать «Поправку-22», а Алан Аркин — играть в этом фильме Йоссариана, я узнал из газет. В то время к западу от Джерси-Сити Алана Аркина знали лишь очень немногие: фильм «Русские идут, русские идут» на экраны еще не вышел. Однако контракт, подпи-

санный с Николсом, давал ему полную свободу в выборе актеров, а он желал снять Аркина. Воспрепятствовать в этом никто ему не мог, и, следует сказать, выбор его оказался превосходным.

После объявления о том, что Николс будет ставить «Поправку-22», многие по какой-то причине стали поздравлять меня. Вообще у людей сложились по поводу моей связи с фильмом представления самые странные. Когда начались съемки и в прессе появились сообщения о них, кое-кто начал обходиться со мной куда любезнее, чем прежде, — наш лифтер, например, или владелец моего дома. А затем вышло несколько статей о том, какие большие деньги потрачены на съемки, и все почему-то решили, что чем дороже он обходится постановщикам, тем богаче становлюсь я. Моя жена могла прийти в меховую мастерскую, чтобы укоротить шубку, и услышать от приемщика: «Подумать только! Вы два года ходите в одной и той же шубке, и это при муже, фильм которого опять вышел за рамки бюджета». Когда же поползли слухи, что фильм обошелся в двадцать или тридцать миллионов долларов, люди прониклись уверенностью, совершенно иррациональной, что все эти деньги достались мне. Впрочем, я ничего не отрицал, поскольку

обнаружил, что люди, которым ты кажешься богачом, готовы сделать для тебя все, что угодно. Вот беднякам, которые действительно нуждаются в помощи, получить ее оказывается очень непросто.

А годы между тем шли и шли. И все это время бедный Бак Генри трудился не покладая рук. Это его подрядили для преобразования «Поправки-22» в киносценарий. Как-то раз в нашей квартире зазвонил телефон. Трубку сняла моя дочь, повернулась ко мне и сказала: «Это кто-то из твоих друзей». Я спросил: «Кто именно?» Она ответила: «Не знаю, он почему-то назвался чужим именем — Майк Николс». Я взял у нее трубку, и, разумеется, звонивший как раз Майком Николсом и оказался. Он с очаровательной учтивостью сообщил, что ему представляется правильной мысль проконсультироваться с автором книги, прежде чем закончатся съемки фильма по ней, — так не смогу ли я с ним встретиться? Конечно, ответил я и услышал: «Хорошо, я вам перезвоню».

Прошло четырнадцать месяцев. Затем в один летний день телефон зазвонил снова: Майк Николс мне все-таки перезвонил. Причина, по которой он не перезвонил мне раньше, состояла, по его словам, в том, что ему хотелось сначала

довести сценарий почти до окончательного вида, а уж потом показать его мне. Я ответил: «Знаете, вы вовсе не обязаны показывать мне сценарий. Я могу начать задавать вопросы, которые затруднят вашу работу». Я говорил искренне. Я никогда не считал, что кто-то обязан сохранять верность книге либо мне, как не обязан и снимать по ней хороший фильм. Мне не нравятся писатели, жалующиеся по телевизору на дурное качество фильмов, снятых по их книгам, которые, говоря по чести, и сами-то обычно ничем не лучше.

Так или иначе, Николс сказал: «Нет, нам хочется, чтобы вы его посмотрели. Бак Генри многое переписал, сценарий сейчас мимеографируют, и мы готовы встретиться с вами». «Конечно», — ответил я и услышал: «Хорошо, я вам перезвоню».

Прошло еще четырнадцать месяцев. Затем Николс позвонил снова и сообщил, что мимеографирование сценария завершено и одна из его копий послана мне для ознакомления. Многое в сценарии мне не понравилось, еще большее понравилось, однако хотя бы одно я о сценариях знал: все они кажутся тем, кто их читает, ужасными, все производят ужасное впечатление. Как литературные произведения они скудны и незначительны. В них можно набрать сколько угодно

очень плохих фраз и недостоверных персонажей, и тем не менее на экране и те и другие могут оказаться более чем убедительными.

Больше всего мне понравились в этом сценарии его замысел и построение. Они свидетельствовали о серьезных усилиях, предпринятых для того, чтобы включить в фильм очень жесткие эпизоды книги — эпизоды, которые сам я, если бы писал по ней сценарий, выбрасывал бы автоматически. На самом-то деле, если бы его писал я, то получился бы фильм из тех, которые мне ненавистны, просто потому, что я избрал бы путь самый легкий и надежный. В нем было бы много секса, много острот, он получился бы очень смешным. В прочитанном мной сценарии всего этого тоже хватало, но были и сцены очень сложные, очень сильные и отрезвляющие. А еще он был длинным — 185 страниц.

Мы — Николс, Бак Генри и я — встретились в центре города, в китайском ресторане, который по какой-то причине очень нравился им обоим. Присутствие Бака Генри создало для меня изрядные трудности. Как-никак Николс хотел выяснить, что я думаю о сценарии, а напротив меня сидел человек, который его написал. Но я все же сделал несколько замечаний — и об-

щих, и конкретных. Сказал, что, на мой взгляд, в сценарии слишком много диалогов, слишком много ненужных разговоров, задача которых состоит всего лишь в том, чтобы связать один эпизод с другим. И сказал также, что первые семь или около того страниц очень динамичны и смешны, но ничто из происходящего на них не способствует развитию действия или характера Йоссариана. Майк ответил: «Составьте список конкретных предложений, и мы их обсудим. Мы оплатим вам эту работу. Я вам перезвоню». Я добрался, составляя список конкретных предложений, до середины сценария, и только тогда до меня наконец дошло, что означают слова «я вам перезвоню». Работу эту я тут же бросил и список критических замечаний и предложений никуда посылать не стал. Экземпляр сценария так у меня и хранится, и когда-нибудь тоже, наверное, отправится в Университет Брандейса, но уже после того как я продам его «Коламбиа»[52].

В конце концов все они отправились, чтобы снимать фильм, в Мексику. Я получил не слишком радушное предложение составить им

[52] Примечания: 52

Окончательный, правленный Хеллером вариант этого сценария хранится в «Коллекции Джозефа Хеллера», собранной библиотекой Томаса Купера, Университет Южной Каролины.

компанию, но не составил, потому что съемки проводились слишком далеко от Акапулько, в каком-то богомерзком месте, которое вся съемочная группа возненавидела прямо со дня приезда. Члены группы почти сразу начали сходить с ума, об этом даже статья появилась — не то в «Ньюсвик», не то в «Таймс мэгэзин». Как-то раз спятил Боб Ньюхарт, или притворился, что спятил: сказать наверняка так никто и не смог, во всяком случае, дело кончилось тем, что сделали укол, вернувший ему душевный покой. Еще одна причина, по которой я туда не поехал, была такой: мне уже доводилось бывать на съемках фильма, и я знал, что человек, который в них не занят, чувствует себя точно на дыбе, помирает от скуки. Вот посмотрите, что случилось с Джеком Гилфордом. Начали снимать эпизод с его участием, но съемка по какой-то причине была приостановлена, и Николс сказал: «Ладно, доснимем завтра-послезавтра». Прошло семь недель, а затем Гилфорд прямо со съемочной площадки отправил по почте письмо Николсу. Начиналось оно словами: «Дорогой мистер Николс! Вы сейчас в Мексике, снимаете кино. Я сейчас в Мексике, в кино не снимаюсь. У меня имеется кое-какой актерский опыт, и если вы не питаете ко мне неприязни и найдете время,

чтобы закончить один-единственный эпизод, я буду рад поработать с вами». На следующий день Николс вызвал Гилфорда на съемочную площадку, и они этот эпизод досняли.

Потом появился Джон Уэйн. Примчался незваный, поселился, полный ожиданий, в отеле, однако никто из группы его не узнал или не пожелал узнать — люди-то все были интеллигентные, — и он разозлился, напился и сломал ногу.

Потом появился и нагнал на всех страху Орсон Уэллс. Одного лишь его присутствия было довольно, чтобы держать всех и каждого в нервном напряжении. Но даже те члены группы, которым работать с Николсом к тому времени разонравилось, говорят теперь, что он проявил себя в общении с Уэллсом как гений тактичности.

Между тем фильм становился все более дорогим. Николс — перфекционист. Мне кажется, что он снимает фильм примерно так же, как я пишу роман. Я могу переписать одну страницу четырепять раз, а затем решить, что первый вариант был наилучшим; могу написать двенадцать вариантов трех страниц, а затем решить, что тут хватит и одного абзаца. Думаю, и с Николсом происходит во время съемок нечто похожее. Под конец почти

каждый, кто снимался в картине, оказался недовольным своей ролью, и это, по-моему, делает Николсу честь, поскольку показывает, что он никому из актеров не позволил доминировать в фильме и даже в каком-нибудь одном эпизоде. У Николса имелась четкая концепция картины. Это не значит, что она была совершенна, однако он делал все возможное, чтобы ее реализовать.

В конце концов в Бостоне был назначен закрытый предварительный просмотр фильма. Поначалу я думал поехать туда, но, услышав, что на просмотре будет присутствовать едва ли не каждый снимавшийся в фильме нью-йоркский актер и чуть ли не все сотрудники компании «Парамаунт пикчерс», ставшей к тому времени счастливой обладательницей фильма, решил не связываться, а поехал вместо этого в маленький городок штата Огайо, чтобы выступить в тамошнем колледже. Поздно вечером мне позвонил Майк Николс и сказал, что просмотр прошел неплохо — и ему, и людям из «Парамаунт» показалось, что картину приняли очень хорошо — и, если мне хочется увидеть ее, он задержится в Бостоне и устроит для меня и моих друзей, сколько бы я их ни созвал, еще один просмотр. Я ответил, что увидеть картину мне хочется, поехал туда

всего лишь с женой и дочерью — ей тогда уже исполнилось восемнадцать, — и мы посмотрели фильм в маленьком просмотровом зале.

Увиденное ошеломило, удивило и слегка пришибло меня. Когда просмотр закончился, я взял Майка Николса под руку и сказал: «По-моему, это один из лучших фильмов, какие я когда-либо видел». Я говорил искренне, и он это понял, и оба мы были очень довольны друг другом и самими собой.

Признаюсь, в фильме есть одно отличие от книги, свыкнуться с которым мне оказалось трудно. К настоящему времени я видел его уже три раза, и только на третий сумел смириться с тем, каким стал у Николса Мило Миндербиндер. Персонаж этот у него изменился довольно сильно. Но если говорить по существу, после первого просмотра моя жена, дочь и я сочли фильм очень суровым, мощным, захватывающим и бередящим душу. Мне понравилось, что его удалось сделать столь суровым и меланхоличным, — выдвинуть на первый план секс и комичность было бы намного проще.

Комическая сторона фильма подействовала на меня не так сильно, как подействовала она, судя по всему, на публику. Мне кажется, что многие из

присутствующих в нем абсурдных диалогов ничего к фильму не добавляют и служат лишь для заполнения времени. Есть, например, сцена на пляже, в которой Алан Аркин пытается совратить Полу Прентис. И она говорит бессмыслицу: «Я единственная девушка на базе; это так трудно». Услышав ее, я подумал, что лучше было бы сохранить то, что описано в книге: как она порывает любовную связь с Йоссарианом, имевшую для него немалое значение. По существу, она отвергает его, а не просто становится жертвой насилия.

Но чего мне действительно не хватает в фильме, так это хотя бы одной сцены допроса, суда инквизиции, судилища. В книге было три таких сцены, и довольно больших, в фильме не осталось ни одной. В сценической версии «Поправки-22», которую я как раз тогда закончил, дух выслеживания, инквизиции присутствует с начала и до конца, почти не сходя на нет. Однако я не в состоянии придумать, что бы такое изъять из фильма, чтобы освободить пять-шесть минут, необходимых для одной из сцен суда.

Самой впечатляющей в фильме мне кажется сцена Йоссариана и итальянской старухи в публичном доме. Если помните, он приходит в публичный дом, а там пусто, осталась лишь

курящая сигарету старуха. И она просто отвечает на его вопросы, никак на них не реагируя. В ее словах ощущается усталое, вековое смирение. У Йоссариана ответы старухи вызывают ужас и изумление. А потом она произносит: «Поправка двадцать два». Она сознает, что в долгой исторической перспективе жизнь именно так и устроена. Радости ей это не доставляет, но чему же тут удивляться? Для меня эта сцена так и остается самой мощной из всех. Кровавые сцены кровавы и сильно действуют на зрителя, однако мне они не представляются такими значительными, как эта.

Возможно, вы заметили одну странную особенность эпизода в палатке Майора. Каждый раз, как он проходит мимо висящей там на стене фотографии, она меняется. Сначала это фотография Рузвельта, потом Сталина, потом Черчилля. Я бы назвал это покушением на комичность, эксцентричную и произвольную, которое я, если бы меня спросили, совершать не порекомендовал бы. В фильме присутствует и еще одна деталь, от которой, как рассказал мне Николс, друзья советовали ему отказаться: музыка Рихарда Штрауса,

уже использованная в «2001»[53]. Она звучит, когда Йоссариан впервые видит Лючану, и зрители, услышав ее, начинают смеяться. Я тоже смеялся, хотя «2001» даже и не видел. Кое-кто из друзей говорил Николсу: «Не надо, это шутка для узкого круга, отсебятина». Он какое-то время пытался найти чем заменить эту музыку, но в конце концов решил, что имеет право на определенное количество отсебятины. И оставил ее в фильме.

Когда начался прокат, некоторые из рецензий оказались восторженными. Другие содержали нападки, но только на фильм, не на книгу, о чем с удовольствием и сообщаю. Книга прекраснейшим образом пережила всю эту историю. Собственно говоря, я даже удивился, что в стране обнаружилось такое количество рецензентов, считавших «Поправку-22» очень хорошей книгой. Когда она только-только вышла, их определенно было гораздо меньше. Сам же я не могу припомнить ни одного американского фильма из виденных мной до этого и после, который я поставил бы на один уровень с ним.

Ну что же, в первые месяцы проката фильм собирал очень хорошие деньги, потом приток

[53] Примечания: 53

Подразумевается фильм Стенли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» (1968).

их стал ослабевать, и в итоге он не добрал миллионов десять до той суммы, какая была на него потрачена, а потому и разговоров о том, что хорошо бы побыстрее снять продолжение, никто не заводил. Для меня было более важным то, что книга начала собирать деньги еще и большие. Летом, после премьеры фильма, мне позвонили из «Делл паблишинг» и сообщили, что за последние полгода «Поправка-22» стала самой популярной из когда-либо изданных этим издательством книг. За эти шесть недель было распродано больше миллиона экземпляров, что привело «Поправку-22» в публикуемый «Таймс» список бестселлеров в мягких обложках. Я был счастлив. А кроме того, меня забавляло, что значительная часть этого миллиона покупалась людьми, которые пробиться дальше шестой-восьмой страницы книги не смогут, однако меня это не заботило, поскольку отчисления от продаж я все равно получал. Никто же не требует от покупателя, чтобы он читал книгу: покупает, и слава Богу, — к тому же так приятно получать деньги от тех, кто обратил в миллионеров Гарольда Роббинса и Жаклин Сюзанн.

Кроме того, я переделал «Поправку-22» в пьесу, и, показанная в Ист-Хэмптоне, она получила от

«Нью-Йорк таймс» восторженную рецензию, однако я, не питая любви к работе с театрами, просто продал права на любые ее постановки компании «Сэмюэль Френч». Обычно драматурги пытаются добиться помпезной, коммерчески успешной постановки пьесы, а уж потом продают права на нее; мою же может теперь ставить каждый желающий. Причина состояла в том, что мне неинтересно было трудиться над спектаклем, я вообще не люблю совместной работы: у меня терпения для нее не хватает, — я люблю работать один, а репетиции нагоняют на меня скуку, да и переписывать что-либо я не охотник, даже когда знаю, что следует переписать и как. Кроме того, я не люблю сидеть в зале, наблюдать за репетирующими актерами, слушать их споры — не гожусь я для этого, — да и сцена нисколько меня не влечет.

В любом случае между книгой, снятым по ней фильмом и поставленной по ней пьесой связь существует лишь очень поверхностная. Кое-кто в киноиндустрии понимает это, но далеко не все. Идеальным фильмом был бы, наверное, тот, в котором слова отсутствуют вообще, — кино есть среда по существу своему нелитературная. В пьесе же вся ее архитектоника с самого начала

основывается на языке, на диалоге. Вот почему в сценической версии «Поправки-22» мне удалось сказать в десять раз больше того, что сказано в фильме. Персонажи появляются на сцене только тогда, когда им есть что сказать, а стоит им высказаться, как их прогоняют за кулисы. И смена места действия происходит на сцене легко и просто. Если персонаж сообщает: «Я собираюсь в Рим», — и, сделав один шаг по сцене, встречается с женщиной, одетой как проститутка, публика мигом понимает, что он уже в Риме и есть.

Но вопреки всему, что со мной произошло, вопреки преуспеянию, известности и успеху я остался таким, каким был, все это чудесным образом меня не испортило. Моей сильнее всего бросающейся в глаза особенностью по-прежнему остается скромность. Я и сейчас такой же продажный, каким был, когда спихнул свой роман «Коламбиа», и, Бог даст, останусь таким во всех моих сделках с людьми из мира кино. Вот уже несколько лет я работаю над романом. Большинство тех, кто читал части этого романа, находят его воистину восхитительным — таким же восхитительным, какой была «Поправка-22». И даже если он окажется жуткой гадостью, а так скорее всего и случится, его все равно ожидают фанта-

стические тиражи и все они будут раскуплены.

Не знаю, снимут ли по нему фильм. В нынешние времена мир кино обратился в зону бедствия, и без финансовой помощи со стороны государства киноиндустрии на плаву не продержаться. Но даже если эту книгу экранизируют, я над сценарием работать не буду — во всяком случае, с самого начала. Я мог бы присоединиться к такой работе: что-то переписать, что-то довести до блеска, — но лишь при условии, что меня об этом попросят и что мне приплатят за нее ничуть не меньше, чем всем остальным, однако сочинять сценарий с начала и до конца не стану. Если заниматься им как следует, придется потратить слишком много времени и сил. Сидеть на совещаниях, согласовывать с продюсером и режиссером подход к той или иной сцене, а потом еще и сценарий писать, — все это требует тех же затрат энергии, что и сочинение прозы, так я уж лучше на прозу ее и потрачу. Из всего, чем я занимаюсь, только сочинительство и воспринимается мной как серьезное дело. Когда я пишу роман, все, что при этом происходит, происходит лишь между мной и бумагой. Я забываю о публике, о продажах, о правах на экранизацию и всех прочих столь же бессмысленных и унизительных вещах. И мне

это нравится.

«Поправка-22» начинается [54]

Концепция романа нахлынула на меня точно припадок, мгновенный прилив вдохновения. После двух лет преподавания в пенсильванском колледже меня вновь охватило авторское честолюбие, и я, придя к заключению, что мне следует написать роман, вернулся в Нью-Йорк. Вот только что это будет за роман и о чем, я никакого представления не имел. Но однажды ночью мне явились две первые строчки «Поправки-22» — правда, без имени главного героя, Йоссариана: «Это была любовь с первого взгляда. Стоило ему увидеть капеллана, как он безумно влюбился в него».

Голову мою полнили уже воплощенные в слова образы. Я вылез из постели и начал расхаживать по квартире, обдумывая их. На следующий день я приехал в маленькое рекламное агентство, в котором работал, написал от руки первую главу, затем потратил неделю на ее переделку и послал

[54] Примечания: 54

«Сикстис», под ред. Линды Розен Обст (Нью-Йорк: «Рэндом хаус / Роллинг стоун пресс», 1977), с. 50, 52.

моему литературному агенту. Мне потребовался год, чтобы составить окончательный план книги, и еще семь лет, чтобы ее написать, однако очень во многом она осталась такой, какой я увидел ее в ту богатую вдохновением ночь.

Откуда что бралось, я не знаю. Разумеется, я занимался сознательным подбором составляющих романа, но и подсознательный элемент тоже был очень силен. Я почти сразу придумал фразу «Поправка-18», которую затем, когда выяснилось, что примерно в одно время с моей книгой выйдет «Мила, 18» Леона Юриса, пришлось заменить на «Поправка-22». Первоначально Поправка-22 требовала, чтобы каждый занимающийся цензурой писем офицер ставил на каждом прошедшем через его руки письме свою подпись. По ходу написания романа я стал намеренно придумывать внутренне противоречивые ситуации, что потребовало изрядной художественной изобретательности. Я начал расширять сферу применения Поправки-22, включая в нее все больше и больше сторон общественной системы. И в конце концов Поправка-22 обратилась в закон: «они» могут делать с нами все, что захотят, а мы помешать «им» в этом не можем. Последнее из приложений этого закона стало философским: Йоссариан

уверен, что никакой Поправки-22 не существует, однако это не имеет значения, пока люди верят в ее существование.

Практически все психологические установки книги — подозрительность и недоверчивость по отношению к правительственным должностным лицам, ощущение, что ты беспомощная жертва, понимание того, что большинство государственных учреждений тебе попросту врет, — определялись опытом, приобретенным мной во время Второй мировой войны, когда я служил бомбардиром. Антивоенные и антиправительственные настроения книги порождены тем, что происходило уже после нее: войной в Корее, «холодной войной» пятидесятых. То было время общего упадка веры, и это сказалось на «Поправке-22», в которой романная форма тоже практически распадается. «Поправка-22» представляет собой коллаж — если не по структуре, то по идеологии книги.

Сам того не сознавая, я стал участником едва ли не литературного движения. Пока я писал «Поправку-22», Дж. П. Данливи писал «Человека с огоньком», Джек Керуак — «В дороге», Кен Кизи — «Пролетая над гнездом кукушки», Томас Пинчон — «В.», а Курт Воннегут — «Колыбель для кошки».

Не думаю, что хотя бы один из нас лично знал хотя бы одного из них. Я-то уж точно не знал. Какие бы силы ни формировали это направление в искусстве, воздействовали они не только на меня, но на всех нас. Присутствующее в «Поправке-22» чувство беспомощности и затравленности очень сильно и у Пинчона, и в «Колыбели для кошки».

«Поправка-22» — роман скорее политический, чем психологический. Неприятие войны с Гитлером считается в этой книге само собой разумеющимся, и потому в ней рассматриваются конфликты, которые возникают между человеком и его начальниками, человеком и общественными институтами, к которым он принадлежит. По-настоящему тяжелая борьба происходит, когда он даже не знает, кто именно угрожает ему, норовит стереть его в порошок, но сознает, что намерение такое существует, существуют и его антагонист, и конфликт, исход которого непредсказуем.

«Поправка-22» привлекла внимание университетских студентов примерно в то время, когда стало очевидным моральное разложение, к которому привела война во Вьетнаме. Трактовка военных как людей продажных, смехотворных, по-идиотски упрямых оказалась применимой,

причем буквальным образом, именно к этой войне. Вьетнам был счастливым совпадением — счастливым для меня, не для других. Между серединой и концом шестидесятых число переизданий «Поправки-22» выросло с двенадцати до почти тридцати.

Происходили изменения самого духа общества, возникало настроение здоровой непочтительности. Распространялось понимание того, что банальности американизма — чушь собачья. Во-первых, они не работали. Во-вторых, были лживыми. В-третьих, люди, их провозглашавшие, нисколько в них не верили. Выражение «Поправка-22» стало находить применение все более частое и все более широкое. Дошло до того, что меня начали уверять, будто я использовал в качестве названия книги уже получившее широкое распространение выражение.

Так или иначе, все в этом романе зависят от милости той среды, в которой обитают. Я перехожу в нем от ситуаций, в которых личность восстает против своего общества, к тем, в которых само общество оказывается продуктом чего-то непостижимого, чего-то либо не имеющего ни цели, ни смысла, либо имеющего их, однако находящегося вне границ разумного.

В самом начале книги происходит разговор между Дэнбаром и Йоссарианом. Они обсуждают капеллана, и Йоссариан говорит: «Какой он милый, верно? Может, им стоит отдать ему три голоса». «Каким таким „им“?» — интересуется Дэнбар. А через пару страниц Йоссариан говорит Клевинджеру: «Они стараются убить меня», — и Клевинджер спрашивает: «Да кто „они“-то?»

Всем правят «они», таинственные «они». Да кто «они»-то? Не знаю. И никто не знает. Даже сами «они».

«Я бомбардир!» [55]

Когда 19 октября 1942 года я добровольно поступил в военную авиацию, мне было девятнадцать лет. Нас было четверо, ребят с Кони-Айленда, одновременно отправившихся добровольцами на военную службу. Мы приехали на вокзал Гранд-сентрал и провели там целый день, заполняя анкеты. За этим последовало долгое медицинское обследование. И в тот же день нас приняли на военную службу. Кто-то что-то сказал, ты кивнул, сделал шаг вперед — и все, ты в армии. Через

---

[55] Примечания: 55
«Нью-Йорк таймс мэгэзин», 7 мая 1995, с. 61.

десять или пятнадцать дней нам надлежало явиться на Пенсильванский вокзал. Оттуда нас повезли поездом в находившийся на Лонг-Айленде армейский лагерь «Аптон», а оттуда — в Майами-Бич, где едва ли не каждый отель занимали служащие авиационного корпуса. Там мы снова сели на поезд и не более чем за восемь, десять или двенадцать дней доехали до находившегося в Денвере огромного учебного центра «Лаури-Филд».

Денвер мне понравился. Стояла зима, но зима очень красивая, в Нью-Йорке такой не увидишь. А из Нью-Йорка я вообще выбрался впервые, если не считать единственной поездки в Нью-Джерси — в детстве. И это тоже было одной из причин владевшего мной возбуждения — как-никак приключение. А к нему добавлялось чувство, что ты делаешь нечто такое, что страна и одобрит, и оценит. В Денвере и во всех других местах, в каких мне затем довелось побывать, всегда имелся список семей, приглашавших военнослужащих на обед. Эти люди готовы были принять у себя даже выходца с Кони-Айленда. Даже еврея. Ну, насчет чернокожего они, может быть, еще и подумали бы. Ладно, и насчет еврея, может быть, тоже. Что среди прочего меня тогда удивляло,

так это обходительность и общая душевность людей, живших вне Нью-Йорка. Они отличались заботливостью и оптимизмом, для ньюйоркца непривычными. Ну и дожидаться еды в тамошних закусочных приходилось целую вечность.

Под конец моего обучения мне сказали, что производится запись в курсанты авиашколы. Я прошел несколько проверок умственных способностей, меня определили в бомбардиры и отправили в соответствующую авиашколу. По окончании ее я был произведен во вторые лейтенанты, получил отпуск и приехал домой героем в летной фуражке. У меня сохранились мои фотографии той поры — выгляжу я на них шестилетним ребенком.

За океан мы летели в смехотворно маленьких «Б-25». Мы получили назначение в эскадрилью, стоявшую на западном побережье Корсики. За десять месяцев я сделал шестьдесят боевых вылетов, а моя эскадрилья потеряла два, самое большее — три, самолета.

До тридцать седьмого моего вылета я никакого страха не испытывал. До него все происходившее представлялось мне развлечением, игрой, съемками в голливудском фильме. Я был слишком глуп, чтобы бояться. Поначалу я не знал даже, что

такое зенитный обстрел. Ты видишь, как в небе взбухают клубы черного дыма. Потом, во время другого вылета, слышишь разрывы снарядов. Я видел только один подбитый самолет — он шел вниз медленно и очень красиво. Поначалу он летел выше всех остальных и тянул за собой прекрасный шлейф — знаете, оранжевый? — Прелесть что такое. Помню, я наблюдал за ним как зачарованный; все происходило точно в замедленной съемке. Самолет начал описывать круги, потом я увидел, как раскрываются парашюты, а потом он по спирали пошел к земле. В нем осталось трое убитых.

В день вторжения в южную Францию я совершил два вылета. Утром мы бомбили пулеметные гнезда на берегу южной Франции, а после полудня полетели к Авиньону. И потеряли там три или четыре самолета — для одной группы бомбардировщиков это очень много. Нам предстояло одновременно бомбить три моста. Перед заходом на цель я впервые увидел, как рассыпается в воздухе самолет. В нескольких милях от меня самолет сначала загорелся, потом у него отвалилось крыло, а потом он, кувыркаясь, камнем пошел вниз. Весь экипаж погиб.

Мы вышли на цель, отбомбились, и вдруг я по-

чувствовал, что мой самолет падает. Я услышал разрыв снаряда, и сразу за ним самолет начал падать. И меня как будто парализовало. Это был страх. Я думал: «Мы падаем. Совсем как тот самолет». Но тут наш бомбардировщик выровнялся и наступила жуткая тишина. Я взглянул вниз и увидел, что штекер моих наушников выдрало из гнезда. А воткнув его обратно, услышал по внутренней связи истошный вопль: «Помогите бомбардиру!» — и сказал: «Я бомбардир!» Нашего верхнего стрелка ранило в ногу, и мне пришлось оказывать ему первую помощь.

После этого я даже «за молоком» летать боялся.

Нашими целями почти всегда были мосты. О людях, находившихся на земле, я не думал. Полагаю, осколки наших бомб ранили лишь очень немногих военных и гражданских. Следует, однако, сказать, что если бы мы бомбили города, участь их населения меня, вероятнее всего, не заботила бы. Вот теперь заботила бы. А тогда я был невежественным мальчишкой. Героем фильма, не способным и на секунду поверить, что меня могут изувечить. Я вообще не верил по-настоящему, что кто-то получает увечья. До Авиньона я считал войну самым замечательным переживанием моей жизни. Если бы меня рани-

ли, я так не считал бы. Если бы убили — тоже, это уж наверняка. Но для меня и, думаю, для многих вспоминающих ее людей война была чудесной штукой. Вот я и говорю вам: война была чудесной штукой.

Бомбу сбросили в августе. Я демобилизовался в июне. Помню, где я тогда находился. Мы с другом отправились на бега, а когда вышли из ипподрома, мальчишки-газетчики размахивали на улицах газетами: «Атомная бомба, атомная бомба!» Никто о ней ничего не знал, кроме одного — она большая. И я подумал: «Какая чудесная штука!»

Двадцать один год. И я понятия не имел, что такое война, пока не прочитал о войне во Вьетнаме. Эта война описана гораздо лучше любой из тех, о каких я читал, — наверное потому, что люди, о ней писавшие, побывали в боях. В настоящих боях. Я же считаю, что за десять месяцев, проведенных мной за океаном, в бою не был ни разу. Но знаете? На взгляд других людей, то, в чем я участвовал, очень похоже на бои. И чем дольше живу, тем более героическим оно становится, просто потому, что я прожил так долго, а не потому, что пережил войну.

ВОСПОМИНАНИЯ
Кони-Айленд. Конец веселья [56]

Кони-Айленд кажется прекрасным детям и уродливым — взрослым, чем и напоминает жизнь в целом.

В большинстве своем люди, в том числе и те, кто здесь побывал, удивляются, узнав, что на Кони-Айленде живут целые семьи и растут дети. Им это место представляется огромным, окруженным забором парком аттракционов, который закрывается осенью и остается закрытым до наступления следующей весны. На самом деле парк занимает около девяти кварталов приморского жилого района, который имеет примерно четыре мили в длину и, возможно, полмили в ширину и который — по современным представлениям о пригородах — основательно застроен и плотно населен людьми, живущими здесь круглый год. Даже в 1929 году, когда я еще ходил в детский сад, на Кони-Айленде постоянно жили семьи в количествах, достаточных, чтобы до отказа забивать детьми две начальные школы, а в каждой из них

---

[56] Примечания: 56
«Шоу», № 2, июль 1962, с. 50–54, 102–103.

было по шесть этажей, и фасады их занимали целый квартал.

Расстояние от школы до школы составляло почти милю, и у одной из них уже появились пристройки — череда стоявших по другую от нее сторону улицы домишек, отведенных под занятия младших классов. К концу тридцатых здесь построили еще и неполную среднюю школу, в которой стали учиться старшеклассники. По какой-то непонятной причине ей присвоили имя Марка Твена — возможно, потому, что Роберт Мозес[57] (который, по сути дела, и правил штатом Нью-Йорк едва ли не со дня своего рождения) оказался слишком застенчивым, чтобы украсить ее своим именем, а может быть, потому, что Сэмюэл Клеменс был единственным американским левым, который сумел написать нечто обладавшее неоспоримыми достоинствами.

Кони-Айленд — это, разумеется, часть Бруклина, южная его часть, глядящая на Атлантический океан. Не являясь настоящей трущобой, Кони-Айленд был и остается местом унылым и, как я теперь понимаю, убогим и мрачным. Чем старше становилась моя мать, тем большей неприязнью

---

[57] Примечания: 57

Мозес, Роберт (1888–1981) — видный деятель штата Нью-Йорк, во многом определивший его архитектурный облик.

к нему она проникалась и тем сильнее жалела, что поселилась там, — особенно в летнее время, когда улицы его круглосуточно наполняли шумливые люди. Мы были детьми из бедных семей, однако не знали этого. Работа у каждого из наших отцов имелась, но зарабатывали они не много. Одно из преимуществ детства состоит в том, что оно таких условий жизни попросту не замечает, — не думаю, впрочем, что относительная бедность так уж угнетала и наших родителей, ведь почти все они были иммигрантами. Они много работали и редко ссорились. Они не пьянствовали, не разводились, а если и не были более осмотрительными, чем люди моего поколения, то, во всяком случае, не заводили шашней с женами и мужьями своих друзей и соседей.

В моей части Кони-Айленда каждый квартал состоял из многоквартирных домов. Все они были четырехэтажными — в трех верхних располагались квартиры, первый занимали маленькие магазины или опять-таки квартиры. Лифты во всех отсутствовали, и одно из сохранившихся у меня болезненных воспоминаний детства — это старики и старухи (в то время стариками и старухами были наши отцы и матери), с трудом поднимающиеся по крутым лестницам.

Почти по всему Кони-Айленду — и главным образом вблизи пляжа — были разбросаны затейливые скопления бунгало и дощатых домишек, именовавшихся «виллами», «дворами» и «эспланадами». Девять месяцев в году они пустовали, но каждый июнь заполнялись семьями, перебиравшимися на лето в эти тесные жилища со своим постельным бельем и детскими колясками, — казалось, что почти все они появлялись здесь в один день. Они приезжали из других частей Бруклина, из Бронкса, Манхэттена и Нью-Джерси, чтобы провести летние месяцы в тесноте и толкотне, которые людям более утонченным показались бы нестерпимыми. И, надо полагать, проводили их с приятностью, поскольку те же самые семьи с их постельным бельем и подросшими детишками арендовали те же самые «виллы», «дворы» и «эспланады» год за годом.

Году в 1927-м некие расчетливые дельцы надумали построить прямо на променаде шикарный отель «Полумесяц» и очень скоро обанкротились. Что внушило этим изворотливым спекулянтам недвижимостью мысль, будто людям, имеющим достаточно денег, чтобы поехать куда захотят, придет в голову останавливаться на Кони-Айленде, понять невозможно. Сейчас в отеле находится

дом престарелых, и это хоть и страшноватый, но уместный символ самого старого и обветшавшего полуострова. Со времен последней мировой войны здесь не построили (насколько я знаю) ни одного нового жилого дома, за исключением трех финансировавшихся городскими властями, а парк аттракционов Кони-Айленда, некогда такой же современный, как и все прочие, ни одним сколько-нибудь значительным аттракционом не обзавелся, не считая парашютной вышки, доставшейся ему в наследство от Нью-Йоркской всемирной выставки 1939 года.

На Кони-Айленде имелся променад, который представлялся мне самым большим и великолепным променадом в мире. Имелся и пляж — длинный, широкий, покрытый очень мелким песком: следует побродить, спотыкаясь о камни, по побережьям Ниццы, Вильфранша и английского Брайтона и уяснить, что и они именуются пляжами, чтобы оценить пляж Кони-Айленда как географическую особенность. А еще на Кони-Айленде имелись длинные мощеные улицы — лучшие игровые площадки из когда-либо придуманных каким угодно устроителем мест отдыха.

Парковая зона Кони-Айленда — та ее часть, в

которой находились аттракционы и игры, лотки с едой и ряды игровых автоматов, — представляла для нас в холодные весенние дни и в дни позднего лета, а также и в жаркие летние (если нас пропускали бесплатно в «Луна-парк» или «Стипль-чез») огромный интерес. «Луна-парк» и «Стипль-чез» были единственными настоящими парками; у всех остальных аттракционов имелось по собственному владельцу. Крытая арена «Стаух» существует и поныне, а тогда в ней проводились чемпионаты по боксу и танцевальные марафоны. Пышное и безвкусное здание «Фельтманза» еще стояло, но уже погибало от заброшенности, лишившись Бриллиантового Джима Брейди и иных знаменитых покровителей. О блестящей истории «Фельтманза» мы ничего не знали, да она нас и не интересовала. Сосиски там продавались так себе — только это и имело значение.

Мы довольно рано поняли, что вареные сосиски не так вкусны, как жаренные на гриле; что лучших, чем в ресторанчике «У Натана», хот-догов не бывает; что «Колесо чудес» лучше «Колеса обозрения», однако и то и другое предназначается для детей «правильных» или для взрослых, сопровождающих таких детей; что «Циклон» — это, вне всяких сомнений, лучшие в мире «аме-

риканские горы» и что более вкусных пирожков с картошкой, чем в «У Шацкина», не найдешь нигде на свете и искать не стоит. Все это были познания полезные, поскольку они научили нас стремиться к получению достойного качества по разумной цене. Позже мы познакомились с иным принципом, который развил в нас склонность к цинизму: получить достойное качество, как правило, невозможно. Мы узнали об этом от зазывал, обещавших угадать, сколько мы весим, сколько нам лет, как нас зовут, чем мы занимаемся, откуда мы родом и в какой день родились, — угадать о нас что угодно и всего лишь за десять центов, четвертак, полдоллара или доллар; у них все было устроено так, что клиент никогда не выигрывал. Вернее сказать, клиент-то выиграть мог, а вот хозяин заведения не проигрывал никогда, поскольку приз, выдававшийся им за выигрыш, неизменно стоил меньше того, что клиент тратил, чтобы его получить. Впрочем, кто-то из нас мог, поставив пенни, выиграть в орлянку кокос, проделать в нем с помощью молотка и гвоздя дырку и выпить молоко, а потом разбить кокос на десяток кусков и щедро одарить ими друзей. Сегодня вы можете выиграть пластмассовую расческу или сделанный в Японии бумажный

американский флаг.

«Луна-парк» и «Стипль-чез» соперничали. «Луна-парк» располагал «Гонками по небу» и «Раскрой парашют» — это были очень хорошие аттракционы. «Гонками по небу» назывались самые высокие на полуострове «американские горы» (Господи, какие же они были высокие!), и впервые я приблизился к ним (одетым, сколько я помню, в форму «бойскаута-волчонка») в том же состоянии духа, в каком, полагаю, встречу когда-нибудь смерть, — твердя себе, что если другим удается пройти через это испытание без особого для них вреда, удастся и мне. Оказалось, что катание на «Гонках по небу» — дело самое плевое: они хоть и были высокими, но такой скорости и такого восторга, какие ты получал на «Циклоне», «Молнии» или «Торнадо», от них ожидать не приходилось. Прокатившись несколько раз на переднем, заднем и среднем сиденьях «Гонок по небу», мы научились с закрытыми глазами предсказывать каждый их поворот и подскок (мы часто катались на «американских горках» с закрытыми глазами — это давало дополнительные впечатления). Единственным, что нравилось нам в «Гонках по небу», была возможность продемонстрировать благоговейно взиравшим на

нас новичкам снисходительное презрение, с каким мы одолевали все мнимые ужасы этого аттракциона.

«Стипль-чез», он же «веселое место», отличался большей чистотой, организован был разумнее, и основная часть его находилась под крышей, не на солнце. За двадцать пять центов ты получал розовый билетик, позволявший воспользоваться двадцатью пятью аттракционами. За пятьдесят центов покупался синий — тридцать один аттракцион, причем добавочные шесть были самыми лучшими. Фокус состоял в том, чтобы каким-то образом пролезть внутрь, а затем выпросить у хорошо одетых дам и прочей покидавшей «веселое место» публики недоиспользованные билеты. Это позволяло накопить такое их количество, что можно было обойти все аттракционы, и не по одному разу, и очень быстро обнаружить, что все они, за исключением нескольких, образуют небольшие группки, внутри которых каждый из аттракционов повторяет остальные, отличаясь разве что сиденьями. «Луна-парк» нравился нам больше. Разумеется, теперь он уже закрыт. На его месте стоит жилой микрорайон самой жуткой, какую я когда-либо видел, архитектуры, так что хотя бы духу «Луна-парка» выжить все-таки

удалось. «Стипль-чез» никогда не выглядел так хорошо, как сегодня.

Каждый год после Дня труда[58], традиционно считающегося в большинстве мест отдыха концом сезона, начинается неделя парадов и шествий, носящая причудливое название «Марди Гра». Если вы ненавидите парады так же, как я, тогда кони-айлендский Марди Гра вам может понравиться, ибо он представляет собой краткую энциклопедию всего отталкивающего, ничтожного и поддельного, что относится к другим парадам. С другой стороны, цель он преследует более благородную, чем большинство прочих парадов: цель его — это скорее нажива, чем что-нибудь демагогическое. Его назначение — еще на неделю приманить на Кони-Айленд побольше людей, что позволит его бизнесменам огрести побольше денег.

Мы ходили на Марди Гра каждый вечер, хотя, по сути дела, парад всегда был тем же самым. Один мог именоваться «Ночью бойскаута», другой — «Ночью полицейского», третий — «Ночью пожарного», и на каждом из них людей, принадлежавших к соответствующей группе,

---

[58] Примечания: 58
Первый понедельник сентября.

присутствовало больше, чем на других, однако платформы разъезжали по улицам одни и те же, духовые оркестрики вышагивали те же, и на каждом всегда хватало дам из женского вспомогательного персонала той или иной организации — кем бы эти женщины ни были. (Я и по сей день не знаю, что такое «женский вспомогательный персонал», поскольку ни одной из его представительниц никогда не встречал.) Люди покупали у уличных продавцов с дерюжными мешками конфетти и бросали в лица других людей, совершенно им незнакомых. Мы сгребали конфетти с грязных тротуаров и использовали тем же манером по второму разу. В послеполуденные субботние часы происходило совершенно фантастическое шествие, называвшееся «Парад младенца», — представление, насколько я знаю, теперь уже отмененное благодаря усилиям всякого рода обществ защиты чего-то, слишком варварское и нелепое, чтобы его описывать.

В одну из таких ночей я видел мэра Лагуардиа, и очень этим доволен — теперь, когда знаю, каким замечательным он был человеком. В наши дни у политиков — кандидатов на какую-либо должность — установилась стандартная процедура: они приезжают на Кони-Айленд, чтобы

угоститься хот-догом и прогуляться по тротуарам, улыбаясь и представляясь местным жителям. Нелегкое это бремя — навязывать свою особу удрученным бедностью людям. В годы тогдашних выборов у нас появлялись Вагнер, Джевитс и Лефковиц. Одна из самых вульгарных картинок, какие я видел в последнее время, — это газетная фотография Нельсона Рокфеллера, впившегося зубами в хотдог. Даже Генри Кэбот Лодж и тот отдал дань этому ритуалу: можно только предполагать, какое отвращение он, человек утонченный, избалованный, при этом испытывал, и надеяться, что горячая горчица заляпала рукав его костюма. Довольно и того, что такие люди состоят у нас в государственных деятелях; еще и брататься с ними мы вовсе не обязаны. Ни один из них не приезжает на Кони-Айленд потому, что это место ему нравится, а поживи они там, охоты прогуливаться по улицам улыбаясь у них поубавилось бы.

Годы нашего детства пришлись на годы Депрессии: автомобилей тогда было мало, и мы могли играть на наших чудесных улицах почти без помех. А главное, игры шли прямо за дверьми и под окнами наших домов, выглянув на улицу можно было мгновенно понять, что за ребята там

собрались и какая вот-вот начнется игра. Днем мы, как правило, играли с мячом или в хоккей — на роликовых коньках; по вечерам, после ужина, улицы обращались в идеальное место для игр в салки, в прятки, в «полицейские и воры» и в «Али-Бабу».

Возможно, самое ценное, что имелось у нас, детей, в распоряжении, были другие дети, огромное количество живших по соседству других детей, причем всех возрастов, что позволяло играть в любые игры и собирать любые команды, даже футбольные. Улицы делились на отрезки пересекавшими их авеню, и на каждом отрезке каждой улицы жило столько детей всех возрастов и размеров, что их хватало для создания отдельного независимого сообщества.

* * *

Это и был «квартал» — кусок улицы, где жили мы все и на котором были сосредоточены все наши интересы. Ближайшие из наших школьных друзей могли жить в других кварталах, и вне школы мы виделись с ними редко и общего ничего не имели, если не вызывали их квартал на матч по панчболу или хоккею. Когда какая-нибудь семья переезжала с одной улицы на другую, ее дети

почти неизменно пытались сохранить связи со своим старым кварталом, а ассимиляции в новый противились. Время от времени два квартала решали сразиться друг с другом и в таких случаях выстраивали свои боевые порядки на безопасном расстоянии один от другого, несколько минут швырялись в противника мелкими камушками, а затем расходились, возвращаясь к своим обычным занятиям и не ощущая враждебности, которой, строго говоря, не существовало и перед началом боевых действий.

Полагаю, наибольшее влияние оказывал на нас пляж. Осенью мы играли там в футбол, а это означало, что мы были избалованы и изнежены мягким песком и непригодны для игры на твердых площадках. (То обстоятельство, что ни один из ребят, среди которых я вырос, в спорте никогда ничего не достиг, внушает мне гордость. Думаю, нам делает честь и другое: никто из тех, кого я знал по Кони-Айленду, никогда не заглядывал в паноптикум и не голосовал за Герберта Гувера.) Нашей любимой командной игрой был панчбол: играют в него резиновым мячом, и он не так уж и сильно отличается от бейсбола, хоккея и футбола, как американского, так и английского, — последний, в уличном его варианте, требует большего

достоинства и большего технического мастерства, чем футбол.

В последовательности наших игр присутствовал ритм — и сезонный, и инстинктивный. В один из весенних дней в небе вспыхивало солнце, и внезапно мальчишки каждого квартала начинали посылать по земле мячи друг другу — открывался сезон панчбола. Затем, уже после Дня труда, наступал момент, когда каждый мальчишка понимал, что лето идет к концу и пришло время браться за футбольный мяч. То же самое было справедливо и в отношении хоккея: по всему Кони-Айленду почти в один и тот же день и в каждом квартале футбольный мяч вдруг словно растворялся в воздухе, сменяясь скрежетом роликовых коньков. Летом нам приходилось, разумеется, довольствоваться пляжем и плаванием. Даже ночами улицы заполнялись людьми, не оставлявшими места для игр, и мы часами бродили по променаду, с завистью вглядываясь в веселый, красочный мир взрослых, пока наших старших сестер и братьев не высылали из домов, чтобы они отыскали нас в прогуливавшейся толпе и оттащили домой спать.

Если вспомнить, как мало за нами присматривали, как поздно мы возвращались по домам и

какое огромное количество чужаков наводняло Кони-Айленд каждое лето, остается лишь удивляться тому, сколь малый ущерб мы понесли. В наших окрестностях почти не случалось преступлений или серьезных несчастных случаев. Мне не удается, к примеру, припомнить хотя бы одно убийство, совершенное на Кони-Айленде до того, как я, девятнадцатилетний, пошел служить в армию. (После войны я слышал о двух убийствах, произошедших в среде людей, связанных с букмекерством и ростовщичеством.) Ни разу не слышал я и об изнасиловании или совращении малолетних. Время от времени кого-нибудь из моих друзей сбивала машина, однако и он отделывался переломом ноги. Однажды летом (я тогда уже вступил в пору отрочества) утонул паренек, живший в нашем доме. Я знал его сестру. Не прошло и недели, как о нем почти забыли, а к концу лета стало казаться, что он и не существовал никогда, — как та юная обреченная девушка из несравненного *«L'Avventura»*[59] Антониони.

В какой-то из тех годов я едва не погиб, когда изо всех сил пытался дотянуться через низкий парапет крыши нашего дома до воздушного змея,

---

[59] Примечания: 59
«Приключение» *(ит.)* — фильм 1960 г.

запутавшегося в проводах, которые казались мне совсем близкими, — моя мать стояла в это время, болтая с соседями, на тротуаре, далеко внизу. (Хорошенькая могла получиться картинка!) Я едва не погиб однажды ночью, когда родители позвали меня из окна домой, а я к ним не поднялся, и они послали на улицу моего брата Ли. Я был быстрее и увертливее, чем он, и заставил его погоняться за мной, перебегая с одной стороны улицы на другую и обратно. Кончилось тем, что оба мы оказались распластанными на капоте машины, успевшей все-таки вовремя затормозить. По теперешним моим догадкам, я едва не погибал каждый раз, как мы играли в салки в пустых банях и я перепрыгивал с одного ряда одежных шкафчиков на другой. И я знаю, что едва не погибал каждый раз, как доплывал до буйка с колоколом. Впрочем, ничего по-настоящему опасного для жизни со мной ни разу не случилось.

Официально лето начиналось, я полагаю, в день, который мы называли «переходным», — в последний раз побывав в школе, мы разбегались по домам, размахивая табелями успеваемости и криками уведомляя всех встречных знакомых, что перешли в следующий класс. Впрочем, к тому

времени нас успевал покрыть загар, способный внушить зависть любому бледнолицему взрослому, поскольку мы уже больше месяца купались в океане и носились в плавках по берегу. Тогда, как и теперь, на пляж Кони-Айленда набивалась по субботам и воскресеньям огромная толпа, однако нас, детей, это не заботило, поскольку в местах для сидения мы не нуждались. Мы все время либо бултыхались в воде, либо вылезали из нее, чтобы влезть снова, или прыгнуть с деревянного пирса, или пронестись вприпрыжку к замшелым валунам в конце волнолома и отдохнуть на них, или понаблюдать за странными взрослыми, которые часами сидели там с удилищами, но никогда ни одной треклятой рыбешки так и не выудили.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что в те дни на пляже было немереное количество молодых людей, игравших на гавайских и обычных гитарах. Они словно вырастали из песка, и именно здесь, на Кони-Айленде, окруженный со всех сторон дородными мамашами с термосами и покинувшими родину мужчинами, игравшими в пинокль или klabaitsch, я впервые услышал песни вроде «Долины Красной реки». Теперь, полагаю, там слушают транзисторные приемники и танцуют твист. Думаю, если бы я

увидел сейчас, как человек нагибается и встает на руки, у меня глаза полезли б на лоб, но в то время, куда и когда ни взгляни, ты видел самое малое двух, а то и трех людей, расхаживавших по песку на руках. Бог их знает почему! Мне неведомо, куда они подевались, что с ними стало, да меня это и не волнует. Я уже много лет не видел на пляже стоящего на руках человека и, надеюсь, никогда больше не увижу.

Плавать мы учились на мелководье лет в семь-восемь. Большие волны на Кони-Айленде — настоящая редкость, поскольку пляж защищает от открытого океана Рокуэйз с одного боку и Сэнди-Хук — с другого. Каждый из нас, едва обнаружив, что способен продержаться на плаву в течение времени, большего, чем требуют два гребка, начинал готовиться к заплыву до «третьей вешки». На самом деле это была не вешка, а толстый канат, помечавший дальнюю границу зоны, которую обслуживали спасатели. Расстояние до него от первой вешки, то есть от берега, не превышало сорока ярдов, и при отливе половину этого расстояния можно было пройти пешком. Однако, впервые достигнув «третьей вешки», несущественно как, ты совершал подвиг, героический и благородный. Способность

доплывать до третьей вешки и возвращаться назад наделяла тебя определенным статусом в сообществе юных мужчин. После ее обретения единственным вызовом, какой бросало тебе море, становился ярко-красный буек с колоколом, который, неустанно позванивая, раскачивался взад-вперед на воде почти в полумиле от берега.

Заплыв этот был не таким уж и опасным, но сейчас я не решился бы повторить его и за миллион долларов. Однако уклониться от него возможности не было. Просто-напросто приходил день, когда ты понимал, что можешь доплыть до буйка, и отправлялся в это плавание с другими мальчиками, которые уже добирались до него и уцелели. При всей нашей юности и отваге, мы были тем не менее слишком зрелыми и трусливыми, чтобы пытаться доплыть до буйка в одиночку. Наклон настоящих вешек — влево или вправо, — торчавших в бухте из воды так далеко, что их и разглядеть-то удавалось с трудом, показывал нам направление океанского течения, и мы проходили по пляжу вперед, потом назад три-четыре квартала, дабы определить, понесет ли оно нас к маленькому плавучему буйку, который был нашей целью. В такой дали течение оказывалось обычно очень сильным, и, думаю, если бы

мы хоть раз ошиблись в расчетах и проскочили мимо буйка, то наверняка утонули бы. Нам было лет по десять — двенадцать, и сил, необходимых для того, чтобы доплыть до буйка и вернуться без основательного отдыха на этом пути, нам явно не хватало.

Сначала мы доплывали до «третьей вешки» и отдыхали, чтобы пополнить запасы уже потраченных сил. А потом неторопливо, по-собачьи или на боку, отправлялись к нашей цели. Плывя, мы (забыл сказать об этом) разговаривали, почти не закрывая рта, и понемногу буек все приближался, приближался. В сущности, великого напряжения сил наше плавание не требовало — скорее терпения. Ты просто загребал и загребал руками, спокойно беседуя с друзьями, и по прошествии времени оказывался почти у самой цели. Страх охватывал тебя, лишь когда ты оглядывался назад, видел ставший совсем махоньким пляж и понимал — если обладал воображением наподобие моего, — как далеко уплыл от какой бы то ни было помощи. (Сейчас у меня от одного воспоминания об этой картине кровь стынет в жилах.) Но разумеется, помощь всегда была рядом — друзья, которые плыли по сторонам от тебя, — да и течение все время несло нас к буй-

ку. Когда до него оставалось ярдов пятнадцать — двадцать, мы теряли терпение, переходили на «австралийский кроль» и проплывали остаток пути так быстро, как только могли. А добравшись наконец до буйка, забирались на него и триумфально звонили в колокол.

На обратном пути острое чувство опасности, которое часто охватывает идущего на риск мальчика, нас покидало — думаю, главным образом потому, что мы с каждой минутой приближались к спасению. На этот раз нашей целью становились несколько миль пляжа. Впрочем, как-то раз один из нас четверых внезапно лишился сил и сказал, что, похоже, доплыть до берега не сумеет. Каждый из нас просто ухватился за него без какой-либо паники или тревоги, и мы неторопливо отбуксировали беднягу почти до самого каната, до третьей вешки, а остаток пути он проделал уже самостоятельно. По-моему, никто из нас не сознавал, что мы спасли ему жизнь. Семь лет спустя он погиб в Италии при артиллерийском обстреле. Мальчика звали Ирвингом Кайзером, а смерть его печалит меня сейчас сильнее, чем в пору его гибели.

Половое созревание и Вторая мировая война, именно в этом порядке, породили кардинальные

изменения в нашей психологии, реакциях и социальных предпочтениях, чему способствовал также и переход в среднюю школу, находившуюся во Флэтбуше, в нескольких милях от Кони-Айленда. Впервые в жизни мы попали в среду людей, происходивших из других частей света, пусть даже частями этими были другие районы Бруклина. Разница в возрасте в один год означала теперь не просто различие в порядковом номере школьного класса, но различие в самих школах — другие одноклассники, другие знакомства, другие обязательства, другие интересы и занятия. Прежние отношения начали распадаться, возникала новая дружба. Мальчики с самых разных улиц объединялись в своего рода клубы, основу которых составляли общие интересы к девушкам и спорту. К великому смятению тех, кто был младше нас, давние связи, которыми определялось понятие «квартал», попросту улетучивались.

Вдруг оказалось, что некоторые из наших прежних друзей вообще ни к какой компании не принадлежат: мальчик, лишенный индивидуальности, невзрачная девочка, знающая, что она некрасива, и не умеющая с этим знанием жить, ребята со странностями, тихони, мальчишки с

физическими недостатками, не способные ни в мяч играть, ни танцевать «линди-хоп». Они лишились друзей, были отброшены назад, хоть мы и здоровались с ними при встречах.

Жизнь проявляла присущую ей уродливость и жестокость и в иных отношениях. Кто-то из мальчиков, росших вместе с нами, вдруг умирал по причине слабого сердца или от редкой болезни, о которой мы и не слышали никогда. Какой-нибудь друг детства необъяснимым образом обращался в подлую, жестокую свинью и связывался с хулиганьем из других кварталов. Девушки, с которыми, когда мы играли в «бутылочку», целоваться никому не хотелось, вдруг беременели и заставляли парней на несколько лет старше брать их — без всякой охоты — в жены. Мальчик, которого мы дразнили маменькиным сынком, оказывался гомосексуалистом. Многие из нас уже зарабатывали после школьных занятий деньги, выполняя ту или иную, не особо нравившуюся нам работу. Другие бросали школу, едва достигнув возраста, когда закон позволял работать, и находили ту или иную работу, не нравившуюся им совсем. Летними ночами мы бродили теперь по улицам до часа, достаточно позднего, чтобы увидеть на тротуарах россыпи арбузных корок и

обглоданные кукурузные початки и понять, что с наступлением темноты Кони-Айленд зарастает грязью. Зимой же он начал казаться нам одиноким, холодным районом, населенным людьми, слишком старыми для роликовых коньков и игры в салки.

Во время войны я приехал домой в зимний отпуск и через три дня ощутил такую подавленность, что сбежал в один горный отель — лишь бы оказаться среди людей, мне не знакомых. Демобилизовался я в прекрасную весеннюю неделю и, едва переодевшись в гражданское, понесся по Серф-авеню, выглядывая кого-нибудь из старых друзей, чтобы отпраздновать мое возвращение. И вдруг увидел еще не снявшего армейской формы Дэви Голдсмита. Мы ликующе обнялись и поспешили в парк развлечений, на поиски нашего детства. Там мы съели несколько хот-догов и пирожков — ничего особенного, все как в прежние времена, — однако, когда подошли к парашютной вышке, я испугался. Мы прокатились на «Циклоне», я вышел с него с бухавшей в голове болью и со свернутой шеей и сразу понял: все кончено, мне двадцать два года, я слишком стар, — и, как любой глубокий старик, почувствовал, что навсегда лишился чего-то, бесконечно мне дорогого.

Семнадцать лет прошло с того дня, и за это время я приезжал на Кони-Айленд только ради того, чтобы мои дети покатались на каруселях и электрических автомобильчиках, неизменно доставлявших им радость. Когда мои друзья, отроду на Кони-Айленде не бывавшие, просят, чтобы я свозил их туда, я первым делом отправляюсь с ними в ресторанчик «У Натана» поесть хот-догов, а потом отвожу к «Циклону», где они катаются сколько душа попросит, а сам посиживаю рядом с этим аттракционом на скамеечке. После «Циклона» — лучших, объясняю я им, «американских горок» на свете — мы идем к парашютной вышке, а затем, когда они вдоволь напрыгаются, стараюсь как можно быстрее увезти их с Кони-Айленда — либо на Манхэттен, либо в Шипшед-Бей, в огромный великолепный ресторан морепродуктов «У Ланди», неизменно поражающий каждого, кто видит его впервые. Если друзья прихватывают с собой детей, я везу их прямиком в «Стипль-чез». Те же самые его особенности, что разочаровывали нас в прошлом, теперь делают «Стипль-чез» идеальным. Аттракционы там все до единого безопасны, и пока дети бегают от одного, катающего их по кругу, к другому, делающему в точности то же, я могу спокойно сидеть

с их отцами.

Сам я почти никогда сюда не приезжаю — разве что ради того, чтобы поесть «У Натана». Почти все, кого я знал по Кони-Айленду, перебрались куда-то еще. И никто из моих живших здесь знакомых возвращаться сюда не хочет. Похоже на то, что все мы прониклись отвращением к этому месту, что отчасти странно, поскольку мы провели здесь счастливое, я в этом не сомневаюсь, детство. С другой стороны, объяснение может быть совсем простым: Кони-Айленд — место бедное, обветшалое, и теперь мы это понимаем.

Проезжая по нему, я испытываю неловкость, а выезжая — облегчение, но пока я еще еду по нему, меня поражают дети — огромное количество детей, которых я вижу в каждом квартале, — весело играющие на улице; их там больше, чем я видел где-либо еще. Впрочем, дети умеют быть счастливыми где угодно.